

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №11 ГАЗЕТА

Иван Басаргин / Избранные произведения

95
1927-2022



Иван Басаргин

Избранные произведения

Сказ о Чёрном Дьяволе

Повесть

Часть первая

ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН — ЗЕМЛЯ ВОЛЬНАЯ

1

Старый пароход «Казак Хабаров» штормовал.

Вот уже вторые сутки он шёл из Владивостока, шёл и шёл на север, в бухту Ольгу. Он резал носом волны, и вместе с ним качалось небо, качался берег. Небо, серое от клочкатых туч. Берег, рыжий, тёмный, как косуля в линьку, насупленно смотрел на пароход, грозил ему скалами, где пенился и рокотал прибой. Шторм крепчал. Слабые машины парохода уже не справлялись с ним, и пароход ушёл штормовать в море. А море бурлило, будто кто-то огромной весёлкой мешал воду. На море сумно, на море тошно, море — неуют. И те, кто шёл на этом пароходе, много раз поглядывали на берег, пока он был виден, и думали: «Эх, на землю бы, на эту рыжую от дубков и жухлых трав землю, к ноздреватому снегу, что ещё лежит в ложках; упасть на злобок, раскинуть руки и задремать. Потом — в лесок, потом — к горбатым сопкам...»

Но пароход шёл, изнывая от стонов и криков людских, пропах он сермяжным духом и потом. Тяжело ухал в провалы волн, надсадно выползал на них. Тяжко старому пароходу. Тяжко людям на нём. У всех осоловели глаза. Ничто не радует: ни будущая воля, ни земля. Всех задавила качка.

Над волнами стонали чайки. Громче всех стонала и низко кружила совсем-совсем белая чайка. Стонала и кружила над Терентием Маковым. И невдомёк старому, что над ним плакала не просто чайка, а Пелагея-чайка. Ведь, по преданию моряков, души умерших в море превращаются в чаек. Терентий сидел у тёплой трубы парохода нахохленный, похожий на подранка-баклана: голова на груди, высоко подняты плечи. Рядом с ним примостилась его дочь Груня. Зябка ёжилась, грустно смотрела на кипень волн.

«Мама! Мама!» — изредка шептали её пересохшие губы. А над головой мама-чайка кричала, будто что-то силилась сказать. Но разве понять людям стон чаек?..

Короткие сны похожи на забытьё. Снится не палуба под ногами, а земля смоленская. На берегу тихой речушки прилепился домик, старенький, кособокий, но свой. По тропинке бежит она, Груня. С разбегу — в речку. Потом — на поля, где колосятся хлеба. Только это хлеба не Маковых, а кулака Жмакина. Своей бы земли, как об этом всю жизнь мечтали и дед, и отец, земли тёплой и приветливой...

Стонет Пелагея-чайка. У Пелагеи могила просторная — всё море. И ни креста, ни холмика. Записал широту и долготу капитан, где похоронили покойницу Пелагею, вот тебе и могила, памятник надгробный.

— А в море холодно? — спросила отца Груня.

— В земле тоже не тепло. Могила есть могила. Ради твоего счастья поехали. Понимаешь, счастья. Нам уже много ли надо? Тебе надо. Хоть, может, ты поживёшь по-людски, — вздохнул Терентий.

— Зачем мне такое счастье, если мама умерла? Без приданого бы вышла замуж. А здесь что ты мне в приданое дашь — землю, чтобы схоронить меня? Да?

— Не дури! Девка на выданье, а одеть даже не во что. И в кого ты такая удалась? Тонка, пригожа. Сама знаешь, какая мужику баба нужна: чтобы в теле была, могла бы при случае вместо кобылы плуг аль борону волочь. А в тебе всё барское. Но ничего, на своей земле я тебя откормлю, будешь что надо. Любой позарится.

— Зря поехали. Могла бы в город уйти, там парни за толстыми не гонятся.

Груня поднялась с котомки, неуверенно шагнула по шаткой палубе, под дырявым зипуном и сарафаном проглядывалась стройность её тела. Даже лапти не могли скрыть её маленькую, барскую ногу. На длинной шее тревожно билась синяя жилка. Остановилась Груня у лееров, сквозь изморось и туман она видела, как мать, собираясь в дорогу, насадно кашляла, засовывала в мешки нехитрую посуду, в деревянные сундуки — постель и одежду. Кричала: «Фёкла, возьми вон крынку, потом когда-нибудь помянешь за упокой души!» Бабы говорили Терентию: «Не трогался бы ты с места, старик. Не сдюжит твоя старая такой дороги. Шутка ли — ехать в конец света». — «Сдюжит. Хватит нам ходить всю жизнь в батраках. Своей земли хочется. Хоть разок её просеять сквозь пальцы». — «Умрёт Пелагея. Грудная у неё болесть. Кровями харкает». — «На чугунке, не пешком. Казённый кошт обещали. Груньку надо замуж собирать. Поедем».

Чугунка... Вонючие и холодные вагоны, битком набитые людьми. Умирали дети, старики и даже му-

жики. Слабела и Пелагея. Но всё же смогла проехать через холодные просторы Сибири, через Приамурье, до моря добраться. И здесь, на море, когда пароход сильно трянуло на волне, Пелагея качнулась, ничком упала на палубу — и душа вон. Покойник в море! Мужики бросились к капитану, начали просить причалить к берегу, чтобы похоронить покойницу по христиански.

— Судно не шлюпка, — устало посмотрел на мужиков капитан. — Да и честь тому, кто почил в море, быть тому моряком. Эх вы, странники неумённые, бедолаги!

— Нельзя в воду. Вода — это Богородицыны глаза. Грех!

— Грех! Безгрешное это дело! Да и пусть глаза её посмотрят ещё раз, как мыкается люд русский. Хоронить по морскому обычаю! — приказал капитан.

Матросы завернули Пелагею в парусину, уложили на доску, привязали к ногам перегоревший колосник из топки, попик прочёл заупокойную молитву, махнул рукой, и тело по доске скользнуло в волны. И над морем, это видела Груня, тут же закружила белая-белая чайка...

Одно видение за другим проходило перед глазами Груни. Мучили озноб и тошнота. Вернулась к отцу, села на котомку, прижалась спиной к тёплой трубе; отец грубовато, по-мужицки, привлёк её к себе, сказал:

— Не печалься, ей уже всё едино. Все будем там, — махнул он рукой в небо. — Будем думать, как живые, о живом. Земли дадут, коней купим, одену тебя в шелка... Одни остались, теперь нам держаться друг за друга. А может, когда и люди помогут.

Из трюма вылез долговязый и по-мальчишески угловатый Фёдка Козин, знакомый по вагону парень. Он еле добрался до борта, стонал:

— Ой, моченьки нету! Всё нутро вывернуло!

— Иди сюда. Здесь тепло, и на ветру тебе полегчает, — позвала Груня.

Фёдка дополз до паровой трубы и калачиком свернулся у ног девушки, будто задремал. Груня тонкими пальцами перебирала его кудряшки, жалеючи ласкала. Вместе ведь проехали всю землю российскую. Отчего же не пожалеть?

В скулу парохода ударила крутая волна, обняла старый пароход, подержала в тугих объятиях и отпустила, ушла к берегу.

Из каюты вышел рослый, чисто одетый мужчина, похожий на купца. В глазах суровинка, между бровей упрямая складка. Упёрся крепкими ногами в дощатую палубу, долго смотрел на изломанный волнами горизонт, на чаек, потянулся до хруста в суставах, скосил глаза на Груню, трянуло густой, с рыжиной шевелюрой, усмехнулся. Он давно приметил, что эта чернявка подсматривает за ним. Чуть не наступая на

руки и ноги лежащих на палубе людей, уверенно пошёл к ней. Наклонился, дохнул на Груню спиртным перегаром, взял её за подбородок:

— Горюешь, девка? Не горюй. Мать уже не вернёшь из моря. Пошли со мной в каюту! Не пожалей. А? — Легко оторвал от палубы Груню и поставил на ноги.

Груня вспыхнула, оттолкнула от себя обидчика, зло бросила:

— Не продажная я!

— Вот чертовка! — отшатнулся он. — Люблю шалых, сам шалый. Ну, ну... «Когда б имел золотые горы и реки, полные вина...» — пропел и уже серьёзно спросил: — Ну, так идёшь?

— Пошла бы, но упряжь не в коня! — сверкая тёмными глазами, ответила Груня, осмотрела взглядом с ног до головы незнакомца.

— А мы подберём упряжь. Да! Одеть бы тебя в шелка и сатин — княгиня! Чёрт! Пошли, озолочу, или я не Безродный! — Он попытался обнять Груню, но она увернулась.

Проснулся Федька, поднялся, качаясь от морской болезни, двинулся на Безродного:

— Не лапай девку, ну!

— Сиди ты, сморчок! — Безродный беззлобно, несильно ударил Федьку в челюсть.

Тот упал и растянулся на палубе. Он был сильным парнем, в другое время не уступил бы Безродному — между пальцами гнул пятаки, на спине поднимал коня, — но штормовая качка изнурила парня.

— Ах ты, мурло! — раздался крик Калины Козина, Федькиного отца, он в это время вылезал из трюма. — Наших бить? Ишь растрескал харю — жиром лоснится.

Калина, набычась, подошёл к Безродному и сильно ударил того в грудь. Безродный охнул и отлетел от силача на добрых три сажени.

— Вот так-то, господин хороший. Охолонь, говорю. Ишь нашёл моду обижать слабых. Укорочу руки-те!

Безродный вскочил. Лицо его налилось кровью. Сунул было руку за наганом, но вовремя одумался. С наганом против всех не навоюешь. Выдавил из себя:

— Лапотник! Ну погоди! Я тебе это припомню. — Сплюнул под ноги Калине, пошёл на нос парохода. Встал у якоря, задумался. Отчётливо всплыли в памяти картины прошлого. Та минута гнева, что круто повернула его судьбу... Разве бы год назад посмела эта мужицкая рожа ударить его!..

...Суров и хваток был Егор Стрельников. И на Алтае, и на Керженце, и по Минусинской долине — везде он был хозяином. Покосы, табуны коней, рыбацкие тони, охотничьи заимки, магазины — всем этим владел Егор Стрельников. А после его смерти

всё это должно было перейти в руки Степана. С малых лет приучал Егор старшего сына к своему делу. Таким же хватким, напористым и злым стал Степан. Ещё при жизни отца, когда Егор болел, он гонял всех домохозяев, из каждого стремился выжать всё, что можно, для дела. Младшего брата Романа выслал к охотникам на Керженец, сестёр разогнал по лабазам и лавкам — пусть и девки не едят хлеб даром, а приглядывают за приказчиками. Все они ненавидели Степана.

И вот Егор Стрельников умирал. Первым он позвал Степана. Рассказал наследнику, что на старой заимке зарыта заветная кубышка — приберёг Егор на случай.

— Ты, Степан, — говорил он, — будешь главой в семье, хозяином всего нажитого мною. А нажил я всё с рубля в кармане... Не спеши жениться, стань самым сильным в крае и тогда приведёшь в дом княгиню. Романа держи в чёрном теле. Пусть вначале одумается, а уж потом дай ему надел и деньги. Пьянь он и непутёвый, хлипкий, изнежен матерью. Мать... она, она... — Задохнулся, упала голова на подушки. Вокруг постели собралась вся семья, но Егор уже ничего не сказал.

Завещание читали после похорон. Никого не обошёл отец: дочерям завещал богатое приданое, Роману — стоголовый табун коней, несколько рыбацких тоней, охотничьих заимок и две тысячи денег. Но всё это пока было в руках Степана.

Степан без усталости рыскал по своим владениям, а Роман мотался по кабакам, пропивал деньги сердобольной матери. А когда их пропил, решил выкрасть золото. Ночью он ломом пытался вскрыть стальной сейф, а тут вернулся Степан и застал брата за воровским делом. Гневом вспыхнули его глаза, задохнулся от ярости и, не помня себя, тяжёлой рукоятью плети ударил его по голове. Упал Роман к ногам брата и умер.

Закачались стены, лампа под потолком, заходил под ногами пол. Степан едва удержался на ногах. В первый раз убил. А первая кровь всегда пьяная...

Как ни пытался Степан откупиться от уездного исправника, но мать настояла, чтоб судили ненавистного сына-убийцу.

Кандалы. Тюрма. Суд. Десять лет каторги. Всё враз. Вчера был властелином долин и гор, а сегодня валялся на нарах, с рванью кабацкой, с уголовниками. Застыл и занемел Степан. На суде был кроток и больше молчал, мрачно улыбаясь. И сколько ни допрашивали, где кубышка, основной капитал Стрельниковых, — не сказал. «Нет у её, — односложно отвечал Степан. — Нету».

В ожидании отправки в холодный Бодайбо он днями лежал на нарах, молчал и тяжело думал об утраченной свободе. Зачем так убил вахлака, мог бы

убрать тихо, в тайге, — никто бы и не узнал. Дурак! Всё было, теперь — ничего.

К нему уже десятки раз подсаживался на нары Гришка Добрынин, по прозвищу Цыган, знаменитый конокрад, что-то сказать хотел. И однажды вечером зашептал:

- Слушай, купец, ты хочешь свободы?
- Пошёл вон! Какая тут свобода? Каторга впереди.
- Спрашиваю, ты хочешь свободы?
- Ну, хочу. А дальше?
- Болтают, что у тебя где-то закопана кубышка.

Можем откупиться. Говорил я с начальником тюрьмы, он вроде согласен.

— Врёшь! Выведать хочешь, что и как. Катись, пока не получил в харю!

...В кабинете начальника тюрьмы полумрак. За столом сидят четверо: начальник, его помощник, Степан и Гришка Цыган.

- Сколько даёшь, купец, за свою свободу?
- Ваше слово.
- Пятнадцать тысяч золотом на нас двоих. Вам — свобода, паспорта и оружие.

— Десять — и ни копейки больше. За каждый год каторги по тысяче отдаю.

- Мало. Свободу за пятак не купишь.
- За десять тысяч золотом я куплю всю вашу шивую тюрьму. Нет, значит, не сошлись, — поднялся Степан.

- Лады. Десять. Тебе-то сколько останется?
- Это моё дело, может, пятак.
- Но я знаю вас, Стрельниковых, вы и с пятака заживёте.

— Добрынина отдаёте мне. Он мой раб и слуга. Всё.

...Чадят смоляные факелы, суровеет тайга, на небе россыпь звёзд. Тихо позвякивает золото, всхрапывают кони.

Золото поделили и разъехались. Так Степан Стрельников стал Степаном Безродным.

Он уехал пока в Забайкалье, решил присмотреться к этим местам, а Добрынина отправил ходоком на Зелёный Клин, чтобы всё разведать и дал знать. И вот от Цыгана пришла короткая телеграмма: «Выезжай. Охота отличная. Фазана много».

Степан ещё в тюрьме был наслышан о вольностях в Зелёном Клине. В мечтах уже давно покорил ту землю...

Безродный тряхнул головой, будто отгонял от себя тяжкие воспоминания. Стал слышен рёв шторма, голоса. Подумал: «Напрасно затеял я эту драку. Здесь перво-наперво надо обрасти дружками, ко всему присмотреться, а уж потом — воевать».

Слышно было, как на палубе басил Калина Козин:

— Э, что говорить! Жили мы на Тамбовщине. Десятина земли была у меня. На ладном месте — на бе-

режку реки. И тут свалился на мою голову купец Ермила, задумал на моей земле кожевенный завод строить. Давал он мне за эту землю большую деньги, но я закуражился, — хвастал Калина. — Тогда тот подобрал дружков, они подтвердили, что той землёй пользовался ещё прадед Ермилы, и суд оттяпал её у меня. А ведь почти богач я был! Всех судей и аблокаторов обошёл — не помогло. Хотел пристукнуть топором Ермилу, но вот их пожалел. Десять ртов. А каторга мне пока ни к чему. Одна надея: на новой земле по пятнадцать десятин дают на ревизскую душу. Заживу. Должен зажить! Только надо сторониться вон таких брандахлыстов, — кивнул Калина на Безродного. — От них все беды. Догребём до Ольги, там и начну ковать деньги. Получше Ермилы заживу.

— Эх, мужик, мужик! — заговорил худощавый, среднего роста мужчина. — Гурин моё прозвание, Василь Иванович. Судьбы у нас с тобой одинаковы. Был мужиком, потом ушёл в город, стал сапоги тачать. Тачал и всё мечтал о своей мастерской. Домечтался. В пятом начался бунт. Хошь я и не большевик, но тоже пошёл бунтовать. Там-то и узнал чутка о правде: пока мы не снесём голову царю, не быть нам сытым.

— Слышали мы уже о таком. Пока царю голову снесут, так наши косточки сто раз изопреют. А теперь-то зачем сюда пилишь? — неодобрительно спросил Калина.

— Ссылный я, из Вольска. На вечное поселение отправили за бунт. Зато мы дали копоты жандармам. Если бы все враз, скопом, могли бы сковырнуть царя. Но ничего — не сковырнули в пятом, свалим в десятом.

— Гурин, значит? Так знай, дружба, нам бунты и революции надоели. Бьёмся, бьёмся, а просвета не видно, — загудел басом Калина. — Нам бы земли и чутка свободы. Так я говорю, мужики?

— Дело говоришь. Будет земля, и наплевать нам на всё. Всех бунтовщиков на каторгу, а нам ихнюю землю, — поддакнул Терентий. — Потому не толкись под ногами и не гугни над ухом.

Гурин спорить не стал, ушёл от мужиков.

— Таких трепачей сторониться надо. Через них мужику маета, — вслед ему проговорил Калина. — А Груню ты береги, Терентий. Оклемаемся и пожедим их с Федькой. Какое уж там приданое! Так возьмём.

К обеду показалась земля. Пароход круто повернул к берегу. Все спешили выползти на палубу, не отрываясь смотрели на землю, незнакомую и загадочную. Море качало её, дыбило Сихотэ-Алиньские горы, роняло их набок.

Мужик не так, как моряк, смотрит на землю. Моряк — с тоской, радостью, что наконец-то увидал её, желанную. Мужик смотрит, приглядывается, будто

собирается купить её: «А что ты за земля? Что ты дашь мне, мужику? Как примешь?»

Пароход надрывно загудел, всхлипнув, оборвал свой рёв на высокой ноте. Всполошились чайки, утки — много их тут по-над берегом, — закружили над сопками и морем. Грохнула якорная цепь, якорь упал в воду, пароход остановился, закачался на мелкой волне тихой гавани.

Деревушка Весёлый Яр ожила. Из приземистых домиков высыпали старожилы. К пароходу пошла пузатая шаланда под квадратным парусом.

На палубе шум, суета, крики:

— Марфа, гля, сколько тут деревьев! Прощай, солома! Напечём мужикам такого хлеба, что языки проглотят!

— Надо вначале его посеять, вырастить да сжать, — охладил бабьи восторги Калина.

— Напечём сытного и духмяного, — не обращая внимания на мужа, радовалась Марфа, широкая в плечах, крепко сбитая русская баба.

Сытного и духмяного. Вот за ним-то и шла сюда лапотная Русь. Шла обживать новые и трудные земли. Шли безземельцы и бедняки. Тем, кто хотел ехать сюда, немало помогала казна: бесплатная дорога, по четыре сотни рублей на семью, чтобы каждый мог купить себе пахотный инвентарь, коней, коров, навечно осесть в этом краю. Но только помощь эта не каждого могла удержать на такой трудной земле. Люди проедали деньги, а потом бросали всё и уезжали назад. Только самые сильные и отчаянные оставались. Сильные, крепкие, те, кто не пасовал перед рыком тигра или медведя, не страшился застоялой целины, кто смог полюбить эту землю.

Пока шаланда медленно ползла к пароходу, ахали бабы, удивлялись мужики при виде гор, которые терялись в голубом мареве таёжных дебрей — хмарных, таинственных.

— Федос, а Федос, ты гля, ить тут земли-то нету. Одни горы. Где пахать будем?

— Не бойсь. Между гор завсегда есть ложки. Найдём, где пахать. Не было бы пашен, не гнали бы нас сюда. Земля мужиком сильна.

— Ежели не будет пашен, то нам гибель! — тревожились мужики.

— Гибнут одни лодыри и недоумки, — процедил Безродный. Он стоял у борта, протрезвел на ветру, суровым взглядом смотрел на сопки, спускающиеся к морю распадки.

Федька Козин тоже не отрывал глаз от берега. Он не замечал, как любовно поглядывала на него Груня, как осторожно касалась его рукой. Безродный увидел эту тихую ласку, прижал Груню к мачте, нагло заглянул ей в глаза, криво усмехнулся.

Груня дёрнула плечом и отступила от Безродного. Подумала: «Федька хороший парень, тоже красив,

но молчун и тихоня. Мог бы хоть раз поцеловать на палубе, ночью. Телёнок! А этот поцеловал бы сразу. Как он смотрит! Лицом тоже чист. Поди, с таким не пропадёшь...» Она незаметно поглядывала то на Федьку, то на Безродного. Федька от этого сравнения явно проигрывал.

Козины и Безродный попали на шаланду со вторым рейсом. Калина, как только ступил на землю, встал на колени и начал молиться.

— Господи, прими мои молитвы! Внемли гласу моему и не отвержи лика своего от раба твоего и страдальца! — упал лицом на сырую землю и поцеловал.

Мимо проходил Безродный, не удержался, пнул в бок Калину, прорычал:

— Дурак! Развалился, юродивый! Комедию ставишь!

Калина вскочил, медведем бросился на Безродного, но Федька остановил отца:

— Будя, тятя, не затевай драку, народ смеётся.

На берегу моря начал расти палаточный город. Чиновники из переселенческого управления, которое образовалось здесь в этом же, 1906 году, составляли списки переселенцев, тут же выдавали из кассы причитающиеся по кошту деньги. Здесь, в Веселом Яре, можно было сразу же купить семена для посева, картошку и разную мелочь. А вот за конями, телегами, плугами и боровами надо было ехать в Ольгу, там была ярмарка, туда пароходы Добровольного общества завезли коров, коней, строительный материал, пахотный инвентарь. Но переселенцы, как и старожилы, неохотно покупали привозных коней, которые здесь часто гибли от гнуса и овода; местные лошади были выносливее.

Вот и Калина, когда пришёл в Ольгу, решил купить коня местной породы у крестьян-старожилов. Федька просил купить бердану, чтобы сразу заняться охотой, но отец наотрез отказал:

— Тайга не про нас. Мы люди от земли, от сохи, тем и будем жить.

На ярмарке шум и толкотня. У коновязей кони — выбирай любого. Калине приглянулась пузатая кобылица с лошонком. Вот он и крутился около неё. А рядом сновали китайские коробейники, продавали семена редиски, редьки, моркови, синюю и серую дабу, чёрный сахар, кричали протяжно и горланно:

— Редиза! Редиза! Чеснога! Чеснога! Твоя посмотри! Бери, сопсем даром бери!

Торговцы морской живностью кричали своё:

— Раком, раком! Мало-мало шевели — одна копейка, сопсем не шевели — полкопейка!

Приезжие при виде ослизлых трепангов и клешнястых крабов ругались, плевались и гнали от себя продавцов. Сунулся было один из таких к Калине, тот рывкнул на него:

— Поди прочь, рожа немытая! Где это видано, чтобы русский мужик этакую падаль ел?

Калина был зол на весь мир. Не продавал мордастый пермяк кобылицу с лошонком меньше, чем за полста рублей. В мечтах Калина уже видел, как жеребёнок вырастет и станет жеребцом. Кобылица к этому времени ещё пару принесёт. Свой завод...

— Не хочешь за полста, катись к едрёной матери! — орал пермяк. — Кобыла, что пароход, одна плуг потянет. Зубов нет? У тебя тоже нет, да ты живёшь. Она и без зубов ещё лет десять прохрумкает овёс, только подавай.

— Ты меня с конём не равняй.

— А отчего не сравнять? Здесь житуха — не хлеб с маслом. Рядом с Чалой и сам припряжёшься, ежели жить захочешь.

Купил Калина кобылицу — сбросил-таки пермяк пятерку. Затем купил телегу, плуг и бороны. Радостный готовился к отъезду в Весёлый Яр. Знал, с каким нетерпением ждали его свои. Но вот продуктов не стал много покупать, решил, что до лебеды уже недалеко, на ней проживут. Прикупил лишь пару мешков муки, и хватит. Хотя Терентий сказал:

— Зря ты мало едомы берёшь. Целину поднимать — сила нужна.

— Сдюжим. Лебеда — тоже еда. Денег жалко. Ещё пригодятся.

Здесь же толкался Безродный. Он ничего не покупал. Сверлил людей глазами, злился, будто кого искал. Но вот на ярмарку пригарцевал на поджаром арабе мужик. Из богатых, бедняк такого коня держать не будет. Легко прыгнул на землю и пошёл в кабак. Безродный догнал мужика, спросил:

— Эй, дядя, не продашь ли коня?

— Могу продать, племянничек, сотня серебром — и забирай.

— Куплен!

— Ну, да ты, видно, паря, с деньгой?

— В своём кармане считай! — огрызнулся Безродный.

Безродный отсчитал сто рублей, подошёл к жеребцу, хлопнул ладонью по холке, вскочил в седло и лихо послал его с места. Проскакал из конца в конец Ольги, вернулся. И только прыгнул с коня — увидел Цыгана.

— Жду не дождусь! Где пропадал? — спросил его Безродный.

— Там уж меня нету. Сказ долгий.

— Что сделал? Говори!

— Всё разведаль, всё прознал. Жить можно. Фазан есть. Перо у него золотое. Прокутил все деньги с приставом и уездным головой. Наши в доску! Остался гол и сир. Дай десятку — похмелье давит.

— Купил коня и винтовку? — строго спросил Безродный.

— Как приказал. Хороший из меня купец получается! Снял хатенцию — окосеешь. Море, лес, сопки. Красота! Пошли к приставу, спрыснем нашу встречу. Он тоже сидит без гроша и тебя ждёт. Но только при приставе Баулине называй меня полным званием: Григорий Севастьяныч.

— Ладно, Севастьяныч так Севастьяныч, но для меня ты навеки Цыган. Ты мой раб до последнего вздоха! Понял?

— Понял.

— Жить будешь в Ольге. Для тебя поставим лавчонку, приказчика туда, будешь завозить и продавать товары, увлекаться охотой. Без моего ведома и пальцем не пошевелишь. Пристава я беру в дальнейшем на себя. Совсем будет наш. Завёл ли нужных людей среди манз?

— На той стороне бухты есть китайский посёлок Шамынь. Весь мой. Дружков там нашёл, опий с ними курил. Золотым фазаном в Шамыни считают Сан Лина. Быть бы ему купцом, но всё прокурирует на опии.

Продолжая разговор, они ушли в лавку.

Терентий Маков купил семена, телегу, сбрую, плуг и борону, осталось за малым — коней купить. Терентий бродил по торжищу с уздечкой в руке. Уздечка пахла кожей — только что взята из лавки. Ему приглянулись мерин и кобыла. Решил купить сразу двух коней. Сошлись было по полсотни за штуку, но перебил один из переселенцев, заплатил больше.

И всё же купил коней Маков. В душе радость и смятение: был батраком — стал богачом. Всю ночь в ожидании приписки только и делал, что кормил своих коней сеном, овсом. Утром получил приписку к деревне Суворово, совсем маленькой деревушке, и уехал с Груней на свою землю.

Козины приписались к деревне Божье Поле, самой большой в Голубой Долине. Ехали Козины по тележному тракту, который уже начало строить переселенческое управление. При виде непролазных чащоб, крутых сопкок, звонких ручьёв и бурливых речек тихо ахали.

Козиных догнал Гурин с женой и двумя дочерьми. Он тоже был коштовым, хотя и ссыльный, также купил всё необходимое для крестьянина. Хотел купить бердану, но пристав запретил. Бунтовщик, мало ли что...

Тарахтели телеги, Гурин и Козины шли рядом и мирно беседовали:

— Всё это хорошо и ладно, что нам казённый кошт, землю, но ведь пойми, ты, Калина, что на этой земле скоро с нас будут драть три шкуры. Где ты видел, чтобы царь своё упустил?

— Оно-то так. Но и ты пойми, Гурин, что, кто бы ни взял власть в свои руки, тот и будет с мужика

драть. Бунты — дело зряшное. А люди мы мирные, земные.

— Мирные! Чудак человек, будь дружнее ваши мужики, разве бы смог такой вот Ермила отобрать у тебя землю? Один хотел ты перекричать бурю? Кишка оказалась тонкой. Верно говорю, Фёдор?

— Ладно, дуди себе своё, но моего сына не сбивай с панталыку.

— Сам не маленький — разберётся, где кривда хромает, где правда ровной стёжкой идёт.

Перед перевалом маленький обоз догнал Безродный. Остановил взмыленного араба:

— И куда вас без ружей несёт в эту глушь? Сейчас видел тигров. А вон и кабаны, — показал на табун, который невдалеке переходил тракт.

Козинский жеребёнок, опередивший обоз, наткнулся на кабанов, испугался, бросился под сопку. И тут же из чащи, будто и людей рядом не было, выскочил тигр, он пас этот табун. Прыгнул на лошонка, схватил зубами и не торопясь понёс в гору.

— Стреляй! Убей тигра! — завопил Калина.

— А что теперь стрелять, жеребёнок всё равно сдох, — усмехнулся Безродный. Он огрел плетью коня и усакал за перевал.

Отчаянье, обида будто лишили рассудка Калину. Он выхватил из телеги топор и бросился за зверем. А тигр положил жеребёнка на жухлую листву, харкнул кровью, зарычал. При виде красной пасти и вершковых зубов Калина попятился, запнулся за валежину, упал на спину и покатился с сопки. Тигр взял жертву в зубы и спокойно ушёл за хребет.

С гор наплывала ночь, несла с собой страхи. Калина ругался, плакал, потом притих.

— Зря ты, Калина, слова тратишь, зверь взял своё, — сказал Гурин. — Давай гоношить костры. Придёт тигр назад, может и коня унести. Такая киса унесёт.

Развели костры, накрепко привязали к телегам коней, сами жались к огню. Там, за кострами, в непроглядной темени, кто-то шуршал листвой, трещал сучьями, над головами дрожали звёзды, в долине речки ухал филин, грозно лаял гуран. Калина, злой на тайгу и зверёв, метал головешки в кусты, пока не занялся пожар. Но Гурин с Федыкой наломали веток и затушили огонь.

— И зачем поджигать тайгу? Ведь это всё наше...

— Я за своего жеребёнка всю тайгу спалю. На что она мне? Вместо этих сопкок пашни бы, всё бы перепахал.

— И стал бы мироедом и хапугой, как ваш Ермила, — сказал Гурин.

— А мне плевать, кем бы я стал! Быть бы сытым, и в кармане чтоб деньга водилась.

— Да хватит ли у тебя сил всю землю перепахать?

— Не хватит — у тебя займу, — огрызнулся Калина.

2

К костру подошёл старик, шёл он из Божьего Поля в Ольгу. Седой, согбенный, но ещё в силе. Бодро поздоровался с переселенцами, присел на сутунок ильма и сразу заговорил:

— Прёт мужик в тайгу. Хорошо. Давно бы так надо. Но только сюда бы мужика сибирского, с хитринкой и таёжной ловкостью, вот как староверы за перевалом. Тех ничем не удивить и не испугаешь. Они сотни лет скрываются от властей и живут себе, да ещё и получше нашего.

— Дед, рассказал бы ты про тайгу... — попросил Гурин.

— Ха, а чё про неё рассказывать? Тайга как тайга. Я здесь родился и вот помирать собираюсь в ней же... Но ежели хошь, то могу. Одно то, что тайгу нашу Бог сеял с устатку. Вначале он обсеял Ерманию, потом Расаю, потом Сибирь, а уж в наши края прибрёл на шестой день недели. Устал страсть как! А семян ещё полон мешок. Подумал, подумал, взял, развязал мешок и всё вытряхнул на эти сопки. И вышел ералаш. На вершинах сопкок растёт кедровый стланник, там же северная брусника, ниже кедрачи, потом бархат с юга, виноград, лимонник, женьшень. Не понять, всё смешалось. Попадёт такой вот переселенец в тайгу — и пропал, мошка ли заест аль зверь загрызёт. Страхота, а не тайга, кто её не знает. А как познаешь, вроде и не страшно.

— Дедушка, а кто сюда пришёл первым? — спросил Федыка.

— Первым-то? Дело давнее, первым сюда пришёл заглавный бунтарь со своей ватагой — пермяк Феодосий Силов. Он три года вёл сюда людей. Всё искал на этой земле Беловодское царство. Довёл до Забайкалья, а потом тайно бежал по Амуру. Заложили село Пермьку на Амуре, но и там не понравилось беспокойному старику, решил уходить к морю, позвал его к тому же Невельской — люди Невельского строили на берегу моря, в устье Амура, крепость. Геннадий Иванович, Царство ему Небесное, направил Феодосия в бухту Ольгу. А там уже был заложен русский пост, на том посту были четыре матроса. Под боком поста и мы заложили свою деревеньку, я тогда ещё мальчонкой был. Хлебнули горюшка. То на нас нападали пираты из Канады, то хунхузы из Маньчжурии. Нас мало. И на посту одна бронзовая пушчонка да десяток ружей. А вот когда через шесть лет здесь заложили уже другой, военный, пост, тогда мы окрепли. Казаки, пристав и мы — уже сила. Да и люди стали прибывать: тамбовцы, вятчи. По речке Аввакумовке сразу построили три деревни. А сейчас уже и на Голубую речку перебрались. Вона сколько люду стало. Суворово, Божье Поле, Тадуши, Сахово. Идёт народ с моря и из тайги. Первыми за перевалом

поселились староверы. Убежали от Церкви и царя, думали, так и будут одни век вековать, а тут под их боком выросли деревни Чугуевка, Ивайловка, Уборка, и другие будут расти. Нужное дело чугунка, по ней легче сюда добежать. Но пока на нашем пути стоит перевал. От моря есть тележный тракт, от Спасска тоже есть, а вот хребет Сихотэ-Алинь как стена: отгородил нас друг от друга, и никто не знает, что и как у соседа. А может, так оно и лучше — мы себе, те себе.

Долго рассказывал старик про тех, кто сюда пришёл первым, про тигровые набеги.

— А тайги бояться не надо. Она наша беда и наша выручка, это вы скоро поймёте. Ну вот, отдохнул, поговорил с вами, а теперь почапаю дальше.

— Но ведь ночь! — удивился Калина.

— А что ночь?

— А звери?

— Звери безоружного не тронут. Встретишь — уступи дорогу, он пойдёт себе, ты себе.

— У нас тигр жеребёнка задавил.

— То бывает. Это он от шалости. Ну, пошёл я не-то. Доброго вам новоселья, — поклонился старик и ушёл в ночь и тайгу.

— Вот ить есть же люди, что никого не боятся, — проговорил Калина и задумался.

3

Телеги Козина и Гурина, протарахтев по каменистой дороге, остановились посредине села Божье Поле. Село стояло на пригорке, растянулось в одну улицу, обоими концами упёрлось в тайгу. В сторонке речка Голубая, за ней горбатые сопки, рыжий дубняк и орешник.

Переселенцев тут же окружили старожилы. Здесь старожилом считался тот, кто прожил хотя бы год на этой земле. И не поймут новички, то ли рады их приезде, то ли нет — в глазах сельчан тупое безразличие, голодный блеск, усталость.

Первым заговорил старожил Феофил Розов. Низкорослый, рыжеватый, он высморкался тремя пальцами, шаркнул ногой по пыли.

— Значит, и вам не сидится на месте? Трясёте штанами, а толку? Кормите вшу, а для ча?

— А ты для ча сюда приволокся? — хмуро огрызнулся Калина.

— Тебя, дурака, не спросил, вот и приволокся. Но когда задумаешь бежать назад, приди ко мне — верную дорогу покажу.

— Бежать нам некуда, — устало ответил Калина, — позади — море, впереди — царь. Да и зачем бежать, вона здесь сколько земли, знай паши. Дома бы с такой землёй я развернулся.

— Развернулся ногами к шее...

— Будя! — вмешался высокий и дородный мужик. Это был Ломакин, старшина деревни. Он уже пять лет здесь жил, первым осел в Божьем Поле. — Чего страшать людей? Приехали — и хорошо. Только вот что, други, земли здесь трудные, крепкие, каждый клочок отвоёвывать у тайги надо. Но вы не бойтесь, осилите. Откуда?

— Тамбовские мы.

— Ну! — обрадовался Розов. — Земляки, значит. Тогда не убежите, тамбовские до земли жадные. Как там и что?

— Сам-то давно ли оттуда? — смягчился Калина.

— Второй год пошёл. Во время бунта уехал, и в нашей деревне бунтовали.

— А вы? — повернулся Ломакин к Гурину.

— Я вечнопоселенец, мне бежать и вовсе нельзя.

— Политический, поди?

— Не дорос я до политического, но был с ними, вот и угодил сюда.

— Смотри у меня, не путай людей, — нахмурил брови старшина.

— Зачем их путать, сами помалу узнают правду.

Ломакин отвёл Козиным и Гуриным места под дома. Там они поставили палатки, а вечером собрался народ, послушать, что на белом свете творится.

— А что там творится? Вся Расея в бегах. Мечется мужик и не может найти себе пристанища, — лениво отвечал Калина. — Лучше скажите, как вы тут?

— Что мы? Здесь главное — найти жилу, поймать фазана за хвост, тогда и жить будешь, — уже без зла говорил Розов.

— А ты поймал? — усмехнулся Гурин.

— Пока нет. Но поймаю. Поймаю и не отпущу.

— Как найти ту самую жилу? — встрепенулся Калина.

— Очень даже просто. Землю пахать, знамо, надо, но главное — тайга. Бить зверя, искать корень женьшень, потом свою лавочку сколотить.

— На купца метишь? Не ново. Ну, а как дело-то идёт? — насмешливо спросил Гурин.

— Идёт помаленьку. Мне бы напарника хорошего, скорее бы пошло. Иди со мной, Калина.

— Нет, я буду от земли жить.

— Тогда отдай Фёдора.

— И его не дам. Хватит с нас того, что тигр жеребёнка унёс, и сына может тайга унести. Здесь не Тамбовщина.

— А ты меня возьми, — усмехаясь, предложил Гурин.

— Тебя? Да ты ошалел! Ты ж бунтовщик, против царя, и настоящего мужика не жалуешь. Нет, с тобой несподручно. Всяко может быть, а ты не согласишься... Вот с Калиной бы пошёл, он нашенской, мужицкой хватки и разбогатеть не прочь. Пойми, Калина, пяток соболей — и хлеба на зиму купишь.

Пушнина здесь в цене. Но только ежли её вывозить в Маньчжурию. А тут купцы нас обжуливают...

Долго говорили мужики о своём житье-бытье, а когда стали расходиться, Ломакин сказал:

— Розов, конечно, трепач, балаболка, но в его словах резон есть. Готовь сына для тайги. Земля землём, тайга тайгой.

Долго не спалось новосёлам. Да и кому может спать на новом месте с такими заботами, с трудной работой впереди?

Чуть свет поднял новосёлов Ломакин и повёл отводить им земли. Вышли в долину Безымянного ключа, Ломакин поднялся на вершину сопочки, не спеша осмотрелся и сказал:

— Ну вот что, други. Ты, Гурин, возмёшь себе всю правую сторону ключа, здесь будут твои покосы и пашни, твой лес и твоя чашоба, а ты, Козин, всю левую. Вот и робите.

— Это как же? Так вот без сажени, без отмера и землю брать?

— А кто её тебе будет мерять? Твоя земля до самого Пятигорья, хошь — и там на камнях паши. Мне мерять землю недосуг. Сам меряй. Аль мало?

— Даже дюже много, — усмехнулся Гурин. — Бери часть моей земли, Калина.

— А отдашь?

— Бери.

— Вот удружил, вот человек, даром что бунтовщик. По-царски делишь, Сидор Лукьяныч. Столько бы земли дома...

— Эх, калина-ягода, — протянул Ломакин, — вижу, сорвёшь ты здесь спину, тогда лечись у бабки Секлетины, поможет. Не вылечит — умрёшь, то сажень отведу — хватит по-за глаза. Ну, прощевайте, недосуг мне.

Калина долго и жадно шарил глазами по своей земле. Вёрст за семь растянулся тот ключ, а до вершин Пятигорья и все пятнадцать наберётся. Вот сколько у Калины земли! И в ширину почти две версты. Прямо помещик Калина, удельный князь...

Он как одержимый начал корчевать заросли орешника, таволги, валить деревья, расчищать место под будущие пашни. Через неделю его было не узнать: осунулся, похудел, руки в ссадинах, замочалилась сивая борода. И не только он, вся его семья, от мала до велика, воевала с тайгой. Лица почернели, глаза запали. Раскорчевали около трёх десятин, включая сюда и полянки, решили пахать. Гурин предложил собраться для пахоты общиной в четыре семьи, с теми, кто имел по одному коню, чтоб четвёркой коней поднимать целину.

— Нет, один буду пахать.

— Одумайся, Калина, — пытался урезонить мужика Ломакин. — Здесь все так пахут, в четыре коня. Загонишь кобылицу.

— Хе, а для ча у меня семья? Всех в пристяжку.

— Обалдел человек! Ну, гляди, тебе жить, — махнул рукой Гурин.

И Калина начал поднимать целину. Запряг в плуг кобылицу, в пристяжку поставил Марфу, Федьку, двух старших дочерей, сам взялся за плуг.

— Но-о, тронули!

Хрустнула под лемехом земля, отвалился жирный пласт. Кобыла согнулась от натуги, с храпом потянула плуг. Не жалея сил, тянули за бечёвки и «пристяжные». И когда кто-то падал, Калина бросал рукоять плуга, поднимал уставшего:

— Ну, отдохнём. Встань-ка ты за плуг, а я за коня пороблю. Вспашем. Потом посеём. Сами по себе. Никому не должны. Долг — дело нудное, камнем висит на шее. Много хлеба намолотим. Заживём. Вона уже сколько вспахали!

За ключом пахал на четвёрке коней Гурин. И даже четыре коня с трудом тянули плуг. А здесь к обеду уже никто не мог подняться, вымотались.

— Ну, отдохнём — и за дело, — подбадривал Калина.

Но тут случилось самое страшное: кобылица вдруг мелко задрожала, подогнула колени и упала на пахоту, забила ногами и сдохла.

Сбежались мужики, те, что пахали с Гуриным, набросились на Калину:

— Коня загнал. Детей и жёнку в могилу вгонишь. Одумайся! Что теперь будешь делать?

Калина, будто оглушённый, молчал. Присев на корточки, гладил гриву павшей кобылы, затем поднялся, взял в руки мотыгу и начал мотыжить целину.

Он мотыжил с семьёй свои десятины неделю, другую. Дело продвигалось медленно. Наконец Калина пошёл просить помощи у Гурина.

— Слушай, сосед, ты отпахался, отсеялся, дай мне коня проборонить пашню. Охляли все мы, силлов больше нет.

— Ладно, Козин. Давай-ка сходим к Ломакину, он, может, что посоветует.

Мужики отправились к Ломакину.

— Пришёл, значитца, — оглаживая окладистую бороду, сказал тот. — Ладно, человек ты нашенский, так и быть, вспашем и сбороним тебе пашни, но чтобы у меня больше не чудил. Здесь в одиночку можно только с бабой переспать.

Вспахали ему три десятины, сборонили — помогли мужики. Калина воспрял духом.

Безродный делал всё иначе: тайгу не корчевал, пашен не пахал. Он нанял мужиков, чтобы они нарубили леса; плотники начали строить дом, не просто обычный крестьянский дом, а двухэтажный. Строила вся деревня, за исключением Гурина и Калины. Первый не пошёл из принципа, чтобы не помогать мироеду, второй был зол на Безродного. На пол и по-

толки привезли высушенные и выдержанные плахи из Ольги; везли оттуда же гвозди и стекло. Стройка шла споро. Безродный часто ходил на охоту, добывал для строителей изюбров, кабанов, кормил людей досыта, бахвалился:

— Это разве охота! Я в Сибири до сорока соболей за зиму добывал, а сорок соболей — это по сибирским ценам две тысячи золотом. Здесь за них можно взять и все десять тысяч. То-то. Прознал я, что и панты стоят бешеные деньги, пятьдесят рублей фунт, а каждый бык даёт пантов фунтов десять. А мне убить зверя — дело плёвое, комару в ухо попаду...

— Хороший мужик, держаться нам надо его, заботать даёт, не обижает едомой, — гудел Розов.

— Знамо, хороший, но чую, есть в нём какая-то червоточинка. Стелет мягко, как спаться будет, — сомневался Ломакин.

Но старшину не слушали. Безродный кормит, пит, платит хорошо, и ладно. Станет он купцом в этом краю, и того лучше, не надо ползать за каждой мелочью в Ольгу.

И вот через месяц среди разлапистых лип поднялся светлый дом Безродного. Не дом, а игрушка: ставни и наличники под краской, крыша крыта тёмсом, полы и потолки расписывали богомазы из города. Нарисовали разных амурчиков со стрелами, Христа, бредущего по облакам, какого-то отрешённого, с пустыми глазами, Богородицу с младенцем на руках и разные весёлые картинки. Дом обнесли высоким плотным забором. Бабы добродетельному хозяину в огороде любовно и старательно посадили картошки, разной овощи. Безродный нравился им. Добряк, весельчак, да и с виду красив и обходителен.

Потом было шумное новоселье. Пьяные мужики лезли целоваться с Безродным, тот смачно чмокался с мужиками, хлопал их по спинам, приговаривал:

— Жить нам и не тужить, мужики. Здесь всё наше и всё для нас, только надо скопом держаться.

— Верна, Егорыч, скопом!

— Здесь мы своё, мужицкое, царство откроем. Пейте, мужики, ешьте, не брезгуйте угощением. Чем богаты, тем и рады.

Столы ломились от еды. Работница Парасковья обносила всех спиртом, ханжой или брагой. Царский пир задал Безродный.

А те двое — Гурин и Козин — не пришли на этот пир. И когда утром Гурин сказал мужикам: мол, что-то темнит Безродный, — на него набросились с кулаками. Не вступись Ломакин, избили бы Гурина.

4

Не захотел Терентий Маков селиться в деревне Суворово, а заложил свой хутор прямо на отведённой пашне: всё рядом, быстрее дело пойдёт. Суворовские

мужики отговаривали: мол, зверьё, хунхузы — не отрывайся от людей, — но Маков был упрям. Он наспех отрыл под сопкой землянку, поставил навес для коней, всё это обнёс шатким забором и начал готовить место для будущей пашни. Старательно корчевал кусты, любовно пересыпал землю в пальцах — теперь это была его земля. С Груней они раскорчевали за три недели одну десятину, было там ещё несколько чистых полей, и Маков начал пахоту. Спарился с суворовским мужиком и на четвёрке коней сделал первую борозду. Домой пришёл радостный, возбуждённый:

— Ну, дочка, живём. Век мыкался на чужой земле, теперь на своей заложил первую отметинку. Выдам я тебя за богатого и самого красивого парня.

— А Федька? Ты же слово дал его отцу.

— Федька! А что там Федька, сами поднимают землю мотыгами, пала их кобыла. Они нам не пара.

— Но ведь им надо бы помочь, дать после пахоты своих коней...

— Дурочка моя маленькая, кто же даёт своих коней?

Груня смолчала. Она пекла блины отцу. Терентий, улетая блины, рассуждал:

— Мы в богачи не будем рваться, но и в сторонке не останемся. Мне не пришлось хорошо пожить, хоть ты поживи в радости. Земля — пух. Урожай должен быть добрый. Будешь ты у меня ходить в шелках и сатинах. Здесь только не ленись. Деньги сами в руки просятся.

А утром он проснулся от нехорошего предчувствия. Выскочил из землянки и бросился в загон. Увидел поваленную загородку, коней под навесом не было. Рядом со следами своих коней заметил третий конский след. Значит, украли. Бегом, задыхаясь, бросился в Суворово.

— Мужики, спасайте, коней у меня увели! Помогите!

— Это чем же мы тебе помочь можем? Догнать вора? Нет, Терентий, ослобони, здесь получить пулю за спаси Христос запросто — тайга. Тот, кто угнал коней, не без оружия. У нас дети, оставлять их сиротами не след.

— Ну, а как же мне быть?

— Не знаем, что тебе и сказать. Сам видишь, каждый живёт своей нуждой.

Вернулся старик домой. Шёл и дороги не видел, слёзы застилали глаза. Дома с плачем встретила его Груня. Воры выгребли из амбарчика, который наспех сколотил Терентий, муку, крупу и картошку. Старик снова пошёл в Суворово, стал просить мужиков помочь с едой, хотя знал, что у них самих было всего немного. Ему одолжили муки, картошки, всё это Терентий легко унёс на плечах.

Вся ночь в раздумье, вся ночь без сна. Утром так заболела спина, что и подняться не смог, а к обеду

отнялись обе ноги. Старик бредил в забытии, вспоминал Пелагею, жалел Груню.

Груня металась между больным отцом и огородом. Теперь уже было не до пашен, хоть бы репы насеять, брюквы, моркови и немного картошки посадить. Варила мучную болтушку, тем и питались. А когда есть стало нечего, она пошла в деревню. Христом-богом стала просить помочь в беде. Вернулась ни с чем. С вечера пошёл дождь. Он шёл всю ночь, стучал по коряной крыше. Первый весенний дождь. Груня часто просыпалась, слушала шум тайги, и казалось ей, что кто-то скребётся в дверь и поскуливает. Накинула на плечи отцовский зипун, осторожно открыла дверь. В землянку прошмыгнула собака, тронув мокрой шерстью голые ноги девушки. Груня зажгла лучину и увидела незнакомку.

Большая чёрная сука нырнула под нары. Через некоторое время оттуда раздался щенячий писк. Проснулся Терентий, зло бросил:

— Зачемпустила суку в дом? Гони её на улицу!

И всё, что накопело у Груни за эти дни, вырвалось криком:

— Федька не пара... Мама умерла... Сами с голоду умираем... «Одену в шелка!» Все от нас отвернулись, и тебя Бог наказал... И не выгоню! Не выгоню! Найдой назову. Пусть живёт... Теперь мы Федьке не пара, я передала в Божье Поле, что у нас всё украли — и коней, и еду, а Федька не идёт. И не придёт... Приданого захотел! Смерти ты моей захотел! — иступлённо кричала она.

— Угомонись, ну чего ты разошлась? Оклемаемся. Должны оклематься. Не хочешь выгонять собаку, пусть живёт. Вот бы ноги мои заходили, всё бы устроилось. Налей горячей воды, нутро светло.

Груня долго навзрыд плакала. А утром надела равное пальтишко, ушла просить милостыню в соседнюю деревеньку Сахово. Зашла в первую избу, робко проговорила:

— Люди добрые, подайте Христа ради, два дня маковой росинки во рту не было.

— Много вас тут таких ходит, — буркнул бородатый мужик. — Подай ей, Фёкла, пару картошин, и будя.

— Обойдётся. Каждому пару, своих кормить нечем будет. Бог подаст.

Груня, горя от стыда, выскочила на улицу. Из печных труб вился дымок, мешался с росой и небом. Пряно пахло печёным хлебом, печёной репой, брюквой. Груня сглотнула слюну, прижалась к забору, чтобы не упасть. В щель забора увидела, как женщина понесла свинье целое ведро варёной брюквы. Дождалась, когда хозяйка уйдёт в дом, быстро добежала до корыта, схватила пару брюкв и бросилась за ворота.

— Нищенка брюкву украла у порося! Сямён, держи её! Силантий, спускай пса!

Груню догнал огромный пёс, сбил с ног, начал рвать её одежду. Тут подбежала хозяйка, ударила Груню поленом по спине, замахнулась второй раз, но подскочил кто-то, верно, её муж Семён, закричал на женщину:

— Сволочь! Ведь у тебя своих семеро, неужли тебе не жалко чужого дитя? Жлобиха! Дома я тебе задам порку. Погоди!

Подошли мужики. Начали расспрашивать Груню, чья и откуда. Груня, всхлипывая, рассказала о своём горе.

— Давайте поможем чутка. Помни — отдаём последнее... — за всех сказал бородатый мужик и первым принёс пять картошин.

Набили Грунину торбу картошкой и брюквой.

— Не ходи больше, люди злы оттого, что сами голодны. Работа их вымучила. Разве к кому из богатых сходи, в долг спроси, — советовал Семён.

Груня шла домой. Сильно грело весеннее солнце. На деревьях показалась первая зелень. В кустах на все голоса заливались птицы. Трезвонили первые жаворонки в небе. Но ничто не радовало. Куда пойти? У кого просить помощи? Ведь этих крох хватит от силы на три дня, а потом? В Божье Поле идти? Нет. Там Федька, он так легко её предал: не приходит, не хочет помочь. А ведь мог бы. Если отец истратил до копейки казённый кошт, то у Калины ещё есть деньги. Он вскоре после пахоты съездил в Ольгу и купил другого коня. «Значит, никому, никому я не нужна», — думала Груня.

Дома она вытащила на свет всех трёх щенят, прижалась лицом к их тёплым тельцам, да так и застыла, обливаясь слезами. Очнулась оттого, что сука лизнула её руку. Она принесла задавленного зайца.

— Хорошая ты моя, зайца принесла. Тятя, тятя, Найда зайца принесла.

— Отбери, пока не съела, и свари его. Это Бог нам послал.

Груня решила натушить картошки с зайчиатиной. Хоть раз поест досыта. А там будь что будет! Вкусно запахло зайчиатиной. Даже рези в животе появились. Груня с отцом жадно ели мясо, картошку, стараясь не смотреть в глаза друг другу. Ведь они-то понимали, что это последний сытный обед. Будет ли ещё такой?..

Так оно и случилось. Найда больше не приносила зайцев. Хотя в тайгу уходила и возвращалась оттуда с раздутым животом. Наверное, задавила изюбра или косулю и ходила к добыче есть. Груня хотела пойти за ней. Побоялась: тайга! Не пошла.

Уже пять дней в доме Маковых, кроме воды, ничего не было. И вот на рассвете простучали копыта, кто-то с хрипотцой в голосе крикнул:

— Ну, балуй!.. Эй, хозяева, принимайте гостя!

— Безродный, тот бирюк с парохода, — сжалась Груня.

— С чего это он бирюк? Обыкновенный человек. Открой!

— Не хочу подниматься, силов нету. Пусть сам заходит.

Распахнулась дверь, в землянку вошёл Безродный.

— Здорово ли живёте?

— Как Бог послал, так и живём, — ответил Терентий. — Грешны мы, видно, перед Ним. Одну беду за другой на нас шлёт. Треплет судьба-лихоманка.

— Наслышан. Пришёл вам помочь.

— Вовремя. Моя гордьячка не идёт просить милостыню, вот и мрём от голода.

— Как же случилось, что у вас всё украли?

— Нашёлся лиходей, ладно бы только коней угнал, так всю едому вывез.

Безродный отвёл глаза. Ему ли не знать того лиходея — на себе выносил мешки с мукой из амбарчика, выючил на коней. Муку высыпал в речку, коней пристрелил в забоке. Так надо было: Груню будет легче забрать, голод любого сделает покладистее.

Из-под нар выползла Найда, обнюхала ноги гостя, зевнула и снова уползла к щенятам.

— Купили? Собака видная.

— Купили, — с вызовом ответила Груня. — Можем перепродать. А хошь, щенков купи. Правда, один квёлый, видно, сдохнет. А два шустрые.

— Нет, не надо, сам сойду за собаку. А ты всё такая же. Языкастая.

— Такой уж уродилась.

— Ладно, дочка, не груби человеку. Зачем пожаловали?

— Пришёл вам помочь.

— Здесь даром никто не помогает, — вздохнул Терентий.

— А я хочу даром. Вот полюбилась мне дочь твоя ещё там, на пароходе, и нет сна. Будь моей княгиней. А? — обратился он к Груне.

— Я же сказала тогда, что упряжь не в коня, да и плохой ты. Хватаешь девок, будто они уличные.

— Пьян я был тогда, Груня. Прости. Привёз вам муки и разной еды. Сгоноши, пообедаем.

— Купить меня хочешь, да?

— Нет же, Груня. Ежели не по нраву я тебе, ну что ж, останемся просто добрыми знакомыми.

— Добрыми... — с трудом выдавила из себя Груня, выбежала из землянки, припала к углу и заплакала.

— Не плачь, — подошёл Безродный, положил руку на её вздрагивающее плечо. — Прими подарок и чего-нибудь состряпай. Оголодал я.

— Ты оголодал, а мы просто голодные.

— Ну, не хочешь, чтобы я был у вас, так поеду домой.

— Нет, почему же... Я сейчас всё сделаю. Блинов напеку.

— Пеки. На днях я вам всего навезу. Да и дом надо вам построить. Разве это жизнь в землянке?

Безродный сдержал своё слово. Привёз полную телегу продуктов. С ним приехали лесорубы, начали валить лес и строить дом. Из Ольги вызвал китайского лекаря, тот осмотрел Терентия, сказал:

— Моя десять солнца его лечи, и будет ходи.

Китайский лекарь долго колдовал над стариком, втыкал в его тело золотые иглы, заставлял после этого спать, поил травами. Через пять дней Терентий поднялся на ноги, а на десятый день уже ходил по двору. Командовал плотниками, как ловчее положить бревно, подогнать паз к пазу.

Груня некоторое время ещё сопротивлялась вмешательству Безродного в их жизнь, говорила с ним резко, ругала отца за то, что позволил Безродному строить им дом. Но сама исподволь приглядывалась к Степану, а однажды, когда он подошёл к ней, поднялась на цыпочки и поцеловала его в губы. Просто сказала:

— Ладно, засылай сватов. Ведь я не дура, знаю, что всё это для меня ты делаешь. А кто ещё такое смог бы сделать, как не ты?

Безродный просиял:

— Ну вот и хорошо. Конечно, для тебя, моя хорошая. Завтра же будут сваты...

Безродный и Груня съездили в Ольгу, обвенчались, вернулись в Божье Поле. Степан закатил пышную свадьбу. Здесь он был щедр как никогда. Его друзьями были пристав Баулин, Цыган и сам уездный. Посредине двора стояли накрытые столы, потому что в дом нельзя было вместить всех приглашённых. Вино лилось рекой.

Но снова и на этом пиру не было Гурина и Козина. Это и задевало Безродного, и чуть тревожило. Не хотелось ему иметь врагов. Понимал, что Гурин не глуп, да и Калина себе на уме.

Не знал о свадьбе только Федька. Он вконец надсадился на пашне, простыл и теперь метался в горячечном бреде.

5

Горе мужицкое. Кто тебя выдумал?..

На хлеба упала ржавая роса. Она съела колосья, запудрила их едкой пылью. Поняли мужики: будет неурожай, голод и бабья нудьга.

Безродный вроде бы сочувствовал мужикам, вроде жалел их, обещал при случае не оставить в беде. А в душе радовался. Будет неурожай, значит, ему станет легче исполнять свои задумки. А пока миловался с молодой женой на зависть всем, ходил с ней на охоту, учил стрелять. В тайге каждый должен

уметь стрелять. Груня была ко всем добра, никому не отказывала, если было в её силах помочь. А когда наступила осень, Степан ушёл в тайгу. На прощанье сказал:

— Не скучай, жди. Охота должна быть славная...

Нет, пожалуй, осени чудеснее на всём белом свете, чем осень в этом краю тигровом. Тепло и тишина. Сопки в жарких кострищах клёнов, в золоте берёз, в зелёной вязи малахита кедрового. Тихо шепчутся падающие листья, никнут усталые травы к земле. И радостно и грустно от всего этого. Вот лёгкий морозец ночью уронил кисею инея на листву, знать, завтра будут новые краски, новые узоры... Тайга, как модница, наряжалась в разные платья, цветастые, непотворимые.

Тайга увядала, тайга плакала золотыми слезами. Жила, как и миллионы лет назад, по законам природы и течению времени.

И мир людей жил по своим законам.

Макову повезло: из умирающего с голоду человека враз стал самым богатым в Суворове. Дом под тесовой крышей, амбары, баня, пасека. Всё есть у Макова. Но не было радости: пашни его заросли травами, не посеял он и не будет жать хлеба. Вот если бы всё, что имел теперь, он нажил своим честным трудом...

Отцветала таволожка. Последние капли мёда несли в улыи пчёлы. Любил Терентий возиться на пасеке, которую купил для него щедрый зять. Старик воевал с шершнями. Они таились на сучьях ильмов и ждали, когда мимо полетит пчела с мёдом. Бросались на пчелу, убивали своим ядом, уносили на дерево и там выпивали из медовых мешочков мёд.

— Вот разбойники, напасти на вас нет. Чужим живёте! — ругался Терентий.

Ругался, невольно сравнивая шершней-разбойников с зятем. Тот посвятил его в свои дела.

...С сопки косо сбегала тропа. По этой тропе ходили искатели женьшеня, охотники, а ещё и такие, как Безродный и Цыган... Вот они засели за валежником. Тропа уходила в ельник. Оба склона, северный и южный, хорошо просматривались. В распадке журчал ручей. Роняли пожелтевшую листву дубы. По склону проскакал изюбр, за ним протрусил енот. Вдали раздался тревожный крик ронжи. Дунул ветерок. Безродный тронул приклад винтовки, тихо сказал:

— Чего-то мешкает Сан Лин. Уже и звери пробежали, а их всё нет.

— Будут. Надо бы нам засесть на хребте.

— Зачем? Там они сыпанут на две стороны, и лови ветра в поле. А здесь не убегут. Кого надо — возьмём. А взять нам надо Сан Лина и корейцев Кима и Чона, корни в их питаузах. Ты их хорошо запомнил?

— Куда лучше. Не раз пил с ними ханжу. Даже звали с собой на корнёвку — будто их не тронут, когда с ними русский.

— Идут. Помни, из двадцати надо взять только троих. Чего у тебя глаза побелели?

— Боюсь, — чистосердечно признался Цыган. — Первый раз я пошёл на такое дело. Страшновато.

Длинная цепочка корнёвщиков приближалась. Уже можно было различить их лица. Впереди Сан Лин, следом шёл Чон, замыкал цепочку Ким. Безродный припал к прикладу. Цыган тоже стал наводить винтовку на корнёвщиков. И когда до них оставалось полсотни сажен, ахнули выстрелы. В ответ — заполошные крики, стоны. Кричали по-китайски, по-удэгейски, по-корейски. Первым упал Сан Лин. Его срезал пулей Безродный. За ним покатился удэгеец Лангуй, раненный Цыганом. Он упал на землю и катался с диким криком, пуля угодила в живот. Безродный снял Чона, затем Кима, а Цыган палил в кого попало, пока корнёвщики не бросились назад. Было убито семь человек, остальные скрылись за хребтом.

Когда всё стихло, Безродный и Цыган вышли из укрытия и направились к убитым. Безродный ворчал:

— Дурак! И чего ты зря людей колотил, ведь сказано было, что только троих надо!

— Да мечутся как шальные, прямо под пули лезут, — оправдывался Цыган.

Среди убитых был кореец Че Хуэн, приятель Цыгана. Он-то и подсказал ему, где бригада будет искать корень. Поплатился за свой язык.

Сорвали с плеч корнёвщиков питаузы, потом опрометью бросились в ельник. Там вскочили на коней и той же тропой на рысях ушли вёрст за двадцать от этого места. Десять дней отлёживались в шалаше, ждали, пока утихнут разговоры. Добыли около десяти фунтов женьшеня. Среди корней были крупные, которые ценились очень дорого. Один, похожий на человека, весил почти триста граммов. А ведь это табун коней, стадо коров!

— Вот так, Цыганище, несколько выстрелов — и куча золота.

— Слушай, Степан, а не опознают нас?

— Пусть опознают. Пристав наш. Потом, мы срезали манз под Кокшаровкой, под носом староверов, на них и свалят. Пустим слух, что видели старовеера, который стрелял в корнёвщиков. Дело пойдёт.

На десятый день Безродный с Цыганом выехали к устью Селенчи. Здесь они встретились с другой бригадой корнёвщиков из пяти человек. Те уже знали про страшное убийство под Кокшаровкой. Стали просить у русских проводить их до Ольги.

— Это можно, мы туда же чапаем.

— О, наша буду хорошо заплати, — суеился старшинка бригады.

— Чем же ты заплатишь? — спросил Безродный как бы между прочим. — Корня много нашли, может быть?

— Не, сопсем не нашли, его тругой район уходи. Не нашли, — пряча глаза от Безродного, выкручивался старшинка.

— Не бойся, мы люди мирные, проводим вас, никто не тронет.

У перевала встали на ночлег. Безродный предложил устроить табор подальше от тропы.

— Мало ли что, — сказал он. — Могут напасть бандиты на сонных, и пикнуть не успеем. Их за костром не будет видно, а они нас увидят.

Его послушались. Отошли от тропы за версту, развели костёр, корнёвщики разделись, легли ногами к огню и вскоре заснули. Ночью Безродный переколол ножом всех корнёвщиков, никто и крикнуть не успел.

Хладнокровие, с каким Безродный убивал людей, ужаснуло Цыгана. Он сжался, отполз от костра, закрыл глаза, чтобы не видеть этого убийства.

— Ну чего ты, дурачок, кого боишься? Ведь таких, как эти, здесь тысячи, много пришло из Маньчжурии и Кореи, все они беспаспортные. Никто и искать не будет, — говорил Безродный, вытирая нож о траву.

— Страшный ты человек, Степан! Мог бы и меня... вот так же?

— Запросто, если изменишь! Тайга — дело серьёзное. Тут может выжить только самый сильный. А я хочу не просто выжить. Хочу видеть, как будет перед мной пресмыкаться пристав, уездный, даже сам губернатор. Хочу дворец из мрамора в тайге построить... Чтобы через века, чтобы через тысячу лет моё имя не забыли.

— И верно, многого ты хочешь. А может, отпустишь меня? Мне не надо мраморного дворца, были бы бабы и водка.

— Нет, теперь уж мы с тобой вместе до конца. Для баб и водки тоже деньги нужны. Выгребай корня, пойдём дальше...

И шли они по тайге. Безродный впереди, следом Цыган. Не нужен ему мраморный дворец. Но шёл. Одна бригада корнёвщиков за другой исчезали в тайге...

— Вот распроклятое семя, секут пчелу — и только. Как их отвадить? Сколько мёду пчёлки не донесут, — сокрушался Терентий.

Через забор перемахнула Найда. В её зубах бился и верещал детским голосом заяц, тарасил раскосые глаза, молотил лапками по воздуху. Маков покосился в сторону Найды, заворчал:

— Ну рази так можно, Найда? Уж лучше бы придушила, чем мучить!

Пожалел Терентий зайчонка, потом вспомнил про Безродного и содрогнулся при мысли о том, что, возможно, сейчас тот где-то убивает людей, заохал:

— Эхе-хе, жизнь, не знаешь, куда и голову приложить.

К Найде бросились щенки, уже довольно крупные, особенно чёрный, по кличке Шарик. Ростом он уже был с мать. Заяц пытался было убежать, но Шарик догнал его, прижал лапами, схватил за шею и задавил. Серый крутился рядом. Он знал, что это уже не игра, где можно небожно кусать друг друга, здесь вступал закон сильного. Серый хорошо знал клыки своего брата. Однажды он осмелел и хотел отобрать у него добычу, но получил такую трёпку, что несколько дней хромал на все четыре лапы. Найда пыталась восстановить справедливость, но Шарик сильно покусал и её, загнал в конуру.

— Не шенок, а дьяволёнок, — ворчал Терентий, — даже матери спуску не даёт. Вскормила на свою голову.

Шарик скоро наелся, оставил половину зайца Серому. А потом, сытые, они играли рваной рукавицей. Здесь Шарик играючи поддавался Серому, но нет-нет да и сбивал его с ног, прижимал лапами к земле, покусывал за шею. Но вот Найда наострила уши и зарычала. Щенки прекратили игру. Послышался топот копыт на тропе. Звякнула подкова о камень, всхрапнул конь. Найда с залившимся лаем бросилась навстречу всаднику, но тут же смолкла. Ехал свой человек. Маков приложил руку козырьком ко лбу, с трудом узнал в подъезжающем Безродного: лицо опухло от комариных укусов, борода и волосы спутались, штаны и куртка превратились в лохмотья.

— Прибыл? Ну здоров ли был?

— Здоров твоими молитвами. Как тут дела?

— Живы. Как охота?

— Пера порядком сняли. Ещё пара таких ходок, и богач я. Фунтов двадцать пять!

— Где Гришка?

— Явится. Хотел медведя убить прямо с седла, выстрелил по зверю с вершной, а тот — на коня, вырвал коню брюхо и сам сдох. Пришлось добивать лошадь. Теперь пешком кандыбает. Готовь баню. Тело зудит. Мошка и клещи заели. Что слышно в народе?

— Говорят, что бандиты шалят. Проходил намеренный отряд хунхузов. Баулин дал им бой. Десятерых убили, хунхузы наших двух ранили. Хотел Баулин все убийства под Кокшаровкой, под перевалом, да и в Даданцах свалить на хунхузов, но мужиков не проведёшь. Хунхузы, мол, чаще ловят свои жертвы, привязывают на съедение комарам или живьём закапывают в землю, а кого и просто вешают. Здесь же все убиты из винтовок. Волостной с урядником трясали кокшаровских староверов, но без толку... Баулин канючил денег. Приглянулась ему одна пермячка, хо-

чет её окружить, нарядами улестить. Дал я ему сто рублёв золотом. Радёшенек он. Да, просил тебя бороду сбрить. Быть осторожнее.

— Сказал ты ему, что за хорошую службу он своё получит?

— Как же, трижды напомнил. Слушай, Степан, а может быть, хватит? Ить ты теперь озолотился. Бросай это дело.

— Ты что, тять, трусишь? Не бойсь. Когда надо, брошу. Вовремя брошу.

— Чёрт, не распознал я тебя сразу, кто ты и что, не пошёл бы с тобой. Тяжко. Ради Груни всё это терплю. Нужда.

— Все вы на нужду валите, чуть что. Иди занимайся делом.

Щенки насторожённо следили за Безродным. От него пахло чем-то страшным. Серый струсил и, поджав хвост, забрался в конуру. Шарик ошетинился, водил носом, но не уходил.

Безродный присел на ступеньку крыльца, начал разуваться. Шарик с рычанием пошёл на Безродного, вдруг остановился, поднял голову и завыл.

— Ещё ты тут развылся, — зло бросил Безродный, схватил плётку и опоясал щенка.

Шарик захлебнулся воем, глаза налились кровью, присел на лапы и сильно прыгнул на обидчика. Даже удар плётки не остановил его. Он хватил клыками Безродного за штаны и вырвал клочок. Степан отпихнул пса ногой и вбежал на крыльцо. Размахивая плёткой, он отбивался от нападающего Шарика. На шум прибежал Терентий, отшвырнул пса в сторону, а потом надел ошейник, посадил на цепь.

— Вот это пёс! Ну удружил, старик! Помёт, говоришь, волчий?

— Думаю, да. Найда пришла из тайги, там с волком повязалась, такое бывает. Зимой начну с ним колотить кабанов и медведей.

— Сиди уж, охотник нашёлся! Пса мне отдашь. Тебе хватит тех зайцев, что носит Найда.

— Не ем уже.

— Заелся?

— Как сказать, всему своё время. Орех на дереве растёт, но не фрукт.

— Пса я приспособлю для своей охоты. От него ни один фазан не уйдёт.

— Собака — тварь безвинная, и грешно её в это дело втягивать.

— Брось, тятя. Ты в стороне, твоё дело хранить мою добычу, и баста! Везде и всюду транди, что я охотничаю, корень ишу. Как там Груня?

— Скучает по тебе.

— Будешь у неё, скажи, что я ушёл в Маньчжурию. Некогда к ней заехать. Пусть поскучает. А собаку я беру. С ней мы любое их становище отыщем. А то ведь по три-четыре дня выискиваем, где они

стоят. Жгут сушняк, чтобы дыма не было. Над кострами делают навесы, чтобы искры ночью не мельтешили. Хитрят, бестии.

— Так и быть, покупай. Но только всё это зря. Пёс тебе побои не простит. Я одна пнул его ногой, так до сих пор косится на меня. Это же волк, а не собака. Волки зло долго помнят.

— Чепуха! Но скажи, почему я должен пса покупать?

— Так уж повелось на Руси: купленная собака лучше пойдёт на охоту. Десятка золотом — и забирай.

— Ладно. Куплен. Пусть сидит на цепи. Зови Хунхузом.

— Груня звала Шариком.

— Теперь будет Хунхуз.

Пришёл Цыган и прервал этот нудный разговор. Улыбчивый и вертлявый, обнял Макова, позвал к себе Найду и Серого. Они подбежали к нему, но тут же отошли — Цыган тоже нёс этот страшный запах на себе. Цыган зашёл в избу, перекрестился. Безродный ухмыльнулся. Маков нахмурился и сказал:

— Хоть бы ты свою чёрную рожу не крестил, не кошунствовал бы.

— А отчего же не перекреститься? Человек я крещёный. Бабка меня научила молиться, на всех исповедах поп хвалил, что я не лажу в чужие огороды, посты блюду, исправно в церковь хожу. А потом я у него рысака увёл...

— Ладно, балаболка, садись есть.

Выпили по деревянной кружке медовухи. Безродный слегка захмелел. Как обычно, начал хвастать:

— Собаку я купил у отца — не собака, а золото. Хочу приспособить её к нашему делу.

— Сами звери, и собаку — к тому же. А потом, как её приучить?

— Очень просто: голодом и злобой. Поймаем в тайге манзу, натравим на него пса, загрызёт, пусть ест.

— Ты, Степан, даже не дьявол, дьявол против тебя ребёнок... — проворчал Терентий.

— Заткнись! Пошли посмотрим Хунхуза.

Они, чуть покачиваясь, приближались к собаке. Пёс искоса смотрел на них, тело его напряглось. Степан протянул руку, чтобы погладить пса. Тот коротко выбросил голову, клацнули зубы, из ладони Безродного хлынула кровь.

— В бога мать! — заревел Безродный, пнул собаку в морду, но тут же запрыгал на одной ноге.

Пёс прокусил ичиг и задел палец. Безродный схватил палку и, горбатясь, двинулся на пса. Хунхуз вскочил, подался назад, молча, без лая и рыка. Цепь кончилась. Безродный занёс палку, чтобы ударить пса по голове, но тот опередил его, прыгнул, грудью сбил с ног. Безродный упал на спину. К счастью, он был одет

в ватный зипун, пёс ухватился за него и, всхрипывая, пытался добраться до шеи. Безродный упёрся руками в морду собаки, хотел оторвать её от себя. Ещё секунда — и страшные клыки вопьются в горло...

Цыган остолбенел, лихорадочно думал: «Пусть задавит. Свободен буду. Хлопну Макова и уйду с корнями в Харбин или Чифу, там ладно проживу. А если не задавит? Если Безродный вывернется, он мне такое не простит». Цыган прыгнул на Хунхуза, подмял его под себя, выхватил нож, с силой разжал зубы собаке, отшвырнул её в сторону. Отскочил сам. Безродный со стоном откатился. Потом кинулся за плёткой и начал стегать пса. Хунхуз крутился, пытался поймать жалающий конец ремня, рычал, но ни разу не заскулил, не запросил пощады.

— Хватит! — крикнул Цыган и оттолкнул Безродного. — Палкой дружбы не добьёшься! Ну и пёс! Что будет, когда он станет настоящей собакой! Пошли перевяжем руку. М-да, чуть было не пришлось записывать тебя в бабушкин поминальник. Не бей больше. Лаской бери.

— Собака как баба, чем больше бьёшь, тем ласковее, — не согласился Безродный и всё порывался ударить пса.

— Бывают разные собаки, и бабы разные. Не заскулил, чёрт, не запросил пощады. Человек и то... Помнишь того фазана? На коленях ползал, жизнь себе вымаливал...

— Всех не упомнишь. Каждый хочет жить.

— Перепродай мне пса, Степан. В пять раз дороже дам. Не покорится он тебе. Это же волк. Смотри, как глаза горят.

— Не продается!

— Ну и ладно. Может, когда вспомнишь Цыгана, что он тебе нагадал: пёс этот — твоя судьба. А судьбу мы не выбираем, она не конь и не баба, раз даётся от роду.

— Оставь свою ворожбу при себе. Сделаю я из пса помощника.

— Помощника! Сожрет он тебя вместо манзы! — мрачно пошутил Цыган и пошёл в дом.

— Нет, Цыган, нет, покорю, обязательно покорю! Будет за три сопки бежать на мой свист. Покорю!

6

В Божьем Поле гнетущая тишина. Все на полях. Жнецы жали «пьяный» хлеб. Хлеб, колосья которого поточила ржа. По-доброму есть тот хлеб нельзя, от него люди болеют. Но и жить надо, не умирать же с голоду.

Над тайгой тишина, осенний зной. По улице лениво бродили собаки, купались, как летом, в пыли куры, а возле дворов тех, кто уже обжился, под заборами валялись в грязи свиньи, по-местному, чув-

ки, — помёт домашней свиньи с диким кабаном — чёрно-белые, а то и вовсе чёрные.

Из двухэтажного дома вышла Груня, лениво потянулась, осмотрелась, заспешила к реке, чтобы искупаться. Ещё тепло, и вода не очень холодная. Груня могла себе позволить такое. Жилось ей хорошо. Неизвестные люди везли из Ольги муку, разные крупы, сладости, украшения и мануфактуру. «А деньги?» — спросила в первый же их приезд Груня. «Всё оплачено. У нас без обмана. Так приказал твой муж».

Легко бежала по тропинке. Навстречу шёл Федька Козин. Он нёс на коромысле две связки симы. При каждом его шаге из животов рыб высыпалась икра. Самки симы давно созрели для икрометания. Груня сошла с тропы, чтобы дать дорогу бывшему жениху. Это была первая их встреча с того времени. Федька стал выше ростом, шире в плечах, руки от работы налились упругостью и силой. Он был в холщовых штанах, обтрёпанных внизу, в холщовой рубашке, босиком. Соломенный чуб выбился из-под рваного картуза и метался на тёплом ветерке. Лицо задубело и побурело. Федька прошёл мимо Груни молча, опустив глаза.

Груня проговорила вслед:

— Ты чего, задавака, меня избегаешь?

— А с чего это тебя привечать? Теперь ты мужняя баба.

— Не дуйся. Сам виноват. Аль ты не знал, что умирали мы с голоду?

— Откуда мне было знать, я сам был в беспамятстве. Надорвался, простыл, едва оклемался.

— Давай дружить, — тронула она за рукав Федьку.

— Ты что — чокнулась? Ить ты замужем! Дура!

— Ну и что? Если замужем, разве нельзя с кем-то дружить? — наивно спрашивала Груня. — Урожай нынче плохой, может, чем и помогу.

— Подаяний не принимаю.

— Ну тогда шёл бы в тайгу. Мой Степан, сказывал тятя, много корня женшенья нашёл.

— Знаем, как он их находит. Он манз убивает.

— Болтай! Это ты от зависти такое плетёшь.

— Я что, люди говорят. Моё дело сторона. — И Федька пошёл тропой в деревню.

У речки Груня остановилась, задумалась: «А что, если он про Степана правду сказал? — И сама себе ответила: — Нет, Степан на такое не пойдёт». Сбросила с себя нарядный сарафан, рубашку и нырнула в воду. В шестнадцать лет только и купаться. Проплыла бурливый перекал, долго ныряла и плескалась на тихом плёсе.

Федька выглянул из-за куста. Огляделся, вроде никого нет. Протянул руку и схватил одежду Груни.

Потом сидел на чердаке своего дома и посмеивался, глядя, как Груня почти нагая кралась по огородам домой, пряталась за кукурузник.

Через неделю они снова встретились на той же тропе. Теперь Фёдка нёс связку кеты — шли первые кетовые гонцы, скоро должен начаться большой ход рыбы. Фёдка ухмыльнулся с издёвкой, обидно.

Груня прошмыгнула мимо, убежала к реке. Она-то знала, что одежду украл Фёдка. «Ну и пусть, пусть ворует!» — думала Груня, раздеваясь. Снова уплыла далеко. Вышла на берег — одежды не было. Из-за кустов слышалось тихое всхлипывание. Осторожно раздвигая кусты, пошла на эти звуки. Фёдка сидел на валежине, плакал, утирая слёзы её сарафаном. Груня забыла о своей наготе. Ей стало нестерпимо жаль бывшего дружка. Чего говорить, Фёдка по-прежнему был как родной. Не забылись та дорога, голод, мытарства. Как тогда, на пароходе, она положила руку на его голову, сказала:

— Ну, не плачь, не надо.

Фёдка вздрогнул, испуганно вскрикнул, вскочил, бросил в лицо Груне сарафан и ринулся прочь.

Груня растерянно глядела ему вслед, затем села на валежину и навзрыд заплакала.

«Ну что я сделала ему плохого? Ну, вышла за Степана... Так уж получилось...»

Трудно жить в одиночку. Хоть и люди кругом, а Груня была одинока. Может, поэтому, особенно после того дня, когда увидела, как плакал Фёдор, она искала с ним встречи. Наконец они встретились.

Фёдка опустил голову, остановился, босой ногой чертил непонятные знаки на пыли, молчал.

— Ну что молчишь? Тебе меня жалко, да?

— Я сам не знаю, кого мне жалко, тебя или себя. И всё же ты несчастный человек, Груняша. Очень даже. Я ведь всё понимаю, всё знаю. Попади ты в нашу семью, гнуть бы тебе спину до старости, обдирать руки о солому, натирать мозоли серпом. Радости мало. Мы вот живём на одной рыбе. Обрыдло. Гурин говорит, что работать на земле, честно работать — это счастье. Но ведь пока земля-то нас не радует, плохо живём. А ты вот — хорошо. Но если правду говорят люди, что Безродный бандит, убийца, то ведь и это не жизнь. Понимаешь? Не жизнь! Лучше пропасть, чем с таким жить.

— Дурак ты, Фёдка, дурак. На Степана ты со зла наговариваешь.

— Нет, не наговариваю я. Видел я его, когда у нас тигр унёс жеребёнка. Он только кажет себя хорошим. Сволочь он!

— Брехун! Врёшь! Всё врёшь! Назло врёшь! — Груня подскочила к Фёдке и заколотила маленькими кулаками по его груди.

— Катись ты от меня! Вру — дорого не беру. И не следи за мной! Придёт время, сама всё узнаешь... — Фёдка повернулся и размеренно зашагал по тропе.

Пришла Груня домой, упала на кровать, перед глазамиплыли стены, потолок, качался дом, будто

снова она была на пароходе. Заплакала. Не хотела верить, что Степан занимается страшным делом.

Не усидела дома. Выбежала на улицу. Встретила Розова, в упор спросила:

— Феофил Иванович, говорят люди, что вы видели моего Степана у отца?

— Пустое. Откель мне видеть Степана Егорыча, ежели он по тайге блукает? Был слых, что в Маньчжурию подался. Прощевай! Недосуг. Кета вон пошла, надо на зиму накрючить. Зима долгая. Хлеба нету, — выпалил скороговоркой Розов и затрусил к реке.

Увидела Груня Калину и подошла с этим же наивным вопросом:

— Дядя Калина, правда, что мой Степан...

— Сволочь твой Степан, — прервал Калина. — Для нас сволочь, а для тебя муж. Вот и решай, кто он.

— Фёдка сказал...

— Дурак наш Фёдка, а с дурака велик ли спрос. Иди себе, не мешай людям работать. Фёдку не со-блазняй, узнаю, обоих вожжами отпорю!

Заметалась Груня.

Самым добрым человеком ей казалась Марфа. Бросилась она к ней. Марфа молола зерно на ручной мельнице, выслушала Груню, усмехнулась одними глазами, ответила:

— Ботало наш Фёдка. Не майся. Живи и горя не знай. Ты его уже познала, хватит. Будь у меня Калина, как твой Степан, я бы ему ноги мыла и воду пила. А то волосы расчесать некогда. Замаялась. Не думай плохо. Вон Параська уже невестится, а сарафана нетути.

— Так я дам на сарафан, даже на два.

— Это верно, правильно, от большого чутка не убавится.

— Заходите, когда будет время. Какого ей цвета?

— А любого.

— И Фёдке дам отрез сукна, тоже ходит в рваньё.

— Ну улестила, ну удружила. Премного тебе благодарна, Аграфена Терентьевна.

И всё же, кто сказал первым, что Степан бандит? Тайга скрытна и молчалива. Но вот как-то из её дебрей вдруг приходит весть, что такого-то человека надо опасаться. Кто приносит её, весть? Может быть, ветер? Может быть, воды? А может, люди подглядели...

Марфа вечером забежала к Груне. Снова долго и терпеливо увещевала молодую женщину, советовала плюнуть на все разговоры.

— Вся жизнь трын-трава. Раз живём, и то не людски. Хоть ты поживи. Ну, будешь верить всякому, уйдёшь от Степана, а куда? За Степана любая баба пойдёт. Степан — сокол! У него глаза соколиные, — ворковала она, расчёсывая шелковистые волосы не-гаданно обрётённой подруги.

Марфа зачастила к Груне. От неё несла под мышкой отрезки сукна, сатина, ситца. Тут же на руках шла детям рубашки, штаны. Калина было накинута на Марфу:

— Ты что, с бабой убийцы спелась? Унеси всё назад.

— А ну замолчи! — рявкнула Марфа на мужа. — Тебе какое дело, у кого беру и как? Пойди сам в тайгу и принеси мне золотую серьгу в ушко. Трусись? Тогда и молчи, рохля!

— Марфа!

— Полста лет как Марфа! Хоть под старость надену дорогой сарафан, всё хожу в домотканых холстах...

А на деревне бабы шептались за спиной Груни, кланялись в ноги, как барыне, жалели и ненавидели. Груня всё это чувствовала, спешила уйти от них. А вслед разное несло:

— Спелась с Марфой, а на нас и не глянет!

— Не трожьте её, бабы, дитя она ещё, мало в жизни понимает.

— А как поймёт сладость власти, то возьмёт нас в шоры. Все мы, бабы, до поры до времени стеснительны, а потом такими дьяволицами делаемся, упаси бог.

А Груне нет покоя. Не знала она, куда податься.

7

Открасовалась осень цветастыми сарафанами, сдули ветры с тайги дорогой наряд, голым-голёшенька стала она. Вот хотя бы осинка, что выросла на взлобке, под тенью кедра, холодно и грустно ей. На сучке остался один листок, трепещет и рвётся на ветру, улететь хочет в хмуроватую синь сопок. Но не отпускает его осинка. Держит. С ним не так одиноко...

В дорогую шубку из колонка одета Груня, на плечах пуховая шаль, на ногах лёгкие унты из камуса, перчатки из замши. Раскраснелись на ветру щёки. Но не грела её шубка, ничто не грело. Холодно ей от одиночества. Как той осинке на взлобке. Очень холодно. Измаялась в неведении Груня. Однажды даже сказала Марфе, что, мол, уйдёт, если убедится, что правду говорят люди про Степана.

...Степан Безродный вернулся домой, когда уже на гольцах лежали снега. И одет он был по-зимнему: в белом полушубке, в шапке из рыси, на ногах высокие унты из замши, на руках волчьи рукавицы. Без бороды сильно помолодел. Гордо восседал он на своём Ястребе, к хвосту коня был привязан Хунхуз. Пёс сильно хромал, плёлся, опустив хвост.

Безродный подъехал к воротам своего дома и сильно постучал в верёю. Груня распахнула ворота и растерялась. Озноб прошёл по телу. Надо бы броситься к мужу, но не смогла. Видела, как из-за каж-

дого забора торчали головы, сверлили их обоих любопытные глаза. Не будь этих чужих глаз, может быть, и бросилась бы Груня к Степану. Даже когда она поспешно закрыла ворота, ей казалось, что люди видят и сквозь доски. Нашлась. Увидела пса и с криком: «Шарик!» — бросилась к нему, поцеловала в чёрный нос.

— Милый Шарик!

Безродный вспыхнул, крутые желваки заходили на скулах.

— Не Шарик, а Хунхуз! — крикнул он жене и прыгнул с коня.

Шарик узнал Груню, тёрся об её колени, лизал руки, тихо поскуливал, словно жаловался.

— Это как же, тебе собака дороже мужа? Для кого и ради чего я полгода бродил по тайге, клещ и гнус меня точил, мотался в Маньчжурию? А ты...

— А ты? Люди говорили, что ты был у отца... И ни разу не заехал домой. Видно, не очень-то нужна я тебе, другую нашёл! — со слезами в голосе крикнула Груня и бросилась в дом.

Безродный отвязал пса, подвёл к столбу, у забора накинул кольцо на крюк, очертил волю Хунхуза на длину цепи. Пёс бессильно опустился на мёрзлую землю, проводил злобным взглядом хозяина. Пока Безродный мотался по Маньчжурии, продавая корни, пёс жил у Терентия. Вернувшись, Безродный целую неделю бражничал у тестя, а пса мори́л голодом и ежедневно сёк кнутом, добивался покорности. Но пёс не покорился. Даже Маков сказал: «Волк, настоящий волк. Бей не бей, теперь поздно...»

— Ну что, может, на новом месте одумаешься? — издали спросил Безродный.

Пёс ощерился, показал клыки.

— Цыган вон через тебя мне судьбу нагадал. Смешно, конечно, а в общем-то интересно даже. Хватит, пошумели, и давай жить мирно. А то вон и Груняша на меня злобится, — примирительно сказал Безродный, расседлал коня, завёл в конюшню на выстойку.

Из дома выбежала работница Парасковья, запричитала:

— Приехал наш разлюбезный, кормилец наш. Наскучались.

Безродный оборвал ее:

— Ладно, хватит. Иди накрывай на стол! — Медленно пошёл в дом.

В прихожей разделся, зачерпнул ковш квасу и, не отрываясь, выпил. Поднялся на второй этаж. Груня лежала на кровати и плакала.

— Ну хватит! Хватит! С чего ты взяла, что я нашёл другую? Разве может быть мне кто-либо дороже тебя? — Он целовал жену в губы, щёки, заплаканные глаза.

— А на тебя говорят, что ты манз убиваешь, — сказала Груня и отшатнулась испугавшись своих слов.

Подался назад Безродный. Но тут же снова привлёк её к себе, заговорил торопливо:

— Дурочка ты моя, кто тебе такое ляпнул? Да разве я похож на убийцу? Ну посмотри же! Всё честно заработал. Это от зависти и зла говорят. Те говорят, кто дорогой корень искать не умеет. Я всё могу! Вона, глянь-ка, сколько я тебе золота привёз. Ну, смотри! — Безродный выхватил из-за пазухи кожаный мешочек, трясущимися руками развязал тесёмки и высыпал золото на стол, на белую скатерть. Со звоном рассыпались по скатерти золотые монеты. — Врут люди! Врут! Кто видел, что я убивал манз? Покажи мне того человека! На Евангелии поклянусь, распятие поцелую, что честен я.

— Поклянись, поцелуй! Ну, Стёпа!..

Безродный сорвал с божнички бронзовое распятие Христа, троекратно чмокнул губами холодный и чуть кисловатый металл.

— Клянусь перед Богом и тобой, что я чист и безгрешен!

— Ну вот, теперь я верю, — легко вздохнула Груня. — Значит, врут люди. Значит, это не ты, другие...

Груня пересыпала с ладони на ладонь золотые пятерки, радовалась, как дитя. Безродный лежал на кровати и пристально смотрел на жену, хмурился.

— Хватит, Груня, собери и спрячь, тебе на сохрану отдаю. Убери, — не выдержал Безродный, не хватило сил видеть это золото. Он-то знал ему цену.

Снова нахмурился. Сказанное Груней насторожило. Тюрьма и каторга ему не грозили. Раздражали разговоры людей. Ведь без этих людей ему не построить мраморного дворца. Решил: «Завтра же дам пир по случаю приезда. Хотя языки будут короче. Да и прошупаю, чем люди дышат».

На пир пришли все сельчане, кроме двоих. А те, что не пришли, Козин и Гурин, уже давно были причислены Безродным к его личным врагам. За столом Степан был внимателен к каждому. Это трогало, но почти каждый думал: «А зачем ему быть добрым? Значит, он от нас чего-то хочет?»

В сильном подпитии бахвалился Безродный:

— Нашли мы с напарником, други мои, такую плантацию корня женьшеня, что сами ахнули. В такой глухой тайге, что сам дьявол туда не забирался, поди. А допрежь целый месяц пробродили попусту. Кругом зверьё, гнусище, страшно и вспомнить всё. Трёх тигров убили, семь медведей напали на нас. От хунхузов два раза убегали. Нас-то всего было двое, а их тьма-тьмушная. Моего напарника ранили в ногу, но добро — только кожу царапнули... Копали мы тот корень целых пять дней. Один был на два фунта, остальные по полфунта и

меньше. В Харбине сбыли всё. Купцы у нас этот корень из рук рвали, не успевали мы золото ссыпать в мешочки. У них женьшень в цене. Настой этого корня пьют самые богатые купцы и мандарины. И будто бы не стареют. Пробовал и я пить тот настой, но только без веры-то не почувал в нём той силы. Так, трава травой...

Хоть и сильно пьяны были мужики и бабы, но не верили рассказанному, глаза опускали. Видел это Безродный, понимал всё. «Ну и хрен с вами, не верите, и не надо, — думал он. — Главное, что вы пришли, а там посмотрим, что и как». Лишь Розов, потирая руки, поддакивал хозяину:

— Везёт же людям. Знают, как и где растёт тот корень. Взял бы меня, Степан Егорыч, в напарники. Ходок я хороший, глаза что у рыси.

— Посмотрим, посмотрим, — ответил Безродный, а сам подумал: «Тебя, дурака, взять, так ты от страха умрёшь!»

Светлой улыбкой провожала гостей Груня. Теперь, после клятвы Степана, верила она в его честность. А Безродный, хоть и был пьян, следил за Груней. «Не знает правды баба. А если бы знала да не гнушалась моей работы, как бы я развернулся! Я бы полтайги исходил, всех манз к рукам прибрал. Ради неё прибрал бы. Какой капитал можно было бы сколотить! Нет, слишком она проста и наивна! Зато хороша! С такой и на губернаторском балу не стыдно показаться. Подучить только. Ахнут все. Эх, Грунька, Грунька!»

Безродный пил с мужиками до полуночи, а потом, когда заснул, начал кричать:

— Цыган! Цыган! Стерва, стреляй, убежит фазан! Да не в ноги бей, в голову, в голову... Торкни его топориком по башке! Так, хорошо! Получится из тебя человек!..

Груня забилась в угол горницы, закрыв лицо руками. С немим ужасом слушала страшные слова, её трясло. «Значит, люди не врут. Значит, Федька правду сказал...»

Чуть свет убежала за советом к Марфе. Отвела её к сараю.

— Степан во сне всё рассказал: людей он убивал! — И тут же осеклась: такое говорить на своего мужа... Но кому-то надо выплакать свой страх, свои муки душевные!

— Эх, Груняша, молчи, родная, болезная моя, молчи. Ну чего ты? Баре, те тожить убивают, ещё как убивают! Но живут их жёнки и не маются. Ты не барская баба, нашенская, потому и нудишься. Много ли он золота привёз?

— Кучу. А что, вам надо?

— Как не надо? Каждому золото не помеха. Вон Федьке надо ружьё купить, в тайгу рвётся, да и второго коня не мешало бы иметь.

— Помогут. Всё купите. Только ты говори, что мне делать?

— Ну вот и хорошо. Иди, приголубь его, муж всё-таки. Мужики до ласки падки. И сама посуди, ведь он манз убивает, наших не трогает. Одно слово — иноверцы.

Безродный проснулся поздно. Груня встретила его тихой, чуть отчуждённой улыбкой. Она убеждала себя, что не такое уж это грешное дело — убивать иноверцев. Проворно собрала на стол, поставила четверть спирта.

— Ты только не пей много, Стёпа, заболеешь, — сказала она, страшаясь от пьяного мужа снова услышать те слова.

— Ну вот, Грунечка, будем браться за хозяйство. Купим коней, коров, овец, лавку поставим, такое завернём, что все ахнут. Пора. Хочу пробить через перевал дорогу, чтобы везти товары из Спасска. Там всё дешевле. Главное — сделать зимник за перевал, а там уже есть трактишко до города. Людей буду нанимать, меха скупать, и всё это — за границу. Там меха в цене. Давай выпьем за наше счастье!

Груня пила, пила и не пьянела. Со страхом смотрела на руки, на красные пальцы Безродного, и казалось ей, что они в крови. А Безродный брал этими пальцами куриное мясо, ел, чавкал, успокаивал её:

— Ты, Груня, людей не слушай, я крест целовал, чист перед тобой и Богом. Когда же меня не будет дома, держись Розова, мужик он праведный. Козиных обходи, с Гуриным не якшайся, завистливые люди.

Потом Безродный ушёл договариваться с мужиками дорогу рубить, обоз вести. А Груня, оставшись одна, заметалась по горнице, как по клетке: «Что мне делать? Марфа, ты хоть скажи правду! Посоветуйте, люди!»

Но кто и что мог посоветовать Груне? Так просто не уйти от Степана, он под землёй найдёт. Она его законная жена. Степан зверь, он не отпустит её на все четыре стороны, убьёт.

С того дня Груня с каким-то остервенением стреляла из винтовки, нагана, пока не научилась за сотню сажень всаживать пулю в пулю. Безродный радовался Грунину увлечению.

Как-то через неделю он сказал:

— Пёс, похоже, оклемался, пора учить. Покорности учить.

Хунхуз встретил хозяина рычанием, злобно бросился навстречу, натянул цепь.

— Назад! Цыц! — Безродный ожёг его плетью.

Он бил, пока не устал, бил неистово, ждал, что пёс заскулит, поползёт к нему на животе. Напрасно. Гремела цепь, Хунхуз прыгал, рычал, но не сдавался.

— Врёшь, запросишь пощады! — зверел Безродный.

И так день за днём.

Всё это видел со своего чердака Фёдя Козин. И в голове его сами собой вырисовывались планы. Скоро отец должен привезти бердану, вот тогда...

Однажды он встретил на улице Безродного и выпалил ему в лицо:

— Убийца!

Думал, что Безродный смутится от этих слов, напугается, но тот только усмехнулся:

— Щенок, придержи язык за зубами!

Не смогла видеть истязаний собаки и Груня. Однажды, раздетая, она выскочила на улицу, выхватила из рук Безродного плётку и крикнула:

— Пристрели лучше собаку, чем так бить. Держи наган, стреляй!

Безродный опалил Груню горячим взглядом, сильно толкнул в грудь, крикнул:

— Ты что, в уме, баба, перечить мужу? — Размахнулся и сильно ударил Груню по лицу.

Она рухнула в снег и потеряла сознание. Только тогда и опомнился Безродный, подхватил жену на руки и понёс в дом. Положил на кровать. Снова ринулся во двор. Поднял со снега револьвер, почти не целясь, выстрелил в пса. Хунхуз ткнулся носом в землю, задрожал и замер.

Когда Груня пришла в сознание, Безродный долго оправдывался, что, мол, в горячке такое случилось. Груня отталкивала мужа, не хотела его видеть, плакала навзрыд.

Пошёл Безродный убрать труп собаки, вспомнил про гадание: «Брехун ты, Цыган, нагадал мне судьбу, а она вон лежит дохлая, судьба-то». Вспомнились тут по какой-то связи слова из Библии, которую на сон грядущий читал Степану его новый работник Васёк — его прислал для ведения хозяйства из Ольги Цыган: «Женщина горче смерти, она — сеть, и сердце её — силки, руки — оковы». А дальше: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо всё суета и томление духа».

— Брехня, надо жить и не томиться. Жить надо, — твёрдо повторил Безродный и тут же осёкся.

Хунхуз поднял голову, встал, покачиваясь, утробно зарычал. Голова собаки была залита кровью, на губах пузырилась кровавая пена. И Безродный, который никого не боялся, попятился. В его душу вселился страх. Он выхватил наган, хотел было ещё раз выстрелить, но поборол себя, усмехнулся:

— Интересно. Ха! Значит, я только ранил тебя. Ну так и быть, живи. Посмотрим, может, ты и права моя судьба. Э, смех — это гадание! Живи, убить ещё успею.

Груня пролежала в постели две недели, всё думала о чём-то. С мужем не разговаривала, не глядела на него. А когда встала, сказала мужу:

— Пойми меня, Степан, изломалась я. Прошу, не трогай больше пса. Ненавидит он тебя.

— А ты?

— А я? Я солёного хочу... Дитя у нас будет.

— Вот радость-то! — расцвёл Безродный. — Чего же молчала?

— Ради дитя пса не трогай, не вынимай из меня душу.

— Не буду. Попытаюсь с другой стороны к нему подойти. Нравится мне этот пёс, непокорность его нравится. Силён, дьяволина! Люблю таких вот непокорных!

Безродный оставил пса в покое. Хлопотал всё время по хозяйству: лавку надо было строить, сарай, загоны, обоз готовить. Во всём ему помогал Васька-дворецкий, как назвал его Безродный.

Под боком Безродного строились и Козины. Груня тайно от мужа помогла им купить коня и корову, а Федыке — бердану. Сам Калина с девками строили стайку, конюшню, а Федыка ходил на охоту. Хотел было взять его с собой Гурин, которому пристав Баулин всё-таки разрешил купить бердану, но Калина запротивился:

— Знаю я вас, бунтовщиков, собьёте парня с панталыку.

— Сам не маленький, отличит ложь от правды.

— Отпусти, тятя! — упрашивал Федыка. — Гурин добрый человек. Одному ходить по тайге опасно.

— Нет, сынок, лучше ходи с Розовым, он тоже зовёт.

— Но ведь Розов подлец! Подлиза безродновская. Все знают...

— Пусть так, но он без крамолы.

— Хочешь, чтобы и я стал подлецом, научился у Розова?

— Не станешь. Душа у тебя добрая и мягкая, у подлецов таких не бывает.

— Тогда буду ходить один, — упрямо заявил Федыка, — что случится — сам себя кори.

И Федыка стал похаживать в тайгу. Как-то добыл косулю. Ломакин научил его ставить ловушки. Поймал с десяток колонков. Убил с полсотни белок. Дело пошло.

8

Встали реки. На тайгу упал снег, сгладил ершистость сопков. По Голубой Долине подули свирепые ветры. В тайге так: брызнет снежок, а уж ветер тут как тут, дует и мечется, не может вписаться в распадках.

Безродный собирал обоз из сельчан, готовился ехать в Спасск. Местных не хватило, остальных обозчиков решил брать за перевалом. Пробрить зимнюю дорогу в Спасск был резон, потому что там Без-

родный пока не имел своих людей, а надо было и там заводить знакомства, покупать и продавать.

И вот с утра обоз был готов двинуться в трудный путь по речкам и перевалам. Во дворе Безродный давал последние наставления:

— Ты, Груня, и ты, Васька, за псом следите, чтобы не сорвался. Кормите так, чтобы только не сдох. Потом я его сам буду кормить. Через корм, может, мир найдём. Когда буду? Может, через две, а может, через три недели. Ты, Василий, следи за стройкой, к приезду чтобы были готовы конюшни и загоны.

— Понятственно-с, Степан Егорыч, — угодливо кланялся Васька.

— Да не вздумай перед сном читать Груне Библию аль «Жития святых», узнаю — живьём в землю загоноу.

— Да что вы, Христос с вами, Егорыч, аль мы не понимаем что и как-с? Всё затвердил, как «Отче наш». На нашу барыню-с и тучка не должна упасть, тенью-с накрыть.

— Ну, смотри.

Обоз ушёл.

Федыка Козин со своего чердака слышал всё, что говорил Безродный, и прикидывал в уме своё. Шарик вымахал с матёрого волка, стал настоящим псом: широкая грудь, сухой зад, такие же сухие и длинные ноги. «Если такой пёс прыгнет на человека... — Федыка зябло повёл плечами. — И всё же стоит попытаться!» Вечером прижимая к груди две кетины и краюшку хлеба — утаил за ужином, — прокрался к забору, подошёл к тому столбу, где был прикован Шарик, тихо свистнул. Грохнула цепь, пёс зарычал.

— Шарик! Шарик! На, на! — позвал Федыка и бросил через забор хлеб.

Шарик съел хлеб и тихо заскулил. Заскрёб когтями под досками забора. Федыка бросил рыбину и потом, осторожно поддев топором, оторвал доску. В проём высунулась голова собаки. Пёс шумно потянул в себя воздух. Федыка поспешно сунул ему ещё одну кетину. Шарик взял её в зубы, положил у ног и лизнул руку новому другу. Это было так неожиданно, что Федыка ахнул:

— Вот это да! А он ничуть и не злой! — погладил по голове Шарика и стал ждать, когда он съест рыбину. Потом долго сидел на корточках, прижимал к себе голову собаки, гладил и говорил: — Эх, Шарик, и злой же у тебя хозяин. А Груняша добрая. Хорошая Груня. Люба мне, очень любя! Да разве ей об этом скажешь! Знаю, нелегко ей с убийцей-то: маета, а не жизнь. Ну, погоди, Безродный, за всё разочтёмся...

Груня стояла у забора и слушала Федыку. Прав Федыка, что трудно ей жить с Безродным. Но ведь и Федыка что-то страшное замышляет. Неужели и он станет убийцей?

— Вот откормлю тебя, Шарик, подрежу ошейник... Приедет Безродный, тогда ты не подведи. На грудь вражине — и за хрип его... — говорил и говорил Федька.

«Люди, как страшно жить! — кусая пунцовые губы, застонала Груня. — Что делать? У кого спросить совета?»

Пошла на цыпочках вдоль забора, стараясь не скрипеть снегом. Проходя мимо домика, где жила прислуга, увидела Ваську в Парасковьином окне — перебрался Степанов дворецкий к забытой вдове. Груня горько усмехнулась и заспешила в дом.

Всем наплевать, как живёт и о чём думает она, Груня. Стало противно до тошноты. Всю ночь металась, заснуть не могла. Уснула под утро с мыслью: «Пусть всё Бог рассудит».

В полдень вышла из дома. У колодца стояли бабы, о чём-то громко судачили. Увидели Груню, враз смолкли. Значит, о ней говорили. Поклонились, заискивая, одна из них сказала:

— Вот что значит жить за спиной хорошего мужа. Гладка и пригожа ты стала, Груня. А мы совсем отошали, кости да кожа остались, почти без хлеба живём, рыба и рыба.

Не успела Груня отойти, как услышала за спиной злой шёпот:

— Некому уханькать её мужа, бандита. Бог сразу бы простил тысячу грехов.

— Ой, не говори, бабонька, как она его примат на себя? Ить на нём чужая кровь. Страхи Господни, я с таким бы и ночи не проспала.

«Ну почему люди злы, — в отчаянии думала Груня. — Противно, ой, как всё противно! А может, подойти к Федьке и сказать ему: пожалей меня, идём со мной, вместе горе разделим?.. Нет!»

Нет... И всё же Груня нет-нет да и подходила к забору, слушала сладкие слова друга. Теплело на сердце, когда парень говорил Шарiku о ней.

Пёс поправлялся, шерсть на нём лоснилась. Васька с Парасковьей пили запоем, махнув рукой на всё, а дело шло своим чередом: мужики строили сараи, загоны. В пятницу третьей недели вернулся Безродный. Сбежалась вся деревня. Двадцать подвод везли разные товары, пастухи гнали табун коней, голов до полсотни, тридцать коров, сотни овец. Все ошатели от увиденного. Из работницкой выскочил хмельной Васька. Спустилась из горницы исхудавшая Груня.

— Принимай добро, хозяйка! — горделиво крикнул Безродный. Выскочил из кошёвки и обнял жену. — Как тут жили, как правили? Хорошо, говоришь? А ты чего, разлетай, пьяный? Погодите, погодите, а с чего это у вас пёс так раскормлен? Наказ мой забыли?

— Отчего же он раскормлен? Не понимаю-с. Уж точно-с, сказать не могу-с. Этого никто не знает, — едва ворочал непослушным языком Васька.

Безродный метнул ревнивый взгляд на Груню, потом на Ваську, шагнул к собаке. Хунхуз напрягся, подался назад, и не успел Безродный взмахнуть плетью, как он сильно прыгнул на него. Ошейник лопнул, грохнула цепь. Возчики, наслышанные о свирепом псе, кинулись в сарай. Пёс ударил грудью Безродного, сбил его с ног. Тот упал на утопанный снег, ударился затылком, и на миг всё заволочло тьмой. Пёс тоже не удержался на ногах, перевернулся несколько раз, вскочил. Не сразу понял, что свободен. Сел на хвост, закрутил головой. Ошейник не давил шею, не волочилась следом цепь. Растерялся пёс. Если бы хозяин закричал на него, бил плетью, тогда бы он знал, что делать, но враг его лежал, не подавал признаков жизни. А Безродный уже очнулся, через щёлочки глаз он пристально следил за псом. Знал, стоит ему пошевелиться, пёс бросится на него. Поэтому лежал и ждал, что будет дальше. В голове мутилось от страха.

Хунхуз кинулся было к распахнутым воротам, но потом вернулся к Безродному, обнюхал его и вдруг распустил хвост-полено, метнулся на улицу, на свободу. Поскакал намётом в сторону рыжих дубков. Летел по снегу, едва касаясь лапами земли.

Безродный вскочил, бросился к кошёвке, выхватил винтовку, выбежал за ограду, тщательно прицелился и трижды выстрелил в собаку. Но промазал.

Хунхуз скрылся за дубками. Безродный положил на снег винтовку, смачно выматерился, вернулся к цепи, осмотрел ошейник и заорал как безумный:

— Бога мать! Кто ошейник подрезал? Это ты, ублюдок! Спелись с ней. «Жития святых» читали! Сжить меня со света сговорились!

И, теряя всякую власть над собой, зверем набросился на Груню. Ударил кулаком в грудь, в лицо. Груня упала, он начал её топтать, пинать, стараясь угодить в живот и грудь. Схватил Груню за толстую косу и, намотав на руку, поволок по снегу. Бросил у крыльца. Кинулся на Ваську, который, закрыв лицо руками, читал молитву.

— Егорыч! — завизжал поросёнком Васька. — Не грешен. Не читал «Жития святых»! Грешил с Парасковьей! — Удар в челюсть оборвал его крик.

...Тяжело поднималась с земли Груня. Глаза её дико смотрели в спину Безродного. Шатаясь, пошла к винтовке. Нагнулась, подняла её, слизала кровь с разбитых губ, крикнула:

— Убийца!

Мягко клацнул затвор винтовки, патрон легко вошёл в патронник. Безродный обернулся и увидел, как хищный прищур ствола начал ползти к его груди. Безродный замер, заворожённо смотрел на ма-

ленький глазок ствола. Ему вспомнились убитые корнёвщики. Представил, как и в его тело вопьётся пуля, входное отверстие будет маленьким, а выходное настолько большим, что кулак войдет. Спёрло дыхание. Хотел крикнуть — голос пропал. В голове стучало: «А ведь выстрелит. Точно выстрелит! Но куда она целится? Зачем в грудь? Надо в голову, чтобы сразу. В грудь — будет больно, в голову — нет. Сразу упаду, и всё».

Глазок ствола тянул к себе. И Безродный медленно пошёл на него...

На чердаке своего дома затаился Федька. Ему было хорошо всё видно. Он держал в руках бердану. Трижды ловил на мушку Безродного, но мушка прыгала, руки дрожали — так не попасть. Во рту сухость, тела не чувствовал. Трусил Федька, трусил в человеке выстрелить.

А во дворе стояла напряжённая тишина. Возчики, выскочившие из сарая, застыли на местах.

Груня взяла на мушку суровую складку между бровей Степана. Безродный про себя отметил, что правильно сделала, — пуля пройдет через голову. И всё. Вдруг один из возчиков прыгнул на Безродного, навалился на него, прикрыл своим телом. Грохнул выстрел, вжикнула пуля над головами.

Спасителем оказался Хомин, нанятый Безродным мужик из Ивайловки, здоровенный, кряжистый, чем-то схожий с бурым медведем: и борода у него была бурая, и глаза бурые, маленькие и красные, короткие ноги и длинные руки. О силе Хомина ходили легенды. Он и в этом извозе показал свою силу: конь с возом не одолел подъём, так Хомин выпряг коня, сам запрягся и выволок воз на гору. Почесали тогда мужики затылки, крикнули и побрели следом. Кто-то сказал: «Хомин, на кой ляд тебе конь, ты сам можешь воз тянуть». — «Неможно. Конь есть конь, а человек есть человек...» Безродный хотел вырваться, но Хомин придавил его, будто бревно.

— Охолонь чутка, потом отпущу, — спокойно сказал Хомин. — Не мечись, не мечись, могу и нутро потряхну. Пошутковали, и будя.

Когда Безродный наконец поднялся, Федька снова поймал его на мушку, потянул на себя спуск, но выстрела не было — забыл в спешке взвести курок. Как во сне: на тебя насаждает зверь, ты целишься в него, хочешь выстрелить, а ружьё не стреляет. Бердана выпала из рук.

«Трус, трус...» — шептал он дрожащими губами.

Груня сидела на снегу и отрешённо смотрела на людей, на свои окровавленные руки.

— Откуда у меня кровь на руках? Я его убила?

— Гад, довёл бабу, рассудок потеряла! — зашумели мужики.

— Успокойся, жив он, — наклонился над ней возчик из Ивайловки, Шишканов. — Помешал вот

этот медведь. Да, зря не убила ты его. А кровь на руках с лица твоего.

— А ты кто?

— Я Шишканов, вот твоему ироду помогаю богатеть.

— Прочь, молчать! — заорал Безродный и двинулся на Шишканова.

— Ожил, скотина. Бей его, мужики, хватит, всю дорогу молчали!

Безродный схватил винтовку. Мужики подались назад.

— Стреляй, сволочь! — двинулся на Безродного Шишканов. — Всех не перестреляешь!

— Всех не буду, а вот тебя точно убью. Вижу, какой ты породы.

— Кончай, Шишканов, ведь сила на их стороне. Хлопнет — и весь сказ, спишут на бунт, и баста, — остановил Шишканова Хомин.

— Правильно, Хомин, надо кончать. А таких, как Шишканов, мы скоро свяжем верёвкой — и в море, — ухмыльнулся Безродный, не опуская винтовки.

— Посмотрим, кто кого. Посмотрим, господа-грабители! Придёт время, за всё спросим, — спокойно говорил Шишканов под наведённым стволом винтовки.

— Разгружай, мужики, чего в семейный спор вступать. Всяк живёт, как бог на душу положит, — сказал Хомин и пошёл к своим саням.

Вскрик Груни прервал споры. Она упала лицом в снег и корчилась от боли. Хомин подскочил к Груне, взял её на руки и побежал в дом. Увидел Парасковью, приказал:

— Тёплой воды! Быстро!

Хомин догадался, отчего кричала Груня. Его Ани-ся каждый год носила ему по ребёнку. Он обычно не звал бабок-повитух — надо было делать подарки — сам принимал все роды.

Парасковья принесла воды. Вскоре Хомин вышел к Безродному.

— Сволочь ты, а не хозяин, — сказал он. — Дитё загубил. Скинула баба. Не ходи к ней, пусть спит, замаялась. Избил ты её дюже.

— Спасибо тебе, Хомин, что спас меня. Сколько за услугу?

— Сам ставь себе цену, — усмехнулся Хомин. — Я тоже рисковал. Могла обоих хлопнуть, не успею я вовремя.

— Так сколько?

— За извоз десятка, за твою душу полста, за спасение бабы десятка, — вот, поди, и хватит.

— Вся мне и цена?

— А больше ты и не стоишь. Но коль дороже себя ценишь, то от большего не откажусь.

Безродный выхватил из кармана сотенную и бросил Хомину.

— Премного благодарен, господин купец! Зови, когда надо, — помогу.

— Ладно, иди. Параська накормит. Разгружайте и дуйте от меня...

После разгрузки мужики собрались в работницкой. Все наперебой подставляли свои чашки, Парасковья большим половником наливала борщ. Хвалили её варево, добродушно смеялись: «С Васькой милдовалась? Ха-ха-ха!» Он орет: «Я с Параськой...» Ну, чудеса в решете. Косматый мужик почесал затылок, восхищённо сказал:

— А баба у Безродного хороша!

— Это иуда Хомин помешал ей хрястнуть Безродного... — вставил своё слово Шишканов. — Я вот в помещика стрелял, десять лет каторги дали. Отбухал, а потом сюда загнали. Ненавижу богатеев! Но ничего, будет и у нас светлый праздник.

— Мил-друг, ты сходи-ка к нашему Гурину, он тоже из таких же чудаков, ваших кровей, — посоветовал Розов.

— Хомин скоро тоже станет хапугой, — пропустил мимо ушей совет Розова Шишканов, — неспроста спас Безродного, одного поля ягода. А ведь был бедняк. Как начал его поднимать Макар Булавин, добрая душа, не узнать стало Хомина, чисто росомача стал, всё в своё гнездо тащит. Богомольный, а сам под лавку заглядывает, нельзя ли что украсть.

Хомин вошёл незамеченным, подошёл к Шишканову, схватил его за шиворот пиджака и, как котёнка, выдернул с лавки из-за стола. Хотел пронести через работницкую и выбросить на улицу, но Шишканов выхватил нож и замахнулся.

— Отпусти, говорю, не то кишки выпущу.

Хомин бросил Шишканова.

— На первый раз отпущу. А вы, дураки, кого слушаете? Хлопнула бы баба мужика, суды и пересуды, а вы ещё деньги за извоз не получили. Думать надо!

— Но тебе-то он уже заплатил. О нас не горюй.

Федька на негнувшихся ногах сполз с лестницы, пошёл по следам собаки. Шёл и думал: «Убей я Безродного, сколько бы людей в живых осталось... Да не судьба ему, видно... А случись — как бы славно зажили мы с Груней!»

Федька прошёл вёрст пять, остановился. «Зачем иду? Привести Шарика назад, чтобы его убил Безродный?» Постоял на вершине сопки, махнул рукой и вяло побрёл домой...

Месяца через два, Груня уже выходить стала, она столкнулась с Федькой, остановила его, спросила:

— Как же ты, Федя, ошейник подрезал, а дело не довёл до конца...

Федька промолчал. Не дождавшись ответа, она обиженно дёрнула плечом и ушла.

Часть вторая

ОДИН СРЕДИ ТАЙГИ

1

Широким намётом уходил пёс, радуясь обрётённой свободе. Вихрился снег под сильными лапами, навстречу неслись ветер и тайга.

Отмахав вёрст двадцать, пёс долго трусил рысью. Что-то непонятное творилось с ним: тянула его к себе тайга, а собачий инстинкт звал домой: в тайге столько незнакомых запахов и звуков, они пугали и настораживали.

Над тайгой гулял ветер. Гудел в морозных сучьях, стонал в дуплах, выл и попискивал. Кругом лежал плотный снег, его даже ветер не мог сдуть. Снег сидел на пнях, как высокие шапки, забился в кедровую хвою, змеился по сучьям.

На вершине сопки от порыва ветра грохнулся кедр-сухостой — отстоял своё. Дерево подмяло под себя молодую поросль, подняло столбы снега. Пёс метнулся от страшного грохота, влетел в распадок, затем выскочил на сопку, постоял, снова сел на хвост-полено, поднял морду в небо, где метались косматые тучи, и завыл. Тугой, протяжный звук рванулся по ветру, прошёл над сопкой и упал в глубокий распадок, зарылся в снег. Пёс послушал, послушал, покрутил головой и ещё раз провыл. Ему ответил чужой и зловещий вой. В нём звучало голодное и смертельное предупреждение. Собачий инстинкт подсказывал, что надо бежать. Он и побежал.

Следом накатывалась серая лавина волков. Январь — время волчьих набегов, волчьих свадеб. Волки всей стаей мчались за собакой. Хвосты наотлёт, мощные лапы рвут снег. Шли полукольцом, надеясь, что пёс начнёт кружить, как это обычно делают изюбры и косули, но он шёл по прямой, след его был как струна, лишь отворачивал от деревьев. Сейчас он был сыт, силен и надеялся уйти от волков. Но эти звери опытные бегуны, измором берут. Ведь как ни скор на ногу изюбр, но они и его догоняют благодаря своей выносливости и хитрости. И, наверное, не уйти бы собаке, если бы под сопкой не грохнул выстрел. Сбоку, гремя валежником, серой тенью проскочил раненый изюбр. В ноздри ударил запах крови. И враз умолкло завывание. Волки выскочили на след раненого охотником зверя. Секунда, другая — и вой с новой силой раздался позади, теперь в нём слышалось звериное торжество. Потом вой начал удаляться и наконец затих за сопкой, развеялся по ветру — волки ушли за изюбром-подранком. Через какое-то время вдали прозвучали хлёсткие выстрелы. Это охотник настиг волков и расстреливал их.

Пёс остановился. Снова сумятица в душе, неуверенность. Упал на снег, начал хватать его запаленной

пастью, часто хакать. Отдохнул. Чуткие ноздри уловили знакомый запах — по орешнику петлял заяц. Уж зайцев-то он знает, десятки съел. Он помнил, как легко ловить косых. Прыжок, давок — и готов зайчишка. Пёс обнюхал обглоданную осинку, оставил на ней метку — помочился, начал распутывать следы. Никто его этому не учил.

Он повёл носом. Запах острее — значит, зверёк близко. А где? Вот здесь косой сделал петлю, затем прыгнул в сторону и затаился на день под елью. Видит пса, но смирно сидит и ухом не ведёт, весь белый, лишь кончики ушей чёрные. Раскосо уставил глаза на пса, в них страх и насторожённость.

Пёс чутким носом уловил, откуда шёл сильный запах, сжался в пружину и прыгнул на зайца. Но косой ждал этого, он взвился вверх под самым носом собаки, перепрыгнул через её спину и снежным комом покатился в гущу орешника. И тут же исчез из глаз. А пёс опешил. Ему ещё не приходилось видеть, чтобы так прыгали зайцы. Пёс взлаял, бросился следом, но тут же упёрся в стену шаломанника. Чаша была настолько густа, что крупной собаке не пробиться. Он заметался у орешника. Косой сидел за валежиной и прядал ушами. Пёс хорошо видел его. А как взять? Он злобно метнулся на чашу, начал рвать зубами кусты, но они, мёрзлые, крепкие, не поддавались. Пёс зашёлся в неистовом лае. Но заяц, заяц-старик, мало обращал внимания на этот шум. Пусть, мол, себе лает, а я посижу под защитой кустов. Видимо, такое ему было не впервой. Ярился, ярился пёс, но устал, потерял интерес к зайцу, затрусил дальше. Теперь он бежал уже не так, как вначале, без цели. Теперь он трусил и высматривал, кого бы поймать на ужин.

На снегу глубокие круглые вмятины. Аккуратные, след в след. Таких следов пёс ещё не встречал. Но инстинкт предков-собак и предков-волков подсказывал ему, что этот след — самый страшный в тайге. Горе тому, кто посмеет войти во владения хозяина этого следа. Здесь у него стадо кабанов, которое он пасёт с давних пор. Не даёт волкам нападать на стадо, сечь молодняк и чушек. Это всё — его. Сбоку проходила наторённая кабанья тропа.

Стоголовый табун направлялся на новые кормовые места. Шёл за кабанями и тигр. Вот у валежины страшный зверь оставил пахучую мочу, чтобы другие знали, что здесь прошёл он. Волки и собаки всегда спешат свернуть с этого следа. На кабана или изюбра тигр обычно делает всего один прыжок, а если промахнётся, не бросится следом, тут же отойдёт в сторону, даже не посмотрит вслед счастливцу, безразлично этак зевнёт, не поймал, ну и ладно! А вот когда выйдет на след собаки или волка, будет бежать и пять, и десять вёрст, пока не нагонит, пока не устанет. Только самые сильные могут уйти от него.

Пёс зарычал от страха, метнулся от следа и тут угодил лапой в лунку — это в снег на ночь залез рябчик, — наступил птице на хвост, рябчик с шумом выпорхнул, обдал собаку снегом, сбоку вылетел другой, третий, и началось: фыр-р-р-р-р! фыр-р-р-р-р!

Поджав хвост, пёс сломя голову сиганул от страшного запаха, от фыркающих «зверей». Ведь он никогда в жизни не видел ни тигра, ни рябчиков. Кто знает, может быть, эта фыркающая тварь и есть тот, кто так страшно пахнул. На бегу не заметил деревце, ударился в него и, забыв о боли, рванулся вниз по распадку. Таким-то вот образом он и свалился с Сихотэ-Алинского перевала в бассейн Уссури. Отсюда берёт своё начало Фудзин, тысячи ключей и ручешек, питающих бурную, с хрустальной водой реку. Выскочил на прилавок высокой сопки и застыл.

Полосатый владыка дрался с бурым медведем-шатунном. И не понять, что остановило собаку — страх или любопытство.

Тигр рвал медведя. Медведь рвал тигра. Исполнены-бойцы подымались на задние лапы, всю мощь и силу обрушивали друг на друга, рвали кожу когтями, раздирали клыками, ревели. Вот медведь ударом мощной лапы сбил тигра с ног, тот волчком скатился с прилавка, но, несмотря на свой огромный рост и вес, он гибкой кошкой вскочил, рванулся на медведя, цапнул его лапой за бок. Раздался истошный рёв, медведь завалился, тигр прыгнул ему на спину, вонзил клыки в загривок, но зверь, оставляя лоскуты кожи в зубах тигра, вырвался. Снова встали друг против друга, ощерили клыки с белой синевой, враз зарычали. Владыка медленно приседал для последнего прыжка. Медведь медленно отступал, ставя лапы вкривь, под себя, чуть сбочась, отходил, сдавался. Царь требовал покорности, и медведь покорился сильному. Выбрал момент, резко прыгнул в сторону, сбил грудью гнилую ель, бурым комом сиганул вниз. Грохот катился следом. Владыка рыкнул, поёжился от боли, лёг, чтобы зализать раны. Лёг победителем, лёг, как и прежде, царём.

Пёс поспешил оставить это место. Теперь он знал этих зверей, знал, кто царь, а кто подданный, знал тот запах. А те, что фыркали и взлетали, против этого — мошка.

Бежал Шарик сильно, бежал долго. Влетел под раскидистый балаган виноградника, чтобы там перевести дух. Из дупла старой липы ему на спину свалился кто-то неизвестный. Уж так ли неизвестный? От него пахло тем же запахом, которым пах владыка, разве что чуть послабее. Он, дикий уссурийский кот, вонзил когти в спину собаки, впустил свой грязно-серый хвостик и противно замыкал, зашипел, тремя лапами придерживался за кожу, четвёртой рвал псу уши, лоб, норовил вырвать глаза. В дупле у ди-кой кошки пищали котят.

Пёс от страха и боли пустил струю мочи, перевернулся через голову, прокатился на спине, чтобы сбросить врага, но кошка, как клещ, не отпускала его. Сломая голову пёс бросился в куст таволги. Инстинкт самосохранения подсказал ему, что только так можно сбросить с себя врага. Так делали его предки. Морозные прутья отбросили кота в сторону, он отряхнулся, встал боком к убегающему псу, снова грозно зашипел. Как только пёс скрылся за сопкой, кот метнулся в дупло — малыши звали к себе, а пришелец больше не придёт к их дому...

А пёс всё бежал, бежал. Вот сбоку сильно треснуло. Пёс метнулся в сторону, долго нюхал зыбкую тишину. Но ничем угрожающим не пахло. Кто-то подозрительно прошуршал снегом.

Ночь, одиночество и страх давили. От страха в нём снова пробуждалась собака, которая хотела бы услышать голос доброго хозяина, знать, что в трудный момент он защитит её. Но где он, тот хозяин? Попасть бы в деревню, лечь в конуру и спокойно закрыть глаза. Уснуть без тревог и волнений.

Пёс всё чаще и чаще стал поворачивать голову назад. Одно у него желание: попасть в деревню, лизнуть тёплые руки Федыки. Многие собаки возвращаются домой только своим следом. Есть старые собаки, которые, зная тайгу, идут к дому прямой дорогой. Ведь если за день набродишь десятки вёрст, то стоит ли идти обратно след в след? Шарик ещё неопытен, он новичок в этой тайге, может идти назад только по своему следу. Но там, позади, скопилось столько опасностей. Его след стерегут кот, тигр, волки.

Пёс заметался: бросился в сопку, сбежал в распадок, кинулся вверх по ключу, вывершил высокую сопку. Сел на её хребте. «Ив-ив-ив-воууууу!» — стал он звать далёкого друга. «У-у-у-у-у-у!» — прогудела тайга, отозвалось разбуженное эхо.

Пёс взёрошил шерсть на загривке, попятился от эха. Лапы стали тяжёлыми, спина прогнулась от усталости. Слабо тявкнул и смолк. Над головой бисер холодных звёзд. Луна забралась в крону косматого кедра, греется в его хвое. И, пересилив страх, пёс протяжно завыл. Но не мольба, не стон были в его вое, а злоба и отчаяние. Злоба на весь мир, на всё, что его окружало. Пусть любой идёт на эту холодную вершину сопки, он найдёт ещё силы, чтобы драться.

Из-под горы отозвался одинокий волк. В такое время и одинокий? Значит, он глубокий, глубокий старик, поэтому и не пошёл вслед за брачной сукой. Сильные и молодые отогнали его, и он отступил. И пёс услышал в его вое страх, мольбу: волк тоже у кого-то просил защиты. Роли менялись. В сильном псе просыпался кровожадный волк. Волк, которому ничего не стоит съесть своего собрата.

Пёс ответил угрожающим воем, он ждал ответа. Ждал две, три, пять минут. Ещё раз провыл, в от-

вет — молчание. Волк струсил, по голосу узнал о его силе и поспешил уйти от опасного места. Такова судьба старых зверей в тайге. Они рады довольствоваться малым, только бы их никто не трогал. Только бы прожить ещё одну зиму, час, минуту. Только бы потосковать ещё под луной, повыть, но и выть-то во весь голос нельзя — убьют. Убегай, старик, на слабых ногах, уходи, вот и пёс наметил тебя себе на ужин. Может, ты окажешься всё ещё сильным, но у тебя совсем слабое сердце, на длительный бой тебя не хватит, а вот у пса, хоть он и устал, хватит.

Пёс не дождался ответа. Сбежал с сопки и затрусил по распадку, смелый и сильный. Не пугали его больше шорохи и треск, он сам шёл на них. Впереди промелькнули три зверька. Гибкие, вёрткие, они враз зашипели на собаку, зафыркали. Ночь донесла до пса их запахи.

Пёс рванул с места, выбросив далеко комья снега. Вихрем, смерчем налетел на растерянных харз — куниц. Только что они, злодейки, задавили кабаргу и теперь пировали. А имеет ли право слабый пировать на глазах у сильного? Нет. Пёс теперь знал, что нет. Враз разметал хищниц, на ходу успел поймать за середину тонкого тела замешкавшуюся харзу, рванул в сторону, ударил ею себя по бокам; предсмертный зевок — и она задохнулась в его пасти. Пёс швырнул вонючую харзу на снег, где она ещё дважды дрыгнула ногами, потом бросился к остаткам кабарожки. Вогнал клыки в парное мясо и жадно, с рычанием, чавканьем и хрустом костей на зубах начал есть. Наконец-то и он насытился. Две другие харзы по вершинам деревьев поспешили убраться от опасного врага.

Кабаргу съел в один присест, тем более что от неё осталось меньше половины. Ведь кабарожка — олень маленький и пуда не тянет. А после подобной гоньбы пёс съел бы пуд мяса. Взятая за вонючую, сероватую, с рыжими подпалинами харзу, а в ней и двух фунтов не наберётся.

Десяток раз жамкнул и проглотил вместе с костями, не жуя. Волчья привычка: меньше всего жевать, а быстрее добычу спрятать в желудок, не то вырвут из зубов собраты. Да и харзы, когда поедают добытое сообща, также спешат насытиться побыстрее. Шипят, дерутся между собой, рвут друг у друга куски мяса; в такой колготне, драке могут съесть в два раза больше своего веса. А потом расползутся по дуплам и будут дремать двое суток подряд.

После обильной еды пёс разрыл под липой снег, свернулся калачиком и сладко задремал. Но спал чутко, насторожённо, по-звериному. Видел собачьи сны в коротком забытии: то он убегал от кого-то, поэтому его лапы дергались, то злобно рычал, наверное, видел ненавистного хозяина, то тихо поскуливал, словно ласкался к кому-то.

Проснулся оттого, что кто-то настойчиво стучал по дереву. Пёс рыкнул, вскинул жёлтые глаза с тёмными обводами на вершину дерева, увидел дятла, вскочил. Дятел испуганно присел на хвост, оттолкнулся лапками и взлетел, предупредил кого-то об опасности: трык! трык! трык!

Пушистая белочка спрыгнула с кедра, поднялась на задние лапки, быстро поводила головой по сторонам, но, не заметив ничего опасного, поскакала по снегу в поисках шишки. Ведь с кедров ветер-северяк сдул всё, а шишки могли быть только под снегом. Нашла. Заработала лапками, разметала снег по сторонам, выхватила целёхонькую парную — из снега — шишку, как баба из печи булку хлеба, проворно пробежала зубками по шелухе, очистила от шелухи шишку, надкусила сверху орех, не вытаскивая его из шишки, осторожно вытянула зерно. Вкуснота! Хорошо! Зубки точат орехи, лапки придерживают шишку, всё споро и ловко. Вот она простучала зубом по другому ореху — звук, как у пустой бочки, не стоит зря тратить времени, надо брать орех с зерном.

Пёс внимательно следил из-за дерева за пушистым комочком. Прицеливался, как бы его взять ловчее. Припал на лапы, уши к вискам прижал, затаился: а вдруг белочка доест шишку и побежит в его сторону... Но белочка знай шуршит зубками по орехам, спокойно занимается своим делом. Пёс не выдержал, пополз к ней на животе. Прогудел от ветра кедр, тревожно загомонили деревья. Белочка подняла голову, будто ей что-то сказала тайга. Встретилась глазами со страшным зверем, чёрным и огромным. Гур-гур-гур-гур! — испуганно закричала и метнулась на кедр. Шишку псу оставила.

Пёс подбежал к шишке, нюхнул — пахло смолой и белкой, а что толку!

Цок-цок-цок! — начала белка бранить с дерева пса. Пёс твякнул — смешал в себе волка с собакой. Ведь настоящий волк не стал бы голос подавать неведомо кому. Но что делать, проснулся в собаке волчий зов, а привычка собачья не забыта — облаивать каждого, кого не можешь достать зубами. Должен бы прийти охотник и добыть найденное. Но где он? И пёс лишь облаял белку и побежал прочь.

Ветерок принёс запах фыркающих птиц. Пёс теперь уже понял, что они не опаснее белки, начал подкрадываться, но на всякий случай поднял шерсть на шее, хвост приспустил. Подкрался к лунке в снегу. Понюхал вход — и бац на него обе лапы. А рябчик выпорхнул сбоку и с фырканием улетел. Пёс прыгнул на другую, но снова промах. И тут началось беспрерывное фыркание. Пёс метался от одной птицы к другой. Приходилось следить за тем, чтобы не наскочить на дерево. Но такое надо уметь, этому надо научиться: пёс налетел на куст орешника, чуть не

выколол глаза. Гавкнул пару раз и бросил никчёмных птиц.

А утро разгоралось. Из-за сопки вылезло красное солнце. Горело небо. Стучали дятлы, цвиркали поползни, пищали синицы, тренькали снегири.

Пёс попытался поймать кого-нибудь из маленьких птиц, но скоро понял, что тех, кто летает, добыть трудно, а вот тех, кто бегают, легче, но и здесь нужны сноровка и осторожность.

Так прошёл день. Ночь догнала собаку под седой вершиной перевала, здесь голодный пёс забился под скалу и уснул тревожным сном. Ему бы не спать надо, а охотиться. Ночью выходят пастись косули, кабарожки, изюбры. Но где было знать об этом псу? Он пока ещё не постиг многого.

Забрезжил рассвет. Пёс поднялся и затрусил по тайге, сам не ведая куда. Переваливал за сопки, карабкался на их крутые бока, пока не вышел в пойму речки Янмутьхоузы. Здесь было очень много колончатых следов, густо натропили белки. Отроги сопки рыжели дубками, орешником, зеленели массивы кедров. На берегу речки стоял дуплястый тополь. В стволе его темнел лаз, из лаза курился парок. Пёс обнюхал лаз. Запах знакомый, едкий, густой — запах медведя. А что, если?..

Пёс обежал тополь, поставил лапы на дерево и громко взлаял. Так делали все его предки-собаки, когда они звали к себе охотника-друга. Но так бы не сделал волк. У волка нет друзей. Он редко лает, разве что волчица, когда хочет предупредить свой выводок об опасности. Если бы волки лаяли на каждого зверя, да ещё в одиночку, охотники давно бы перебили их. Одиноким волк всё делает молча, скрытно. Лишь когда они идут стаей, им никто не страшен, кроме тигра. Ведь волки во время гона как бешеные.

В дупле было тихо. Пёс залаял сильнее. В дупле зашуршали гнилушки. Пёс поднял яростный лай, лаял зло, с приступом. Раздался рык зверя. Утроенный пустотой дупла, он был громче грома. Из пролаза вывалился белорудый гималайский медведь, злюка и забияка. Утробно рыкнул, чёртом ринулся на собаку. Успел шлёпнуть пса лапой, отчего тот свалился с обрыва, шлёпнулся на припорошенный снегом лёд и юзом проехал по нему. Это было похоже на удар палки или бича прежнего хозяина. Взъярился пёс. Забыв о боли, рванулся на медведя, медведь прыгнул ему навстречу, но пёс увернулся. Благо, на льду не было кустов, лежал плотный снег, а то поймал бы зверь собаку, разорвал своими мощными лапами. Пробегая мимо медведя, пёс успел с ходу рвануть его за «штаны», так что клочья шерсти полетели, брызнула на снег кровь. Ахнул медведь, присел на зад, выбросил вперёд лапы, но пёс снова ловко обошёл их. Описав круг, ринулся на зверя. Медведь тоже хотел схитрить и прыгнул туда, где, по его рас-

чѐтам, могла оказаться собака, но пѣс отскочил в сторону, потом рванул медведя за бок сильными челюстями... Медведь ревел от ярости. Пѣс припадал на лапы, неистово лаял, лаял. Медведь бросился с рыком на пса, но тот снова увернулся и успел «починить» ему бок. И тут началось: медведь гонялся за псом, скользил лапищами по льду, падал, ревел, а пѣс, словно челнок, проскакивал мимо него, хватал зубами за что попало, но в лапы не давался.

Понимал ли пѣс, что ему не задавить эту зверину? Ясно, понимал, но собачья привычка держать зверя сказалась здесь. Понимал и то, что если попадѣт в лапы косолапому, то тот разорвѣт его. Но, понимая, наступал всё яростнее.

Наконец медведь запалился. Прижался задом к обрыву и заревел, начал хватать камни, куски глины и бросать в надоевшую собаку. Сделал рывок, отогнал её и тут же бросился к тополю, чтобы наверху передохнуть. Но пѣс поймал его за «штаны», не отпускал зверя. Медведь выволок его на берег. Не останавливаясь, метнулся к тополю и полез на дерево. Пѣс не разжал зубов, волочил следом за медведем. И лишь когда зверь оторвал его лапы от земли, пѣс отпустил его и больно жмякнулся о корни тополя. Ещё сильнее озверел. Начал рвать зубами мѣрзлые корни, рыть стылую землю лапами, рычать и лаять.

Медведь же, ловко примостившись в развилке тополя, уркал на пса, порывивал, чавкал; не слезал, застыл чѣрным пятном на дереве. Понял, что нет противнее зверя в тайге, чем собака. Ему не раз приходилось драться со своими братьями, даже с тиграми, но там сила брала силу. Никто так подло не хватал сзади.

Пѣс устал, а медведь уже и не уркал: пусть себе гавкает. И пѣс замолчал. Пошѣл от тополя. Но стоило медведю пошевелиться, снова бросался к дереву. Наконец оставил никчѣмную затею и затрусил, чуть кособочась, на взлобок сопочки. Хрупал снег под его лапами. По пути попадались мыши, он ловил их, но это ещё больше возбуждало голод и гнало, гнало вперѣд. Хотелось поймать кого-то покрупнее, но пока не получалось. Прошѣл ещё мимо одной берлоги медведя. Немного дальше догнал зайца, тот был поглупее. Съел. Теперь можно было и отдохнуть.

Пѣс становился волком.

Пахнуло колонком. Пѣс бросился по следу, низко опустив нос. И вот рыжий бесѣнок метнулся от него. Пѣс в несколько прыжков догнал колонка, но тот успел юркнуть под корень дуба. Пѣс начал яростно рыть землю лапами, рвать корни зубами, пытаться просунуть нос в нору. Просунул, поймал колонка за хвост, но хвост вырвался из зубов. Тогда пѣс добрался до задней лапки колонка и выдернул его из временного убежища. Колонок пронзительно завере-

шал, извернулся и хватил острыми зубками за щѣку пса. Тот взвыл, сильно потряхнул головой и отбросил прочь зверька, но тут же схватил его за спину и придушил. Наступил лапами на тушку, разорвал её надвое и, не торопясь, съел. Слизал бусинки крови со снега, ещё раз обнюхал разрытое убежище и побежал дальше.

2

На подворье Безродного людно, шум и суета, часто-часто стучат топоры, вжикают пилы — Безродный строится. Он скупал сено, пушнину, панты, коней продавал. В его лавке можно было взять всё, что твоя душа пожелает. Хочешь в долг — изволь. Расторопный приказчик — а их у Безродного двое — даст всё. Но, пожалуйста, поставь крестик в долговой книге. Умеешь читать и считать, пиши фамилию полностью, так и вовсе без обмана. И ещё одно доброе дело сделал: за тех, кто был должен купцам в Ольге, рассчитался, перевѣл их в должники. Так надёжнее, да и товар должникам брать ближе. И хозяин он покладистый, должников не очень-то прижимает. В этих местах самый дорогой товар — гвозди, стекло, краска, соль. С мануфактурой проще, но всё же и её выгодней взять у Безродного, чем тащиться в бухту Ольгу. К Безродному тянутся со всех ближних деревень. Безродный — царь и бог. Казалось бы, жить и жить. В тридцать лет такое имеет! А тут?..

— Ты скажешь наконец, какая это сволочь подрезала ошейник? — в какой уж раз пытал он Груню.

— Откуда мне знать? Мало ли людей зло имеют на тебя.

— Снюхалась с кем — узнаю, обоих порешу!

— Я-то нет. Но вот ты, люди поговаривают, со многими уже снюхался, а я молчу.

— За это и хотела меня хлопнуть?

— Не за это, сам знаешь за что — за то, что зверь ты, за побои. Ещё раз тронешь — убью. Медлить не буду. Благодарю Хомина, быть бы тебе на погосте.

— И всё же хотел бы я знать, какая это тварь против меня зуб точит? Может быть, Гурин?

— Отстань. Не пытай, не знаю я, кто. Спроси у ветра в ночи. Спала я и ничего не ведала.

— Не ведала? Так ли?

— Знаешь, а не разбежаться ли нам, друг любезный? Ты мне не веришь, я тебе не верю; раз нет веры — зачем такая жизнь?

— Нет, нет, Груня! Жить будем, сама говорила. Жить будем. Груб был, винюсь, но всё это от ревности. Прости меня. Сам не знаю, как получилось, вне себя был. Пойми, без тебя мне всё это без проку. Одному мне ничего не надо. Хочу с тобой побывать в городах больших, людей посмотреть и тобой покрусоваться. Ради тебя всё это.

— Понимаю, хорошо тебя понимаю, но и ты меня пойми: сумно мне слышать, когда люди говорят про тебя такое.

— Пусть себе чешут языками.

— И другое подумай: не правду ли тебе нагадал Цыган? Ты пса в упор стрелял — промазал. Второй раз стрелял — и снова промазал. Что — стрелять разучился? Неспроста это!

— Вот и я так думаю. Никогда не боялся никого, а собаки этой вот боюсь! Убей бог, боюсь. Наговоры — ерунда. Страшит меня предсказание Цыгана. От судьбы, говорят, не уйдёшь!..

И всё же он решил проверить, что случилось с собакой. Шёл по её следу до самого того места, где волки взяли след Хунхуза, и громко, с облегчением, захохотал: «Брехло ты, Цыган, вот она, моя судьба, слопали волки!» Спокойно повернул домой. С Груней он теперь постарается жить в мире да любви. Глядишь, всё и обойдётся. Ведь все раздоры и начались-то из-за этой паршивой собаки. И всё-таки его не оставляло беспокойство: два раза стрелял и не попал, неужели стрелять разучился?

Над сопкой, над тайгой широкими кругами ходил орлан. Безродный вскинул винтовку, тщательно прицелился и выстрелил. Орлан сложил крылья и камнем полетел к земле. Рухнул на каменный бок сопки и, скатившись вниз, распластал метровые крылья на снегу. Безродный подошёл, тронул птицу носком унта, невесело усмехнулся.

3

Вот уже седьмой день метался пёс по тайге. За три последних дня он не поймал и мыши. Хотя и потомок волков, он не умел ещё толком охотиться. Вот, к примеру, вчера увидел на косогоре медвежонка-пестуна, которого выгнала из берлоги медведица непонятно за что. Надо было осторожно подобраться, легко бы задавил, но пёс полетел на него сломя голову, с лаем. Тот сразу на дерево — попробуй возьми.

Понутив голову, поплёлся дальше. Но вот здесь, кажется, можно было пожить: по склону сопки среди редких дубов пасся большой табун кабанов. Они рыли крепкими носами снег, землю, поднимали листву, искали жёлуди. Весь склон был в порывах. На этот раз пёс не бросился очертя голову, как это было с пестуном, обошёл табун, лёг за ветром у валежины и стал ждать.

Кабаны тёмной тучей шли по склону. Повизгивали поросята, среди них даже попадались рыжие — поздний помёт. Над стадом возвышался огромный секач — вожак. Самый чуткий и самый сильный зверь. Два крупных подсвинка затеяли игру. Они брыкались сухими ногами, пытались поддеть друг друга под бок носом, сбить с ног. Катились к псу. Его би-

ла мелкая дрожь, но он сдерживал себя, не хотел и на этот раз остаться без добычи. И вот подсвинки рядом. До двух пудов каждый. Пёс прыгнул, сбил грудью ближайшего подсвинка, тот не сразу понял, кто его сбил, хотел вскочить, но острые клыки впились в его горло, поросёнок попытался вырваться, не смог, раздался истошный визг. Вожак громко чухнул. Кабаны, как обычно при опасности, бросились кто куда, словно горох, рассыпались. Лишь секач-вожак не побежал. Он носом-тараном нацелился на пса. Но тот вовремя заметил опасность, резко отскочил в сторону. Замешкайся он на секунду, и эта громада мяса и костей в двадцать пять пудов растоптала бы его, разрубила бы клыками-саблями. Кабан пулей пролетел мимо, развернулся для второго удара, но пёс не желал больше быть в роли обороняющегося, стал сам нападать. Зашёл сзади, хватил его за ляжки, кабан взревел, крутнулся, но пёс уже был недосягаем. Снова наскок друг на друга. Снова кабан получил рваную рану на задних ногах. Он не был так верток, как собака, не мог на полном скаку свернуть на врага. Умей он делать такое, ему и тигр был бы не страшен. Ведь его клыки могут вырвать рёбра, оторвать челюсть, распороть собаку от хвоста до головы. Ни один рубака-кавалерист не смог бы сравниться с ударом его клыков. Пёс крутился, пёс увёртывался и наносил одну за другой чувствительные раны секачу. И секач сдался, прижался задом к дубу и, чухая, роняя с губ пену, короткими рывками отгонял от себя остервеневшего пса.

А подсвинок давно уж испустил дух. Там уже деловито каркали вороны, клевали глаза, тянули за язык, который вывалился из пасти. Вездесущая птица, знает где быть поживе. По её крику хороший охотник может определить, где кабанья лёжка. Пёс скосил глаза на ворон, в то же время сторожил и секача, чтобы он снова не напал. Не выдержал, оставил кабана и бросился на ворон. Кабан сорвался и поскакал в гору вслед за ушедшим табуном. Вороны взлетели. Расселись на дубах, терпеливо ожидали, знали, что после пира и им перепадёт. Но не тут-то было. Пёс наелся и лёг у трофея. Вороны закричали и начали кружить над собакой, те, которые посмелее, чуть ли не садились ей на голову, так и слышно было: «Ты что же, друг, сам наелся, а нам хоть пропади? Нечестно, у нас в тайге так не делают! Каа-каа-каа!» Ведь большеклювые дальневосточные вороны картавые, они не умеют выговаривать букву «р», как европейские. Но пёс и не смотрел на них. Он даже глаза закрыл, хотя малюсенькие щёлочки всё ж оставил. Расслабил тело.

— Каа! Каа! Каа! — кричали вороны. Одна из них подкралась к мясу, схватила кусок и потянула на себя. Пёс вскочил, и не успела ворона взмахнуть крылом, как он поймал её в пасть. Беспорядочное хло-

панье крыльев — и нет вороны. Пёс отнёс её чуть в сторону, деловито вырыл лунку в снегу и носом зарыл воровку — на худой конец, когда не будет корма, и она сгодится. Снова лёг.

Сбоку треснула веточка. Воронье такой крик подняло, хоть уши затыкай, кто-то и зачем-то шёл к псу. Он повернул голову, прислушался. Никого. Но на него дохнул ветерок, он-то и принёс чужой запах. Неведомый зверь подкрадывался к нему. Неужели не знает, что пёс не отдаст добычу? По запаху — сильный зверь, но и пёс уже не считал себя слабым. Шерсть дыбом, в глазах зелёный огонь. Зарычал, сказал чужаку, что готов принять бой. Кто же это? По запаху и не волк, и не тигр. От тигра бы пёс убежал. От этого не побежит. Надо проучить наглеца.

Ещё громче закричали вороны: быть большому пиру.

И вот он. Огромный, пятнистый, чуть с рыжиной, выскочил из-за дуба и с противным шипением бросился на пса. Пёс уже слышал подобное: так кричала дикая кошка, хотел чуть отскочить в сторону, но рысь опередила его. Пёс принял прыжок на грудь, отбросил рысь в сторону, но та успела нанести сильный удар лапой по морде, порвала кожу. Пёс мог терпеть холод и голод, но боль и обиду — никогда. Прыгнул на рысь. В тесном клубке свилось чёрное со светлым, покатилося, заревело, зарычало... Клубы снега, треск дубков, вой и грызня. Но вскоре распался клубок, размотался. Рысь прыгнула в сторону, поняла силу собаки. Села на зад, занесла лапу для удара. Но этим не остановишь пса — его плоть не могла остановить. Бросился на рысь, но та увернулась. Теперь пёс был менее поворотлив. Рысь была вёрткой, стремительно уходила в сторону, обманывала пса, прыгала вверх и каждый раз хоть немного, да ранила собаку. И всё же пёс обманул хищницу: резко прыгнул, и рысь попала ему в зубы. Рыкающий клубок заскользил с сопки. Рысь вырвалась и кошкой взлетела на дуб. Её рыжая шерсть сделалась красной. Пёс лаял, ярился, грыз дуб, рыл землю. У него тоже кровоточили раны. Рысь шипела, сверкала жёлтыми клыками, давилась рычанием.

Дракой воспользовались вороны. Они снова клевали мясо. Пёс вовремя увидел воровок, бросил рысь, он ведь теперь хорошо знал, что того, кто на дереве, ему не взять. Бросился на ворон.

Рысь только и ждала этого, спрыгнула с дерева и, прихрамывая, поскакала под сопку.

Пёс не стал преследовать рысь. Зачем зря тратить силы! Мяса подсвинка хватит на два дня. Главное, сохранить его. Но и это было не просто сделать. На карканье ворон пришёл медведь-шатун. Тот, что дрался с тигром, на нём ещё остались следы его когтей, на шерсти заледенилась собственная кровь. Ринулся на собаку. Пёс играючи ушёл в сторону, мед-

ведь с рёвом бросился на добычу, решил, что отогнал его. Но не тут-то было — пёс зашёл сзади и с такой силой впился в бок шатуна, что тот присел, заметался, чтобы достать нападающего лапами. Но пёс вертелся и не отпускал пришельца, с ещё большей силой сжимал челюсти. «Ар-р-ра, а-а-а-а-р-р-р!» — Заревев, медведь сиганул под гору. Пёс, словно тряпка, замотался следом, ударился плечом о куст, разжал зубы. Успел. Не то медведь влетел бы в ельник и зашиб пса о деревья. Ещё одна победа.

Улетели за кабанями вороны. Пёс мог и подремать, больше никто не докучал ему. Пришла ночь, принесла с собой новые тревоги. То за тьмой шуршал снегом колонок, то приходил соболю, дважды навевывалась харза, пролетал над головой филин, громко ухал. Пёс с рычанием бросался во тьму, разгонял мелких хищников. Невдомёк было зверюшкам, почему этот сильный зверь лежит у своей добычи. Ведь так не делают ни барсы, ни тигры: те, если добудут зверя, наедятся и уходят отдыхать в укромное место. Волки, правда, съедают всё. Один волк сожрёт подсвинку, будет рыгать, но есть.

И пёс стал есть. Ел через силу, по-волчьи ел. Он знал, так будет вернее. Так никто не отберёт. А утром отошёл дремать под дуб. Дремал на солнцепёке до вечера. Захотелось есть, вырыл ворону и с отвращением съел.

Снова пошли дни страшного невезенья. Нашёл след косуль, до полуночи гонялся за ними и не смог взять. Не смог потому, что всё время шёл по их следу, а надо бы не бежать следом, а срезать их круги. Косули обегали одну, другую сопку и снова приходили в то же место, откуда сорвались. И так бесконечно. Пока пёс не выдохся. Бросил их, упал под елью и дремал остаток ночи под её широкими ветками. Утром нашёл следы изюбров, пошёл по ним, увидел зверей в пихтаче — они объедали хвою, — бросился без лая, молча, но звери учуяли его. Рванулись с места и, сделав малый круг, влетели на скалу-отстойник, основное место спасения изюбров, здесь их даже волки не всегда могут взять. Позади стометровый обрыв, а впереди узкий проход. Сунется зверь в проход, а ему навстречу такой удар острых копыт, что раскраивает череп, как дубиной, ломает хребет. Ведь изюбры защищаются от собак или волков не рогами, они отбиваются передними копытами.

Пёс долго и молча пытался прорваться в изюбриную крепость, но каждый раз навстречу ему несло сердитое фыркание и грозили удары страшных копыт, от которых он едва успевал увёртываться. Не выдержал и залаял.

Метался с лаем сутки, вторые. Будь рядом охотник, он бы услышал лай, и нет для него лучше мишени, чем стоящие на скале изюбры. В какой-то момент пёс забыл об осторожности, бросился в проход.

Сокрушающий удар копытом сбросил его со скалы. Изюбры не стали ждать, когда он снова бросится на них, сорвались с отстойника, убежали в пихтач.

Долго лежал покалеченный пёс под скалой. Снег успел подтаять под его боком. Наконец очнулся, поднялся и заскулил от боли, будто кому-то пожаловался. Ныло плечо, правая лапа распухла, и нельзя было на неё наступить. Заковылял на трёх, сам не зная куда. Шёл, чтобы не замёрзнуть, чтобы не погибнуть в тайге. Вышел на тропинку охотника, обнюхал его след, правда, он уже почти выветрился. Однако пёс пошёл тропой. Шёл день, шёл ночь, снова наступил день, а пёс всё шёл. Инстинкт вёл его к человеку, инстинкт подсказывал, что только там можно найти спасение. Волчий зов уступил место собачьему. И одни ли только собаки делают так. Даже изюбры при большой беде идут к человеку, идут тогда, когда смерть смотрит им в глаза.

В тайге стало неприятно. С полудня заметались по небу серые тучи, они низко стлались над сопками, несли с собой что-то страшное, и оно, это страшное, пришло. Пришло с сильным зарядом снега, с воем ветра, со стоном и треском падающих деревьев. Пса качало, пса бросало, ведь он ковылял на трёх лапах.

Тропа привела в долину Улахе. Здесь оставили его силы. Идти он уже не мог. Полз на животе, полз и полз. Надо добраться к человеку. Не дополз. Ветер перемёл тропу, сбил с верной дороги. Пёс забрался под корень вывороченного бурей кедра, снег тут же накрыл его, ветер намёл сугроб, похоронил собаку.

Часть третья

МАКАР БУЛАВИН

1

Охотник Макар Булавин спешил проверить ловушки на колонков и соболей. Он шёл по заснеженной тайге, переваливая из ключа в ключ, вытаскивая из ловушек трофеи, часто посматривал он на ушастое солнце — быть буре. А буря в тайге — штука малоприятная, может деревом придавить, а оставят силы бороться с ветром — замёрзнешь. Никакой костёр не поможет, если не сделать навес от снега и ветра. Ветер, что дул с северо-запада, крепчал. Макар проверил ещё одну ловушку, махнул рукой на остальные, не стал проверять — заспешил назад. Всех колонков и соболей не переловишь. Надо и себя пожалеть. Если разыграется буря, то не выгresti домой — сомнёт, закрутит. Идти Макару далеко. Есть у него кружная

тропа, торная, но по ней не успеть убежать от бури. Решил перевалить через сопку и встать на самую короткую тропу. А там до пасеки рукой подать.

Пасека — дом Макара, другого дома у него нет. До этого он жил в деревне Каменке. Макар — старOVER, бывший старOVER. Его прародители ещё при Алексее Михайловиче ушли в леса и болота, не приняли новых установлений иуды Никона. А сам Макар, бродя по тайге, начал находить прорехи в учении Божьем и сильно усомнился, есть ли Бог вообще. У Макара есть к тому все основания. В Евангелии сказано, что ни один волос не упадёт с головы человека без воли Божьей, что праведника Бог защищает, грешника наказует. Враки всё. За Макаром никаких грехов не водилось. Жил он праведно. До тридцати лет ходил по старOVERческим скитам и нёс людям слово Божье, крепил в них веру в учение Христа. Питался таёжной живностью, травами, жизнь проходила в посте и молитве. Затем женился. Была семья, пятеро детей. Но к концу жизни у него всё пошло под откос. В Русско-японскую войну погиб в Порт-Артуре сын, в то время старOVERов уже брали в армию. В тот же год умерла старуха. Наставник Степан Бережнов говорил:

— Это тебе Бог шлёт наказание за грехи твои. Молись, кайся в грехах, и Бог простит.

— А в чём же мне каяться? Живу небогато. Не обижаю людей, не бражничаю, как ты, не прелюбодействую и никого никогда не убивал из рода людского.

В половодье утонула дочь. Летом задрала медведица сына. Второго сына засёк кабан. Зимой умерла от оспы последняя дочь. Остался Макар один, без роду и племени. А однажды заспорил на проповеди с наставником Степаном Михайловичем:

— Бог, сказано в Писании, милосерден, Бог вездесущ, а как понимать такое: в Писании сказано «Не убий», так почему же сам Бог убивал людей и об этом ничуть не жалковал? Пошто он разгневался и убил всех людей, окромя Ноя? Пошто он пролил дождь и серу на Содом и Гоморру? Жену Лота сделал соляным столбом лишь за то, что она оглянулась? Бог, выходит, убивает тех, кто ни в чём не виноват? Я тоже ни в чём не виноват, и дети мои невинны. Это не по-божески!

— Ты... ты... ошалел! Как смеешь усомниться в учении Божьем?

— Вот так и смею. Небо твердь. Звёзды прибиты к той тверди, так почему же гвоздь, вбитый в стену, не бродит по стене, как бродят звёзды? Бог убивает людей без раздумки. Ежели ты Бог, то ты должен был знать, что согрешат Адам и Ева. Чти: «И раскаялся Бог, что создал человека на земле, воскорбел в сердце своём. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо раскаялся,

что создал их». Вздумал истребить, а Ною подсказал строить ковчег, чтобы он взял всякой твари по паре. Зачем истреблять, а потом снова воскрешать? Враки всё то! — грохнул кулаком по столу Макар. — Враки! Я вам всю Библию с ног на голову поставлю! А потом, какой же надобно строить ковчег, чтобы всех вместить? На сто вёрст?

— Так ты что, отрекаешься от Бога? — гусём зашипел Степан.

— От Бога отрекаюсь, но от своей совести нет. Всё идёт к тому, что люди скоро отрекутся от Бога. К тому идёт. Для людей Богом будет совесть и их добрые помыслы!

— Анафема! — рыкнул Степан. — В учении Христа усомнился. На судное его моление, на костёр еретика! Четвертовать, мясо бросить зверям алкающим!

— На костёр — не то время, Степан Михайлович, — остановил наставника Алексей Сонин. — За костёр могут нас власти и к ответу потянуть.

— Вон из братии!

— Вон так вон. Всю жизнь я прослужил верой и правдой вашей братии, от никонианства нашу веру защищал. Но ухожу без скорби и раскаяния в сердце своём. Буду искать Бога в душе своей. Добрых людей искать, а вы ведь звери, ваша вера жестока и зла...

Не посмели тронуть староверы Макара. Собрал он немудрящие пожитки, бросил их в телегу, запряг коня и уехал на свою пасеку. И тут же вспыхнул в Каменке Макаров дом — ясно, кто-то поджёг. Раз против Бога, значит, колдун и чернокнижник, а то, что умел лечить людей и скот, считать колдовством. Жарко горел дом Макара. А после пожара на пепелище кто-то вбил осиновый кол, а тот кол пустил корни и через два года расцвёл кудрявой осинкой. Трепетала она на ветру и без ветра, будто что-то хотела сказать людям; росла, крепла, а они от суеверного страха обходили её сторонкой. Хотел было срубить осинку Степан Бережнов, но побоялся накликать на себя беду. Однажды зашёл в деревню Макар Булавин, осмотрел осинку и пугнул людей:

— На того, кто тронет её, сто бед нашлю.

Мог и наслать, кто знает. Ведь отречься от Бога не всякий посмеет.

На Макара один за другим сыпались наговоры. Сдохла тёлка — виноват Макар. Загорелся дом Бережнова — Макар наслал пожар. С кем-то случилась лихоманка — дело рук Макара. А некоторые даже предложили убить Макара, но более разумные отговорили:

— Убьём, а дьявол на нас сто бед нашлёт.

И оставили Макара в покое.

Лёгкок шаг Макара, хотя ему под семьдесят. Годы не тяготили его. Был всё так же пытлив умом, добро-

душен, честен и прост. Ни жадности в сердце, ни зла на людей.

Пасека Макара прилепилась у крутой горы. Жил и не тужил. Сеял хлеба столько, сколько мог съесть. Бил зверя столько, чтобы пропитаться и одеть себя. Лишней копейки не водилось у него. Может, так и дожил бы он свой век, если бы не случай.

Макар шёл с охоты. Пуржил студёный февраль. Снега подвалило много. Решил старик перейти реку Улахе и выйти на санную дорогу, которую пробили мужики на той стороне. Посреди реки влетел в сумёт — глубокий, глубокий снег. Там под снегом подпарился лёд, он осел под кряжистой фигурой Макара, и Макар ухнул в ледяную воду. Начал хвататься за кромку льда, тонкий лёд крошился под руками, обламывался. Сильное течение тянуло его под лёд. Мимо ехал с возом сена старовер. Макар начал звать на помощь. Тот остановил коня, спрыгнул с воза, а когда увидел, кто тонет, завопил:

— Колдун тонет! Чернокнижника Бог наказал! Водяной забирает к себе!

Следом ехал на своей пузатой кляче Евтих Хомин из Ивайловки. Спрыгнул с воза с сеном, бросился к тонущему и выдернул Макара из воды. А Макар и стоять уж не мог. Евтих донёс Макара до воза, рванул бастрык, зарыл Макара в сено. Всё это молча, быстро. Тронул коня и во всю силу погнал его к Макаровой пасеке. Она была ближе, чем деревня Ивайловка. На пасеке Евтих долго растирал Макара спиртом. Потом передел в сухое бельё и до вечера не отходил от старика, поил травами, медовухой. Макар ожил, заговорил:

— Кто ты? Я тебя вроде не видел в наших краях?

— Тю, аль не знаешь, я Евтих Олегович Хомин. В прошлом году приехал. Тебя хорошо знаю. Говорят, порушил ты старую веру и будто в новую не вошёл.

— Верно. От старого зипуна ушёл, а новый в плечах жмёт. Обойдусь рубашкой. Спасибо за спасение, Хомин. Благодарствую, Евтих Олегович. Отвёл смерть. Семья-то велика ли?

— Вчера двенадцатый родился.

— Вот это гвардия. Ну вот, Евтих, при такой семье, верно, живёшь скудно. Чем больше ртов, тем больше надо им хлеба. Ты меня спас, не дал оборваться моей тропинке, не проехал мимо, как тот шелопут. Потому с этого дня, считай, буду помогать тебе, сколько сил хватит.

— С чего это, ты же не батрак мой.

— Не перечь. Мне всё это ни к чему, — кивнул он на связку колонковых и соболиных шкур, — а для тебя подмога, ладная. А то помру, и глаза некому будет закрыть. Ни дальней, ни ближней родни не осталось, все отреклись от меня. Забирай шкурки и дуй на своей разлетаке в Спасск, сейчас самое время

торга пушниной. Одевай своих голопузых. Завтра я к тебе забегу.

— Не могу, Макар, взять чужое, ещё скажут люди, что за деньги тебя спасал.

— Дурак, ты спасал меня из любви к ближнему, а шкурки я дарю тебе за твою душевность. Бери. Давай ещё по кружке медовухи жмякнем, и валяй домой. Раздует ветер сено-то. Бедняки, вы народ бесхозный. Отчего такое, не пойму. Богач за тот клочок сена ни за что бы не стал воз рушить. А ты бац — и нет воза...

И вот спешил Макар. Перевалил сопку, пошёл вниз по склону. Кряхтел от ветра и мороза, сильно гнул спину, бодая ветер. Ругал себя:

— Чёрт дёрнул меня идти напрямиком, целиком! Прямо сороки да вороны летают, но никогда дома не бывают.

Действительно, шёл бы Макар по своей тропе, пусть там путь был вёрст на пять длиннее, не пришлось бы ему буравить ногами глубокий снег.

Как ни спешил, но буря оказалась быстрее его. Села ему на плечи, придавила. Среди деревьев носились бородатые тени, будто духи подземелья вышли на свой дьявольский шабаш: визжали, выли, с грохотом роняли старые лесины, бросали в лицо лопатами колючий снег, облепили Макарову бороду — не бороды, а кусок льда.

— Вот, ястри те в горло, устал-то как. Дьявольская коловёрть. Ещё, поди, вёрст шесть топать. Осилить надо, обязательно осилить, — ворчал Макар, подбадривая себя.

Брёл и брёл, пока по взбаламученному небу не заметалась вместе с бурей безликая луна. Едва приметная, она качалась среди рукастых туч. Ветер продувал козью дошку, огнём жёг щёки, слепил глаза. Макар прикрывал лицо барсучьими рукавицами, бодал ветер харзиной шапкой. Воздух был плотный, как речная вода. И он грёб по нему, шёл по снежным волнам, крутым и упругим. Когда сил не было идти, он вставал за дерево, бил себя по бокам руками, чтобы согреться.

Всё чаще и чаще останавливался Макар, чтобы передохнуть за деревом, но и тут ветер находил его, пытался сломить, обнимал вместе с деревом, забивал рот снегом — не продохнуть. И Макар сдавался, топтался на одном месте. Топтались рядом с ним нехорошие мысли: «Один, кому я нужен? Пойду за Аксиньей. Ждёт она меня. Холодна земля, холодна вода, на себе испытал. Холодно в той воде дочке Настюшке. Холодно. А как Серёге в животе косолапого? Сумно. Кто где... Кто по-людски в земле, а кто невесть в какой колыбели. Вот и я могу сегодня быть с ними. Вот лягу и усну. Спать хочется...»

— Я те усну! — ругал себя вслух Макар. — Уснёшь, а кто хоминский выводок поднимать на но-

ги будет? Не баба, а зайчиха. Наплодила — страсть. Уже тринадцатый вылутился. Чисто мошки на свет прут...

Выполнил обещание Макар: на следующий день после спасения зашёл к Хомину. Зашёл и ахнул. Всякую нищету он видел, но такой ещё не приходилось. Хомины жили в тесной клетушке. Стены в копоти, пол земляной, посреди русская печь, через весь потолок полати. А там... Макар не сразу сосчитал, сколько там голов. И все дети голые. Все сопливые, замызганные... Вот один из них соскочил с полатей и тут же, в углу, помочился. Вонь и духота.

— Евтих, это что же делается?

— А чё? — вскинул Евтих маленькие медвежьи глаза на Макара.

— Ить у добрых людей в овчарне чище.

— А провались оно пропадом, — махнула рукой Анисья. — Чё убирать, всё одно. Детям на улицу не выйти, лопотины нет. Садитесь, чаем напою.

— Какой там чай, я от смрада задыхаюсь. Боже, да разве можно так жить? Чё едите-то?

— Шо бог подаст. Репу, картошку.

— Звиняй, я побежал, дух перехватило, — выпалил Макар и ринулся в дверь. Бегом на пасеку, там свалил в нарты платья, штаны, рубашки, всё, что осталось от прошлой его семьи, и снова бегом повёз добро к Хоминым. Здесь охапками начал заносить в дом, сваливать в кучу. Летело всё: рубашки, зипуны, валенки, ичиги, кусок сатину, кусок холста, тот, что оставил себе на смертный час, кусок ситцу. Гора тряпья, гора обуви.

Что началось: визг, крики... Штаны были велики — их тут же подкатывали, рубашка сползала с плеч — перехватывали верёвочкой у горла.

— Евтих, запрягай коня, поехали, там ещё возьмём машинку «Зингер», самопряку, разную лопотину, едому. Пусть Анисья всё это перешивает. Мне когда сошёт рубаху... Поехали...

Балдели от радости Евтих, Анисья, дети. Мерили, подшивали до полуночи. Анисья оказалась неплохой швеей. Машинка «Зингер» не умолкала днями. В доме враз преобразилось, дети ходили по нужде на улицу, стало чище, светлее, но, конечно, всё так же тесно. Макар прогнал Евтиха в Спасск, чтобы он закупил гвоздей, стекла за шкурки колонков и соболей. Сам же нанял мужиков валить и вывозить лес. У Макара не засидишься. Всё кипело. Рос сруб огромного дома, с расчётом на те тринадцать душ и ещё на те, которые будут.

Слетела с Макара паутина тоски и безразличия. Строил Хоминым дом ладно и с размахом. Не успели сойти снега с сопки, как на подворье Хоминых стоял дом с голубыми наличниками, такими же ставнями, с резным крыльцом, которое своими руками построил Макар. Старый дом приспособил под овчарню,

куда Макар думал нагнать Евтиху овец. Срубили стайку для коров, конюшню для коней, амбар для зерна, хотя ещё ни того, ни другого не было. Новоселье справляли перед пахотой.

Шумное и бестолковое, оно прошло в завистливых возгласах, в диком переплясе по крашеному полу; Анисья ворчала, что, мол, пол попортят. А Кузиха, самая вредная и самая жадная баба на деревне, худущая, остроносая, с бегающими серыми глазками, поджав губы, ходила по избе, заглядывала в каждый угол, трогала горшки и черепки на припечке. Жили Кузьмины в достатке, даже на косьбу и уборку нанимали работников. Бывал там и Хомин, самый выгодный работник. Навильник — и копна на стогу. За один прихват брал целый суслон снопов. А теперь, наверное, не пойдёт. Отнял Макар работника. Словно между делом Кузиха прошипела:

— А ведь не с чиста дела разбогател Хомин. Был слых, что Макар — чернокнижник, колдун. А?

Но её никто не поддерживал. Поили, кормили, чего тут наговаривать на людей...

«Старый дурак, ишь, чего надумал, лечь и уснуть, и ить ежли я подниму ораву хоминскую, то и честь мне будет немалая. Топай, Макар, топай, — продолжал подбадривать себя Макар и брёл навстречу буре. — Скольких осиротишь! А снова захиреет Хомин, ведь только было плечи распрямил. Вот пошлю его снова в Спасск, загонит он там мою добычу, а ить её уйма, почитай, двадцать соболей, каждый на круг потянет по сорок рублёв, сто колонков, на круг десятка штука, и на двести рублей белки, семь ентов, — выручит Евтих две с половиной тысячи чистоганом... Крепись, Макар».

Макар вышел на переметённую тропу. В распадке ветра стало меньше. Здесь был прорублен его пугик. С боков должны быть ловушки, но их сейчас замело. Вспомнились слова Кузихи: «Зачем ты так соришь деньгами, Макар? Оставил бы себе на смертный час».

— А что, у тебя руки отсохнут уложить меня в гроб? — съязвил Макар. — Или у твоего Кузьмы выпадет топор из рук, когда станет тесать мне крест? Мне ить памятников не надо. Мой памятник — дети.

— Хе, дети, да они тут же забудут о тебе. Ты бы моим дал сатину на рубашку, я бы их заставила поминать тебя.

— Заставила, гришь? А я не хочу, чтобы меня через силу вспоминали, хочу, чтобы по душе.

— А ты помоги, може, и по душе будем вспоминать, — стояла на своём Кузиха.

— Но ведь у вас в доме достаток, другие ведь в сто раз хуже живут.

— А я хочу жить лучше всех. Хочу! Ты вот и исполни моё хотение. Тебе ведь такое не трудно?

— С чего это мне не трудно?

— Но ведь ты, тебе ить дьявол помогает. Бог-то на такие дела скуп. Вот ты и помоги нам чутка, через дьявола.

Макар задохнулся от обиды, значит, вот как судит о нём Кузиха. Ехал он тогда с охоты, вёз на двор Хоминых добытого изюбра.

— Вот дай нам этого зверя, буду молить Бога о твоём здравии, — не останавливалась жадная баба.

— Это как же ты будешь молить за меня Бога, когда я продал душу дьяволу?

— А чтобы он отпустил тебе грехи.

— Ну что ж, — выдавил из себя Макар, — могу и дать, — вскинул кнут и что есть силы опоясал им Кузиху, и начал хлестать, приговаривая: — Вот тебе дьявол, вот тебе продал душу бесу! Чтоб вы лопнули от жадности...

Едва убежала Кузиха от разъярённого Макара.

— Колдун! Поганец! — кричала она, отбежав.

Видел эту порку проезжий мужичонка, остановил коня и мирно заговорил:

— А зря ты так, человеке, поступил. Бабы — народ страшный. Во гневе дьяволу горло перегрызут. Всё могут. Оговорят и ославят. А на доброе людская память короче гулькиного носа. Ой как коротка, когда оговорят. Страшись баб...

Вот и выворотень старого кедра. Однажды загадал на него Макар, что если упадёт тот кедр от бури, то и он за ним. Ан нет. Кедр уже лежит здесь пятый год, а Макар всё ещё суетится на земле. Скапустился кедр, а Макар ещё как дуб. Уйти бы Макару от этой маеты, пока его не засосало вконец людское болото. Но не хочет Макар уходить. У Макара шальная задумка: увидеть, кем будет Хомин через несколько лет. Сейчас он тих и покладист. Хотя уже заметно прибодрился. Голос стал твёрже. Работает не так, как работал раньше, — самое малое за троих. А то ведь жил спустя рукава. Ходил с ленцой, опустился и не собирался выбраться из нужды. А Макару что, он может деньги добыть, может сделать из Евтиха человека...

Макар навалился спиной на рыжую глину выворотня. Здесь не дуло. Обтёр платком взмокшее лицо, глаза и начал дремать. Вконец устал. Переступил с ноги на ногу, но тут же отскочил — нога встала на что-то мягкое. Кто-то под снегом завозился. Макар сдёрнул со спины бердану, устави́л ствол в снег. Подумал, что здесь залёг медведь. Этого ещё не хватало. Сидун нашёл приют под выворотнем? Макар едва не выстрелил. Из-под снега послышалось рычание, потом слабое поскуливание.

— Вот, ястри ты в нос, напужал до смертушки. Душа в пятки ушла. Вместо медведя — собака.

Снова послышался визг и болезненный стон. Макар разрыл снег ногами, нащупал тело собаки, с трудом выволок её наверх. Хмыкнул:

— Пёс ладный, но в беспамятстве. Лапу вон как разбарабанило, — рассматривал он собаку при мутном свете луны. — Что же делать? Самого бы кто донёс до дому, а тут с тобой возись. Послал Бог находку. Однако грех бросать живую тварь на погибель, — просто и человечно рассудил Макар. — Может, где хозяин по ней жалуется. Дотянем, верста осталась.

Поднял на плечи двухпудового пса, тот взвыл от боли, хотел цапнуть за руки Макара, но, видно, не хватило сил.

— Лежи, вишь, хочу тебя спасти. Жизнь и для букашки мила. А нам и того боле... — сказал Макар и пошёл, заплескал на снегу наперекор буре.

Верста тянулась бесконечно долго. Даже луна успела уйти за гору, а он всё шёл. Сколько раз отдыхал на этом отрезке пути, опускал пса на снег, много раз едва не заснул, лишь поскуливание собаки выводило его из дрёмы, а заснул бы, тогда смерть. Лёгкая, тёплая смерть. В голове стучали, тренькали звонкие молоточки, будто кто бил по серебряной наковаленке. Пот и снег смешались. Ноги отказались идти, когда Макар уже видел в белой мгле свою избушку. Тогда он пополз и поволочил за собой собаку. Пёс в забытьи повизгивал. Макар тянул его за заднюю лапу, волочил как мёртвого. И ни разу ему не пришла мысль бросить пса и спасти себя. С трудом отвалил бревно от двери сеней. Открыл головой дверь и вполз в сени, втянул пса. Затем открыл дверь в дом и втянулся за порог, оставил злую бурю с носом. Она ошалело завизжала в пазах домика, застучала дранкой на крыше, затренькала стёклами.

Долго, бесконечно долго лежали Макар и пёс на полу. Первый дремал, второй был в забытьи. Отошёл Макар от дремотного оцепенения, с трудом поднялся на ватные ноги, достал с полки туес с мёдом и жадно пил его, как воду. Мёд взбудрил, Макар сбросил с себя мокрую дошку, хрустящую льдом, снял потную рубашку, накинул на плечи зипун, не спеша выбрал снег и сосульки из бороды. Лишь потом вздур свечу, начал растапливать печь.

Буря неистовствовала, встряхивала домик, как пасечник встряхивает рамку, чтобы сбросить с неё пчёл, гудела в трубе. Но она уже была не страшна. Жарко горели в печи сухие поленья, сладкое тепло разливалось по телу. Было легко на душе, ведь Макар сделал всё возможное и невозможное: спас пса и сам выжил. Он бросил на топчан, который стоял у русской печи, изюбриную дошку, положил на неё собаку, она взвизгнула.

— Ничего, оклемаемся. Лежи, всё будет ладно.

Макар перекусил вяленным мясом, не раздеваясь, прилёг на кровать и тут же уснул, будто куда-то провалился. Спал он по-стариковски недолго. Свеча догорала. Он зажёл другую. Пёс всё так же лежал на топчане, но глаза его были уже открыты и присталь-

но смотрели на человека, будто спрашивали: кто ты? Макар чем-то напоминал псу Безродного. Хотя бы ростом и бородой, пока её Безродный не сбрил. Увидел огромную тень на стене, которую бросала на стену свеча, зарычал. Макар усмехнулся:

— Рычишь. Хорошо, а ить, почитай, был дохлый.

Нагнулся, чтобы взять полено и подбросить в печь, пора было варить ужин. Пёс ощерил зубы, подобрал лапы, словно хотел прыгнуть на человека.

— Не бойся, сам сообрази своей башкой, на кой чёрт мне было тянуть тебя сюда, а потом бить, ить я человек. То-то. Лежи, не трону, вишь, печь надо топить. Ветер-сквалыга с устатку может и заморозить нас. На улице не замёрзли, а в доме можем окостыдиться. На мне гола кожа, а ты в шубе. Смекай! Я сам о себе радеть должен, — ворчал Макар. В его голосе слышал пёс тёплые нотки, каких не было в голосе Безродного. — Будь у меня такая шерстина, как у тебя, тогда бы я жил без думок о лопотине. А то ить штаны надо, рубашку подай, а поверх разную разность на себя пялишь. Человек есть человек. Вон одел и обул хоминских шенят, носятся теперь по снегу, ожили. А то ить совсем было охляли в духоте и безветрии. Ты на ветер зло не таи, он тожить нужен, без него задохнёмся. Здесь, брат, всё к месту. Не рычи на меня, Хомин меня спас, я ему помогаю. Тебя я спас, ты, коль сможешь, мне поможешь. Когда и словом обмолвимся. Одному-то скучно. Найдётся хозяин — верну. Чужого мне не надо.

Пёс больше не морщил нос, не скалил зубы. Чуть поворачивая голову, слушал ровный и мелодичный голос Макара, будто хотел понять, о чём он говорит. А Макар всё плёл и плёл нить разговора, не кричал на пса, не топал, как старый хозяин, не было хрипоты в голосе. И пахло от этого бородача свежим ветром, тайгой, колонками, талым снегом, сопками. А от того пахло сивухой, кровью. Этот, наверное, из Федыкиной породы.

Макар нагнулся над псом, хотел погладить его голову, но пёс снова ощерил зубы, в глазах плеснулся зелёный огонёк. Макар отпрянул, проговорил:

— Ну дела! Дэк ить ты смотришь-то на меня поволчьи. А я тя в свою избушку приволок. Ну кто ты: волк или собака? Но ведь волки не бывают чёрными. Опять же, шея натёрта ошейником.

Снова услышал пёс мягкость и тепло в голосе этого человека. Чуть вильнул хвостом, словно попросил прощения за недоверчивость.

— Вот это ладно. Хвост больше сказал, чем надо. Понятно, пёс ты строгий, чужаку сразу в руки не даёшься. Это хорошо. Я тоже не сразу людям верю. Знать, сродни мы. Тайга многому учит нашего брата. Ничего, поверим друг другу, будем друзьями не разлей вода, к своему хозяину не захочешь вертаться. Лежи, сейчас заварю хлёбово из кабанины, и поедим

вместе. Едома — дело верное. Через нутро пойдёт и наша дружба. Вот как тебя звать-величать? Может, Тузик, а может, Барбос? Окрестим по-своему. Шарик, к примеру. Нет, не пойдёт, шибко уж деревенское имя. Не по тебе: плёвое, надо сказать. А как называть?.. — закрутил косматой головой Макар. — Во! Придумал. Назову я тебя Бураном. Ить, честное слово, я думал, нам каюк. Буран, Буранушка, вот и окрестились! А меня зовут Макар, Макар Сидорыч Булавин. Сам понимаешь, что без друзей и без имени нельзя жить на свете. Не жизнь, а нудьга. Вот я только и начал жить, как в Хомине увидел друга. Но как ещё обернётся, трудно сказать.

Густо пахнуло варёным мясом. Пёс судорожно зевнул, глотнул слюну. Макар улыбнулся, помешал в чугушке, отведал варево. — Готово, сейчас будем есть, — снял чугунок, половину слил себе, остальное отнёс остудить на улицу. — Эк её разбирает, вся стоном исходит, — сказал Макар про тайгу, когда возвратился. — Ты потерпи пока, тебе нельзя есть горячее — нюх потеряешь, остынет вот, и дам.

Макар шумно хлебал борщ, обсасывал сивые усы. Буран заскулил.

— Ну что, проняло? Сейчас тебе дам, поешь и ты хлёбово.

Принёс, Буран хотел прыгнуть с топчана, но Макар остановил его:

— Лежи, болящий. Ешь вот.

Буран покосился на Макара, чуть склонив голову, будто прислушался к тёплым ноткам в его голосе, осмелел и начал лакать. Давился мясом, втягивая в себя тощий живот.

— Ешь, больше ешь, быстрее оклемаешься. Проверено: ежели человек ест, то и жить будет. Отчего Хомин такой огромный? От репы. Мы ругаем репу-то, а у неё большая сила. Конечно, мясо лучше репы, но его столько не слопаешь.

Буран всё косил глаза на этого разговорчивого человека и, похоже, не спешил признать в нём нового хозяина и друга. На всякий случай скалил зубы, порыкивал. Опасался, что вскочит сейчас этот лохмач, заорёт на него, палкой ударит. Но Макар после кружки душистого чая сел на табуретку и продолжал: «Едома — всему голова, даже злоумышленника хорошо накорми, обласкай, и он худого тебе не сделает. На себе испытал. Вижу, ты не веришь людям, а зря, не все люди злые, на земле больше добрых. И злыми люди бывают чаще оттого, что несправедливости среди нас больше, чем у Жучки блох. Терпят пока люди ту несправедливость, но до поры до времени. Сейчас уже помалу бунтуют, но могут так взбунтоваться... Будет бунт, я от людей не отстану, куда они, туда и я...»

Буран вылакал борщ. Макар смело подошёл к нему, положил руку на лобастую голову, погладил. Пёс поджал уши, насторожился, затем глубоко вздохнул.

— Вот и я вздыхаю, когда мне тяжело. А тяжело часто бывает, потому как жизнь — штука трудная, даёт-ся человеку однова, и то мы её прожить хорошо не можем. То горе, то беда, то думки шальные мешают жить.

Буран поднял голову и лизнул Макарову ладонь.

— Только так, за добро — добром, за ласку — лаской. Давай спать. Дело к полуночи.

Макар проснулся, когда серая мгла едва начала рассеиваться. Буря утомилась за ночь, сбавила свою прыть. У Макара на душе светло, как в детстве, будто ему купили обнову, а он, малец, радуется ей. Так же хорошо ему было тогда, когда отец купил ему, двенадцатилетнему, новое ружьё — кремнёвку. Он и спать тогда лёг с ним в обнимку, просыпался, ласково гладил холодную сталь. Крутил ружьё в руках, то и дело тёр тряпочкой, смазывал подсолнечным маслом. Сердце прыгало от радости. Прыгало оно и сейчас: Макар видел, что подобрал он в тайге необыкновенную собаку. Ведь он, охотник, знал цену хорошей собаке. Но в голове нудилась мыслишка: «А вдруг найдётся хозяин? Ить пёс-то мне полюбился. Как я его волок! Не думал, что жив доберусь... Нет, хозяин, должно, погиб в тайге. Не может быть, чтобы такая собака ушла от него».

Макар растапливал печь. Теперь было с кем поговорить, и он говорил без умолку.

— Вот ты собака, а я человек. Поняли мы друг друга. Бедой окрутились, познались в ней. Почему же люди не хотят понять друг друга? Теперь злобятся на Хомина и меня. За что? Хомину помогаю, а им нет. Так ить и солнце-то не везде одинаково греет. Вот поставлю Хомина на ноги, начну другим помогать. Понятно, что всем я не смогу помочь, может, ещё одному-двум, ино и то ладно...

Нашёл Макар собеседника, который ни в чём не противоречил ему, только поглядывал умными глазами да крутил большой головой, будто понимал, о чём ему говорят. Ведь раньше Макару некому было излить душу. Люди побаивались его, обходили; забегал, бывало, Хомин испить медовушки, словом перемолвиться и снова уходил домой. Недосуг ему стало, хозяином заделался.

После завтрака Макар засобирался на охоту, наказывал:

— Ты, Буранушко, будь дома. Вот сходи до ветру и сиди. Болен ты. Пока тебе в тайгу нельзя. А я пойду ловушки осматривать. Лежать на печи мне не время. Колонков нынче прорва, лезут один за другим в капканы и ловушки. Жрут друг друга, чуть прозеваешь. Озолотится Хомин. Боюсь одного: не испортился бы мужик. Замечаю, другим становится. Но я зарок себе дал, что подниму на ноги Евтиха, за спасение подниму. Мне чё? Кубышек мне не надо. Был бы сыт и одет. А вот будет ли он меня почитать? Ежели погиб-

нет моя вера в добро — тяжело будет жить. Ну ин ладно, я побежал.

Макар шёл по путику, сегодня он, как никогда, спешил. Хотелось пораньше вернуться домой, к новому другу. Вот и первая ловушка. На снегу пламенила рыжая шерсть колонка. Давок упал ему на шею, убил. Потянулся за беличьим мясом, тронул настоужку... Во второй ловушке был убит соболю. Соболю был несортной, бусый, грязно-серый. Однако всё же дороже колонка. Через пять ловушек, в которые никто не попал, был капкан. Макар ещё шагов за двести слышал, как цвиркал и верещал колонок, который всадил в капкан лапку, рвался из капкана, но крепки его железные челюсти. Макар подошёл к трофею, колонок начал бросаться на человека, пытался укусить его.

— Вот ить как, мелка тварюшка, а перед смертью и на медведя в бой пойдёт. Так и люди: как ни силён царь-батюшка, а могут при случае и его пребольно укусить. Могут.

В седьмой ловушке собрат съел собрата, одна голова осталась. Дальше снова пошло хорошо. За день снял десять колонок и соболя. Попутно сбил с веток пять белок. Заспешил домой. Почти бегом подбежал к дому. Открыл дверь, пёс радостно визгнул. Запросился на улицу. Макар вынес его на руках. Пёс, тяжело наступая на три лапы, заковылял по снегу.

У Макара появилась страсть к рассуждениям, чего раньше за ним не водилось, даже когда жил среди людей. Зашли в избушку, пёс занял место на нарах, а Макар на стуле.

Топилась печь, варился обед, а Макар говорил:

— Я вот что хочу сказать: в нашем деле главное — дружба, так, чтобы один за всех, все за одного. В этом мастаки староверы. Народ дружный. Был я парнишкой, когда мы ушли из Сибири, в Забайкалье деревню сгношили. Пришли к нам лет через двадцать мирские. Тогда я по скитам бросил ходить, семьёй обзавёлся. Вот они и начали теснить нас, свою церковь под нашим боком поставили. Мы собрались, церковь спалили, хохлам рыла нахлестали и ушли сюда. Ясно, это не совсем ладно, как я позже понял, но тогда мал и стар дрались. Хохлы вразнобой шли, хоть их и больше было, но мы дружно взялись и осилили. Вот и здесь, в Ивайловке, будь мирские дружнее, можно было бы рай создать. Всё скопом делать: дома строить скопом, рыбу ловить скопом, зверя бить вместе. Зажили бы куда с добром. Но рази такое будет! Разбогатеет человек, смотришь, нищему куса хлеба не подаст.

Пёс, слушая Макара, постукивал хвостом по доскам, иногда позёвывал. Начал привыкать к этому человеку.

— Конечно, так, как живут наши староверы, никому не зажить. Те хлеб сеют, но главный упор у них

тайга. А уж охотники они все один другого лучше. Белку в глаз, утку из винтовок на лету хлещут. Стелки. Потом они всегда первыми приходят на новые земли. Значит, и забирают лучшие куски. А ить на одни панты, ежли они первый сорт, можно прорву хлеба купить. Вот и считай, где выгодно, а где нет. Чужого в свой кут не пустят. Живут общинами. Не без того, что один чуть богаче, другой чуть беднее. Но таких бедняков, как Хомин, там нет. Чуть что, нужду отведут. Начал я им попереёк говорить, трах — и выгнали, чтобы не разнёс о них плохое, тайну сюда не выболтал. А теперь им ещё надо крепче держаться друг за друга. Народ прёт сюда, на их землю зарится. А ить, когда мы пришли, здесь было три чума гольдов, и боле ничего. Потом попёрли разные люди, китайцы повалили. Сила даровая. Ею даже староверы не брезгают. Ежли русский не хочет хлеб жать за полтину в день, то китаец за гривну жнёт. Едят они дюже мало. А потом, что не так, дают тому ходе по шее — и пошёл вон. Китайцы работающий народ, но беднящий. Они мне по нраву, но вот хунхузов всех бы передумил.

При слове «хунхузы» Буран зарычал. Макар глянул на пса и даже подался назад.

— Неужели ты понимаешь, что я говорю? Вот дела. Ну тогда я о них расскажу. Пакостный это народ, однава даже на нашу деревню напали. Человек сорок навалило. Такую пальбу подняли, что небу жарко стало. Но другого дурни не поймут — наши мужики стрелки отменные, а они дерьмовые. Залегли мы за околией и давай их ссаживать, как фазанов. Почти всех переколотили. Их старшинку пленили. Потом башку топором отрубили. Теперь на русских не нападают, а своих больше колотят, фанзы рушат. Вот и под Кокшаровкой прошлое лето много корнёвщиков перебили. Кто? До сих пор никто не знает. Одни говорят — русские, другие — хунхузы.

Пёс снова зарычал.

— Ну ладно, не будем больше о них говорить. Вижу, ты этого не любишь.

После обеда Макар снимал шкурки с колонок, сбивал мездру, чтобы пушнина пошла первым сортом. Макар снова начал рассказывать, но теперь уже о прошлом:

— Каждый человек в своём деле должен быть мастером. Раз я охотник, так уж должен знать все тайны охоты. Вот почему мне в ловушку прут колонки, а за горой такие же ловушки наставил хохол Злобин, но в его идут с опаской? А потому, что Злобин не знает таинств охотничьих. Я ить свои настоужки выварил в валерьяновом корне, капканы проварил в пихтовой хвое, да и ловушки делаю неприметными. А он, дурило, натесал светлых поленьев, зверь сразу видит, что тут что-то неладно. Я же навбивал колья без протёски. Все под цвет тайги. Сверху бросил

хвою, снегом припорошило, и не понять, то ли это человек делал, то ли это просто залом. Изюбры ходят стадами, а он добыть не может. А по мне, добыть изюбра раз плюнуть. Лишь бы ты его первым увидел, а не он тебя. И подходить к нему нужно походкой рыси, чтобы шаг свой даже сам не слышал. А Злобин ходит по тайге, будто медведь испуганный бежит.

Макар говорил и говорил, время шло быстро, работа спорилась. Освежевав колонка, он клал его на колено и начинал ножом сбивать мездру. Ровно, по всему кругу сходила она в его умелых руках.

— Кто отвадил тигра от Ивайловки? Не буду хватать — я. Ить там тоже сейчас охотников прорва, но все они никудышные. Повадилась тигрица ходить в Ивайловку, что ни неделя, так нет коровы, овцы, собаки. А народ там и без того голь голью. Разве что Кузьмин да Кузнецов богатеи. А остальные мелкота. Пришли ко мне. Так и так, Макар Сидорыч, помогай, тигр заел нас. А может, клопы, спрашиваю их, так вы чешитесь, не поддавайтесь тварям. Нет, говорят, тигр. Убей. А рази, говорю, у вас некому его убить? Пробовали, говорят, да чуть двоих не загрыз. Ну ладно, кажите следы.

Пошли мы по следам, а они свежие. Идём следом, обогнули сопку, вторую и через час снова вышли на след. Поняли, что мы следили тигрицу, а она нас. Тогда я и говорю Степану, что, мол, ты иди следом, повесь на рогульку мой пиджак, а я останусь сторожить. Пусть тигрица думает, что нас идёт двое. Так и сделали. Степан ушёл вперёд, а я засел за кедром вывороченным. Жду. Долго ждал. Смотрю, идёт зверь по нашему следу, как кошка, припадает к земле, фыркает, снег нюхает. Ближе, ближе. Взял я её на мушку и ахнул между глаз. И пошла она колесом, сдохла. Потом нашли следы тигрят, годовики были, повязали их как котят, сдали в город. Деньгой полные карманы набили. Вот так, Буранушко...

Макар обработал последнюю шкурку, дунул на свечу и лёг спать. Утром собрал пушнину — было там за десяток первосортных соболей, до сотни колонок и целая кипа белок, — отнёс всё Хомину, тот собрался ехать в Спасск, чтобы продать Макарову добычу. Макар ему наказывал:

— Себе что хошь бери на вырученные деньги, ты им хозяин. Мне же купи мешок конфет, патронов берданочных цинку, белого сатину на бельё и голубого на рубашки, яловые сапоги на лето, чтобы ноги не мочить, плисовые штаны. Всё это будет стоит три десятки, остальное твоё.

— На кой тебе конфет-то мешок?

— Для дела. Пришёл я, к примеру, в деревню. Ко мне — дети, я им — гостинец. Дядя Макар живёт для них. Да смотри, по всей строгости выполни мой наказ. Понял ли?

— Понял. Выполню, — уныло уронил Евтих.

— Да за пушнину-то торгуйся, будто всё сам словил, сам по тайге потел, а не кто-то. Валяй...

Хомин уехал. Через две недели вернулся. Пять коней тянули молотилку на широких санях и конный привод к молотилке, следом шли четыре коровы, десяток овец. Хомин возвращался сказочно богатым. У сельчан свело рты от зависти. Был в то время в деревне Макар, и даже он тихо ахнул. Евтих радостно обнял старика, расцеловал. Загремел густым басом:

— Живём, Макар Сидорыч! Ахнул я твою пушнину контрабандистам из Маньчжурии. Купил молотилку, скот, коней, семян. Живём! Молотилка даст мне преогромный барыш. Люди придут ко мне молотить. За обмолот — четверть. Хорошо!

Макар грустно улыбнулся, спросил:

— А мне купил, что я заказал?

— Ты уж прости, Макар, всё вышло тютелька в тютельку. Копейки не осталось.

— Мог бы не покупать одну корову, а меня не забыть.

— Ну как же, все симменталки, разве упустишь, да и последние были, а народ рвёт этих коров из рук.

— Ну пару бы овец не докупил.

— Больно уж хороши овцы-то.

— Не добрал бы коня, — уже в сердцах заговорил Макар.

— Жаль. Что ни конь, то паровоз, какой по чунке бегают. Ты уж прости, второй раз закуплю, что закажешь.

Макар молча повернулся и пошёл на пасеку.

Хомин пришёл к нему вечером. Шагнул в домик и тут же подался назад. На него в упор смотрел Хунхуз. Евтих узнал пса, попятился. Макар заметил оторопь Хомина, забеспокоился, спросил:

— Може, знаешь, кто его хозяин? — пытливо посмотрел в глаза Хомину.

— Дык ить это же... — заикаясь, заговорил Евтих, но тут же прикусил язык, прикинул в уме, что пёс может сослужить хорошую службу Макару, а Макар ему. — Нет, обознался. Не знаю, кто хозяин собаки, — буркнул Хомин.

Сели, выпили по паре кружек медовухи, которую лучше Макара никто не умел заваривать. Тут и настой лечебных трав, тут и мёд липовый.

— Ты прости меня, Макар, ей-бо, забыл я о тебе. Закрутился.

— Да ить я просил всё выполнить в точности. Вот патронов берданочных осталось чутка, а как медведь навалится, чем буду отбиваться? Могу погибнуть от его лап.

— Я снова пойду в Спасск, видел я там Безродного, богатея из Божьего Поля, просил он меня ещё раз сходить с ним в извоз. Спешит домой, набрал столько, что на сорока конях не перевезти. Вот я и схожу к

нему и тебе всё закуплю. Ить мимо буду ехать. А коль есть ещё шкурки, ты давай, там продам.

— Шкурки есть, но я их оставлю себе. Вдруг ты снова забудешь обо мне, сам схожу в город, — устало отвечал Макар. — Валяй, — махнул рукой и отвернулся.

Засосало у Евтиха под ложечкой, понял, что пересоллил. Таёжники — народ жёсткий, раз обманул, второй раз не поверят. Вышел Евтих, пытался успокоить себя, что, мол, теперь он может и без Макара обойтись. Однако не хотелось терять Макара.

А Макар задумался, долго мял мякиш хлеба в пальцах, хмурил кустистые брови.

— Вот как, Буранушко, Хомин на глазах меняется, как змея другую шкуру надевает. А ить, бывало, готов был выполнить любой мой наказ, когда первый раз ездил, даже иголок купить не забывал.

Задумался и о другом: по глазам понял, что Евтих знает, чья это собака. Забеспокоился. Сходил в Ивайловку, расспросил всех охотников, что, мол, не терялась ли у кого собака. Хозяина не нашлось. Затем сходил в деревню Каменку, хотя дал обет не ступать туда ногой, встретил Степана Бережнова и заговорил:

— Ты, Степан Михайлыч, не знаешь, не терял ли кто в тайге собаки? Приблудился ко мне пёс, так, собачонка никудышная, плёвая, но ить чья-то она есть, — хитрил Макар. Знал он Степана, может тут же предъявить свои права на собаку, и вся деревня подтвердит, что была у Степана такая собака, не открестись.

— Какая мастью? — хмуро бросил Степан.

— Чёрная, как дьявол чёрная, ни одного белого пятнышка. Смоль смолью.

— Нет, таких у нас не бывало. Никудышных не держим. А ты всё такой же, не умеешь скрывать чужого. Жил бы по-таёжному: нашёл — молчи, и потерял — молчи.

— Душа не приемлет.

— А остался ли Бог-то в душе?

— Похоже, отвергла его душа.

— Уходи, анчихрист, глаза мои не могут на тебя глядеть.

— Ну ин пошёл, прощевай. Значит, нет у вас такой собаки?

— Нет и не было. Дьявольскую масть не держим. Уходи, нечестивец!

Макар побывал и в дальних деревнях, у многих спрашивал, но никто не терял собаки. Успокоился старик.

2

Пришло в Ивайловку шумное и разухабистое Рождество. Его справлял всяк по своим достаткам: кто пил брагу или медовуху, а кто и спиртом баловался.

В лавке Кузнецова водился контрабандный спирт. Его приносили китайцы-спиртоносы. Купец продавал спирт только за пушнину, давал в долг тоже под пушнину. Один колонок — четверть спирта, потом в городе Кузнецов продавал колонка за десять четвертей. На то и торг. Не было бы выгоды, никто не торговал бы.

У лавки среди народа крутилась Кузиха. Ещё больше осунулась, лицо почернело. Не терпелось ей бросить злое слово на Макара и Хомина, ослабить их. Хомин ведь разбогател с дармовщины. Другое дело — Кузьмины. Кузя приехал сюда в числе первых. Захватил лучшие земли, покосы. Первое время были очень хорошие урожаи, по двести пудов зерна снимали с десятины. И пшеница тогда была в цене, продавал приезжим, с того Кузя и пошёл в гору. Рубль к рублю — деньги. Потом поставил конный завод, разводил коней местной породы — помесь монгольских с сибирскими. Коней брали нарасхват. Стадо коров немецкой породы развёл. Вроде человек по-честному зажил, а вот Хомин как из воды вынырнул. Из грязи в князи. Да и плети, что дал Кузихе Макар, нельзя было простить. Тараша глаза, Кузиха шипела:

— Мой Кузьма третьеводни ездил проверять сено да завернул к Макару, чтобы обогреться, а там такие страсти, что Кузьма чуть не умер от страха. Макар со своим псом ругался. Макар — слово, а пёс — два. Пёс чёрный-пречёрный, лежит на Макаровой кровати и ругается. Это не пёс, а дьявол. Макар кричит дьяволу: «Рано ты приволокся по мою душу, чёрный дьявол, я ещё не озолотил Хомина, ещё не закупил его душу». — «Нет, — отвечает дьявол, — я от тебя больше не уйду, буду твоим душеприказчиком. Боюсь, как бы ты снова к Богу не подался. Мы, — крик, — столько зла понаделаем в деревнях, что все за ножи схватятся, перережут мужики глотки друг другу, все пойдут в ад».

— Хм, — усмехнулся пьяный мужик, — да пусть они придут за моей душой, я её враз продам, только бы денег побольше дали.

— Нужен ты им, они ловят души тех, кто праведен. Хомин ить был тишайшим человеком, а сейчас не узнать. Никого и слушать не хочет.

— К вам в работники не идёт, — хохотнули со стороны.

— Полноте, Кузиха, врать-то на человека. Что он тебе сделал плохого? Всем помогает по силе. Вон Рокотовым дал денег на корову, Брагиным — на коня.

— Во-во, а отчего он не дал денег Славиным? — не унималась Кузиха.

— Этому пьянчуге-то? Да он их сразу пропьёт.

— Потому и не даёт, что Славин и без того попадёт к дьяволу в ад, — торжествующе заявила злая баба. — Он сам говорил, что за ним уже стали черти гоняться...

— Ври, ври, кто тебя слушает.

— Пусть вру, но вы сами подумайте, почему его выгнали староверы из деревни? Потому что Макар колдун. Вот до Рождества я гнала коров с проруби, а навстречу Макар, глянул раз, и сразу у трёх коров пропало молоко. Две овцы в тот же день издохли. Отчего? Макар сглазил. Чернокнижник он, за бесовскую чёрную магию и выгнали его староверы. Они вражину за версту чувят. Да и сами знаете, мой Кузьма врать не будет. Другое скажите: кто больше Макара соболей аль колонков добыл? Кто? А никто! И тут не без дьявола...

Рассказ Кузихи скоро оброс невероятными подробностями, и уже говорили, что дьявол и Макар схватились врукопашную, что раз дьявол дунул на Макара и сделал его комаром, потом сжалился и комара превратил в Макара; кто-то видел на кладбище привидение в образе пса. И пошло, и закрутилось. Макар недоумевал: почему люди на него смотрят со страхом и опаской?..

Забеспокоилась и Анисья Хомина:

— Евтих, а Евтих, ты слышал, что говорят про Макара?

— Слышал. Враки всё то. Видел я этого пса на привязи у одного человека. Удрал он с цепи и вот за двести вёрст появился у нас. А Макар от скуки рассказывает ему байки. Не верь, пусть молотят языком. Макар — наша тёлочка, которая доится золотым молоком. Потому цыц!

Поговорили, посудачили люди о Макаре и скоро забыли наговоры Кузихи. Макар был по-прежнему ко всем добр, кормил детей конфетами, давал деньги в долг.

Оставшиеся шкурки продал бродячим контрабандистам. Хомин обиделся, но смолчал.

3

Кончался февраль. Были дни, когда с крыш падала звонкая капель, зависали сосульки с крыш. Но февраль в горах Сихотэ-Алиня и даже март часто бывает обманчивым. После оттепели такая может подняться буря, какая зимой редко случается. Завалит тайгу липкий снег, нависнет многопудовой тяжестью на деревья, иные не выдерживают и ломаются, как спички. А берёзки — гибкие, тонкие — склонят головы к земле, будто низкий поклон ей отдают, да так и не разогнутся больше.

Макар снял капканы, спустил ловушки. Хватит. У белки начался окот, линяли колонки, соболи. Зачем зря зверьков портить. Надо было заняться пасекой: рамок настрогать, сбить новые даданы для будущих роёв, выстрогать из липовых дупел бочки-дуплянки, плотно, очень плотно подогнать днища. Мёд текучей воды, в игольное ушко может вся бочка вытечь.

К ночи над сопками забродили тёмные тучи, повалил снег — липкий, мохнатый и до того густой, что в трёх шагах человека не видно. А через пару часов сорвалась буря, чёртом налетела на маленький домик, тряхнула его в неистовой злобе, грохнула неприкрытой дверью в сени. А Макару наплевать на бурю. Он накрылся с головой пуховым одеялом и знай себе спит под этот вой и рёв. Не слышит, как кряхтят деревья, качается и стонет старый Сихотэ-Алинь.

В полночь заметался пёс, чем-то обеспокоенный. Он уже поправился, пополнел, лапа зажила. Макар сбросил с головы одеяло, проворчал:

— Будя тебе, спи, не гоноши других.

А сам прислушался.

— Ить буря-то шурует ладно.

Пёс метнулся к двери.

— Ну что там у тебя? Буря есть буря, пусть себе бесится.

Буран поставил лапы на дверь, заскреб ими. Со вал нос в щель двери, нюхал.

— Вот ястри ты, кого-то, похоже, чуешь... — Макар сунул ноги в пимы, надел на бельё куртку из изюбриной замши, сдёрнул с колышка бердану, подошёл к двери, осторожно снял крючок. Пёс тут же с лаем рванул в снеговую кипень. Макар шагнул за ним и тоже окунулся в снег и ветер. Снег слепил глаза: ни зги. За снегом лаял пёс, рычал зверь. Макар сразу догадался, что к его омшанику пришёл медведь, то ли из тех, кто рано проснулся, то ли шатун. Мёду захотел сладёна. Макар прикрыл глаза, пытаясь увидеть за снегом зверя. Глаза немного привыкли к белой мгле, и он увидел на земляной крыше омшаника силуэт медведя. Медведь сидел на хвосте и отбивался от собаки лапами. Сердито ухал, рычал.

— Вот бестия. Прибрёл по сумётам. Разумные звери ещё должны спать, а этот... — Макар поднял бердану, мушки не было видно, прицелился по стволу в лопатку зверя, выстрелил, но промахнулся. Зверь увидел человека, бросил Бурана и метнулся на Макара. Не успел Макар перезарядить бердану, как медведь был уже около него. Макар отшвырнул бердану в сторону и по привычке схватился за нож, но ножа на поясе не оказалось. Ведь он вышел только посмотреть, на кого рвался пёс. Будь бы нож, Макар знал бы, что дальше делать, нож не раз спасал его.

Зловонием из разверстой пасти дохнуло в лицо. Зверь обнял человека, подмял под себя. Макар поймал за брыластые щёки медведя и не давал вонзить клыки в лицо. Пытался свалить с себя многопудовую тушу, вывернуться, но медведь так придавил его, что дыхание перехватило. Но тут пришёл на выручку Буран, он прыгнул на зверя, впился острыми клыками в загривок, стал рвать и тянуть на себя. Рыкнул мед-

ведь, взвыл от боли, рванулся за собакой. Макар вскочил, нащупал на снегу бердану и в упор пристрелил шатуна.

Макар решил заволочь медведя в дом, там его освежевать. Сам он сроду не ел медвежатины, видел в нём сходство с человеком, но знал, что её ели мирские. Раздаст мясо людям, и у них будет праздник. Он накинул бечёвку на шею зверя и что есть силы потащил по снегу. Пёс дважды обежал Макара и вдруг поймал за шею косолапого и, пятась задом, стал помогать охотнику. Макар был настолько удивлён, что перестал тянуть тушу. Пёс зарычал, вроде сказал: «Что рот раззявил, тяни, аль не видишь, одному сил нет стронуть её с места?» И Макар ещё сильнее потянул трофей, вместе заволокли в избушку. Болели помятые зверем плечи. Макар сел на топчан и расслабил тело. Пёс поставил лапы ему на грудь и лизнул в бороду, радостно проскулил. Макар обнял его за шею и сильно прижал к груди. Пёс вырвался, запрыгал по избе, начал ловить свой хвост. Радовались человек и собака.

— Вот и познакомились в беде. Родными, считай, стали. Цены тебе нету, Буран. Вижу, что ты молод, а как повзрослеешь, золотой собакой будешь. Вот стихнет буря, испробую тебя на охоте...

Не тянется вечно день, не бредёт вечно ночь. Всё спешит, всё меняется. Вот и буря — пошумела над сопками, поярилась над тайгой, унеслась в другой конец света, чтобы там раскачать волны морские, пометаться по лесам. А если не хватит сил добежать до другого конца света, можно и уснуть среди океана, дать себе роздых. А потом с новыми силами покачать корабли, поерошить зелень тропиков. Буре полёт, буре размах...

Вышел Макар на охоту. Пёс оказался впервые в тайге с охотником, но смекнул, что от него требуется. Поймал след двух изюбров и погнался на отстойник. Не прошло и получаса, как звери оказались зажатыми на узкой скале. Макар заспешил на лай. Подошёл к отстойнику, с одного выстрела убил самца-изюбра, но самку не стал стрелять. Поймал Бурана на поводок и отвёл от зверя. Долго ещё стояла изюбриха, блестя на солнце серебристым извоянием, косила глаза на собаку и человека, не решалась уйти со скалы. Буран рвался с поводка, не мог понять, почему не убивает второго зверя хозяин, но Макар всё тем же ровным голосом успокаивал пса:

— Пойми, дурия голова, ить это самка, а она сейчас на сносях. Родит, може, одного, а може, двух телят. Знать, их будет три... Пусть живёт. В такую пору мы сроду не стреляем самок. Пойми, сроду. Если бы стали стрелять всех подряд, то через десяток лет стрелять бы было нечего.

К счастью, самка сбежала, и пёс утих.

— Светлая голова ты, Буран. Всё понимаешь, ещё бы говорить уметь. Вот не дал же Бог тебе речи. Ну ничего. Ещё на кабанах тебя спытаю — и будя. Мяса нам хватит по-за глаза. А за медведя, что я раздал беднякам, Хомин-то не на шутку обиделся. Говорит, надо бы, мол, продать мясо. Жаднеет человек.

Макар взял пса на кабанью охоту. И не успели они миновать седловинку, как Буран бросился в распадок, где кабаны остановились на днёвку. Пёс звонко залаял, кабаны сорвались с лёжки и метнулись в разные стороны. Буран с ходу хватил одного секача, тот крутнулся и встал задом к дубу. Макар вскинул бердану, ахнул выстрел, смертельно раненный кабан заковылял по снегу, забился. Буран оседлал зверя и, пока подбежал Макар, успел придушить подранка.

— Ну вот и всё, — почёсывая затылок, сказал Макар. — Ежли найдётся хозяин, всё золото ему отдам за тебя.

Макар на том и оставил охоту. Суетился на пасеке. Выставлял пчёл на улицу, слабые семьи подкармливал медовой сытой, выметал из даданов отсев, отмершую пчелу.

Сошёл снег, повеяло теплом. Пёс слонялся по пасеке, грёб лапами старую листву, дремал на смолистых стружках, томился. Он не раз подходил к Макару, смотрел в его глаза, приседал на передние лапы, лаял, звал в тайгу. Макар журил: «Ну чего тебе не сидится? Нет сейчас охоты: зверь после бескормицы худой, пушнина полиняла. Сиди дома».

Но Буран не захотел сидеть дома. Ранним утром он убежал в тайгу. Макар встревожился, хотел идти искать его. Но пёс вернулся, и не один. Он нёс на спине убитую им косулю. Подошёл, положил трофей к ногам хозяина, завилял хвостом, ожидая ласки. Макар плюхнулся на пустой дадан, не в силах выговорить слова. Рот в перекося, в глазах страшилка. Бывали и у Макара такие собаки, которые легко догоняли косулю, особенно по весне, когда косули слабы, но, чтобы принести домой, такого он ещё не видел. Откуда было знать Макару, что в крови Бурана есть и кровь волков? Волков, которые бросают убитого ими зверя на спину и легко уносят в своё логово. Опомившись от удивления, Макар заговорил с собакой:

— Вот ястри ты в нос, да рази так можно варначить! Ты ведь всю живность в моём уголке передавишь. К тому же самку ухайдакал. Пошли в ледник, там ты увидишь, сколько у нас мяса. — Макар повёл пса в ледник. — Смотри, вона лежит туша кабана, вона изюбра, вона пять косуль. Куда нам ещё? Вот наступит пантовка, пару пантачей подстрелим. Будет снова едома и деньги. Ведь панты стоят дорого. Потому нишкни! Чтобы я не видел такой шалости! — строго заговорил Макар.

Пёс впервые в голосе хозяина услышал недовольные нотки. Поджал хвост.

— Без моего спроса ни шагу в тайгу! Понял ли?

Буран отошёл в сторону. Не мог он понять, в чём его вина. Косулю гонял больше часа, долго она водила его по кругу, пока пёс не догадался по-волчьи срезать кривую. Срезал и догнал зверя. А потом нёс эту тяжесть на спине. Она свалилась, тащил её волоком, пока не приловчился. И здесь ему нагоняй! Забился под низкое крыльцо и до вечера не выходил оттуда.

Обиделись друзья друг на друга, неделю дулись. Надоело. Первым предложил мировую Макар. Подошёл к псу, положил тяжёлую руку на голову и ровно заговорил:

— Вишь, какое дело-то, Буран, здесь мы с тобой хозяева, потому и должны сами радеть за таёжную живность. Ведь она без призора, никто её не жалеет, бьют все, кому не лень. А мы-то люди, мы должны жалеть зверя, без времени и без меры не убивать. В это время всякая тварь водит за собой дитя. Вот в той косуле было два мальчика, они так и не увидели свет. Ты их убил. Непорядок это.

Понял пёс хозяина или нет, но больше без Макара не ходил в тайгу. Мир был восстановлен. Да и жить скоро стало веселее. Пчёлы понесли мёд с бархата, с клёна. Ивайловские ребятишки сбегались к Макару, помогали ему крутить ручку медогонки, Макар кормил их мёдом вволю. Потом они затевали игру с Бураном. Тот сразу понял, чего от него хотели дети. А они хотели, чтобы Буран играл с ними в прятки. Что же, согласен. Вставал головой к омшанику, ждал, пока все разбегутся, а потом шёл искать. Он находил ребятишек под крыльцом, на деревьях, даже на чердаке, куда, конечно, не мог забраться, и отчаянно лаил. Одного он не мог понять, почему они бегут к омшанику и громко кричат:

— Тук-тука! Тук-тука!

Хорошо на душе у Макара, улыбается он, глядя на игру Бурана и детей. Заглядывают к нему мужики на кружку свежей медовухи. Зашёл однажды и Хомин, решил сгладить прошлые размолвки. Но тут ещё глубже вошёл в трещину клин. Смотрел, как чужие дети едят ложками мёд, не удержался:

— Васька, стервотина, ешь мёд-то не ложкой, вылезет на пузе, пчёлы тебя заедят. — Повернулся к Макару и горячо заговорил: — Макар, да разве так можно? Ить это деньга хальная в их пасти лезет. Ты что, сдурел, старик?

— Пока нет. Они едят божий дар, пусть едят. Поешь и ты. Не жалко.

— А мне жалко, Макар Сидорыч, ты ведь добро на ветер пускаешь.

— А вон и твои плетутся «пчёлки». Тоже мёду захотели, — кивнул Макар на хоминский выводок. Де-

ти Хомина, словно гуси, растянулись цепочкой по тропе. Чинно, по росту. — И для них тебе моего мёду жалко?

— И для них жалко, ведь это деньги. Ребятишки и на хлебе проживут.

— Скажи, Евтих, отчего люди перестают быть людьми?

— А что, я стал нечеловеком?

— Ты стал брандахлыстом. Помнишь, я тебе добыл трёх изюбрей, что ты с ними сделал?

— Продал.

— А как?

— Как все продают.

— Ежли бы как все, а то ведь ты смешал изюбину с мясом дохлой коровы и продал за свежину.

— А тебе что, не всё равно, как я продал? Ну, Макар, быстро ты забыл, кто выволок тебя из реки! — взъярился Евтих.

— Ах вот ты о чём? И ты скоро забыл, кем был. Теперь ты сам уже не работаешь, только указываешь, полон двор работников. Кто тебе дал их? Молчишь! Верно, что память людская с гулькин нос. Вон отсюда, не могу смотреть на тебя! Вон!

— Ну погоди, ты ещё меня вспомнишь! — крикнул Хомин, вскочил на коня и ускакал на свои пашни.

— Ешьте, дети, пчёлка носит мёд для себя и для людей. И не слушайте Евтиха, мёд на пузе не выстывает. Это он от жадности говорит. Ешьте, всем хватит.

И верно, всем хватало. У Макара сто пчелосемей. За один медосбор они приносят столько, что одному Макару за пять лет не съесть. Мёд он не продавал. Зачем? Пусть все едят.

После сладкой еды ватага детей бежала на берег реки. Бежал с ними и Буран.

На реке мальчишки ловили жирных линьков, хариусов и вечером варили с Макаром отменную щербу в чугунном котле, в котором Макар топил воск, варил панты. Шёл дружный ужин, ели кто из чего: из котелков, чашек, плоских туюсков — добро, ложек было с избытком, их Макар настрагал в долгие зимние вечера. Потом начиналось чаепитие с мёдом. От чая пахло лимонником, тайгой и дымом. После всего открывалась таёжная школа, у Макара была заведомая цель: приучить детей не бояться тайги.

— Что есть тигр? — спрашивал Макар. — Васька, отвечай.

Вихрастый Васька сильно шмыгал простуженным носом, вёл голубыми глазами по зелени сопки и, сам похожий на молодой дубок, отвечал:

— Тигр — самый сильный зверь в тайге. На человека зряшно не нападает, ежли не ранен и здоров. Матка за детей дерётся славно. Она опаслива, ходит очень осторожно, как кошка, можно и не услышать её шага.

— Верно. Шёл я по осени с охоты. У обрывчика на меня нанесло дурным духом. Принюхался, чую, давлениной пахнет. Начал с обережкой подходить к обрывчику. Заглянул туда и застыл столбом. Под яром играли два котёнка тигровых. Ну всё у них кошачье: беззлобно тискали друг друга за шеи, убегали, катались, придавливали лапами... Вот ты, Федьша, скажи, что бы ты сделал?

— Я бы снял бердану и перестрелял котят, потому как в прошлом году тигр унёс у нас тёлку.

— Перестрелял бы? Один? Вернулась бы самка, глянула, что котят нет в живых, что бы она сделала? Ответь-ка, Саня.

— Она бы догнала Федьку, — подал голос Санька, — и ночью, как мышонка, прихлопнула бы его.

— А я был бы у костра. Звери огня боятся, — упирался Федька.

— Боятся, говоришь? Нет. Звери боятся только большого пожара, — вёл свой урок Макар. — Костров и низовых пожаров они ничуть не боятся. Вот был случай с охотником Исааком. Спал он у костра, проснулся оттого, что на лицо упали капли воды. Думал, дождь начался. Открыл глаза и себе не поверил: медведь забрёл в речку, окунулся, подошёл к костру и, как собака, отряхнулся у огня, притушил его. Кто знает, для чего он это делал. Озорвал ли или хотел Исаака поломать? Угнал его Исаак криком. Может, это байка, а вот я сам видел, когда дикие кабаны шли за пожаром, был низовой пожар, и поедали поджаренные жёлуди. А раз видел, как по кромке низовика спокойно бродили изюбры, потому как знали, что такой пожар им не опасен. Боятся они пожара-верховика. Значит, у костра ты от тигрицы не спасся бы. Не спасся бы и днём. Вот и смекай... Ваньша, что бы ты сделал?

— Я бы тихонечко, тихонечко отошёл от тигрят, назад шёл бы по чистым местам, минуя чащи.

— А ночью?

— Что ночью? Ежели я не тронул тигрят, на кой я тигрице?

— Молодец, ястри тебя в нос! Правильно. Я тоже не тронул её тигрят, разошлись мы мирно. Да и зачем мальцов бить, всяк зверь в тайге к месту.

Закат потух. В чащах замерцали первые светлячки. Вот два из них спарились и ровно летели, мерцали холодным светом, будто глаза волка. Тишина. Вдали слышался рокот переката, назойливо наседала мошка. Первобытность и покой. Макар продолжал:

— Дело было так: шёл я с пасеки, без оружия, в руках у меня были сапожные колодки. Хотел я себе дома новые ичиги пошить, иду тропкой, вышел на полянку, и, гля, навстречу идут два красных волка. Увидели меня, шерсть дыбом, оскалили клычины. М-да. Гришка, скажи, кто есть красные волки?

— Красные волки — самые злые волки в тайге. Они мельче серых, но могут и среди лета напасть на человека. С осени сбиваются в стаи и секут скот и зверя почём зря. Серые же собираются в стаи только в гон.

— Верно. Красные волки — самые ловкие волки. Однажды на моих глазах они растерзали бурого медведя. Навалились всем скопом и придушили. А вот серые медведя стороной обходят. Потому и надо при встрече с красными волками быть осторожным. У меня же в руках одни колодки сапожные были...

— Так надо было стучать колодкой об колодку! — подал голос один из будущих охотников.

— Верно, так я и сделал: не побегал, а начал стучать колодками, кричать и первым двинулся на волков. Подались они от меня, в сопку сиганули, и я туда, чтобы их подальше отогнать. Для чего я такое делал? Чтобы спину зверям не показать. Простой пример: побегите вы от малой собачки, она за вами вслед бросится, мол, боятся, знать, она страшна. Вот и медведь чаще со спины бросается, но тот особенно глаза человеческого боится, потому и сдирает с головы человека кожу, чтобы глаза закрыть. Всякий зверь страшится человеческого глаза. Спытайте это на кошке дома, смотрите в глаза, тут же отведёт в сторону свои. Страх — штука прилипчивая, струсил — пропал. Струсь я тогда, разорвали бы меня волки, хоть и время было осеннее. Страх есть у каждого, но страх ли это? Ежели кто мне скажет, что он ничего не боится, с таким я в тайгу не пойду, он непременно драпа даст. Все боятся, но здесь главное — не терять голову. Говорят, заяц трус. Но трус ли он? Защищаться ему нечем. Одно у него спасение — в его ногах. Тигр, говорят, храбр, но так ли это? Прежде чем тигрёнок станет умным и храбрым, мамаша три года водит его за собой, учит зверя добывать и не бояться. Медведь тоже не трус и много умнее тигра, но и его ежели пугнуть, такого драпа даст. А вот трусливы ли волки? Думаю, что это самый храбрый зверь в тайге и самый умный, самый осторожный. Можно годами ходить и волка не увидеть, если он чует, что ты идёшь с ружьём. А без ружья вышел, то извольте, он тут как тут. Будет стоять и скалить зубы. Хитрый зверина. Жил у меня заяц, скоро он понял, что я его защита, так он стал загонять Жучку под крыльцо; бывалоча, начнёт её молотить лапками, так что собака ажно визжит от боли. Храбрым заяц стал, потому как понял, что ему некого бояться.

— Дядь Макар, а рысь опасна ли?

— В тайге опасных и неопасных зверей нет. Все чуть да опасны. Меня один раз едва козёл не забодал. Стрелял я в него, заднюю ногу пулей перебил, козёл убегать. Я за ним, догнал, не стал патрон тратить на него, схватил за рог, а второй рукой нож достаю, ружьё в сторону поставил, а он как двинет меня рогом

под бок, я и сел назад. Второй рукой за рог поймался. Козёл прет на меня, рога перед лицом мелькают, вот-вот всадит их мне в шею. И сижу я неловко, не могу свалить козла на бок. Начал звать на помощь друга. Прибежал он, в упор саданул козла. А я упал на траву и отдышаться не могу. Во, значит, и козёл страшен, коль без ума к нему подходить. А рысь и того больше. Затаится на дереве, смешается с листвой, попробуй заметь. Но ты должен её заметить, не то беда. Сиганёт на спину, и пропал. В тайге главное — не ходить одному, упал ли, ногу подвернул, особенно зимой, то и пропал, зверь навалится, и помочь некому.

— А почему вы всегда один?

— А потому что единомышленника нет. А разве можно ходить с человеком, коль у него другая думка в голове?... А вы, как дорастёте до охотников, ходите парами. В ваши годы друга можно найти. Ну, а теперь марш по домам. Скопом пять вёрст быстро отмахете, да маленьких не бросайте. Буран вас проводит. Не бойтесь. Разговор о страхе мы уже затвердили. Кто шибко боится, может у меня ночевать.

Но после такого урока даже самый маленький, пятилетний Сёмка, и тот отказался ночевать у Макара, смело пошёл с ватагой. Впереди — Буран, он точно выполнит наказ Макара и проводит детей до Ивайловки...

Так и жил Макар. Привечал детей, звал в гости взрослых. К нему шли, ели, пили, «транжирили» мёд, как говорил Хомин. Но Макар рад, что его не обходят люди, Макар живёт для людей.

И всё же наговоры Кузихи сделали своё дело. Шли к нему люди с опаской, прежде чем перешагнуть порожек поскотины, творили молитвы, чтобы отвести от себя дьявольское наваждение.

Макар и Буран с радостью встречали гостей. Макар с улыбкой, Буран незлобивым лаем, к каждому ластился, скулил. Иногда спрашивали:

— А он злой ли?

— С чего ему злиться, хозяин покладист, и он в него. Для меня важен не просто пёс, важно, с кем бы словом обмолвиться.

При этих словах гости ёжились, косились на пса, но добродушный хозяин этого не замечал. Не догадывался старик, что он давно уже оговорён в народе.

Макар за зиму, после ссоры с Хоминым, снова добыл прорву пушнины. Продав добычу проезжим скупщикам, а все деньги раздал беднякам, себе чуть оставил. Узнал про это Хомин, прибежал, упал на колени, обнимал и целовал грязные унты Булавина, просил:

— Макар, милый, не отдавай деньгу голытьбе! Мне, мне отдавай! Молиться за тебя буду денно и нощно!

Тошно и противно было Макару такое видеть и слышать. Ведь Хомин вошёл уже в силу, собирался

строить паровую мельницу, поговаривали, будто его изберут волостным старостой.

— Прочь уйди. Работников кормишь плохо, скаредничаешь, платишь мало. Уходи, второй раз го-ню, больше не приходи. Наши дороги на расстань пошли!

А зловредная Кузиха теперь уже на каждом перекрёстке твердила, что Хомин продал душу дьяволу, Макар его околдовал. Теперь вот другим даёт за так деньги — тоже неспроста. Но, как бы там ни было, бедняки не отказывались от Макаровой помощи.

4

Четыре года прошло с тех пор, как Макар Булавин подобрал Бурана в тайге. Пёс стал больше любого волка. Один брал молодых кабанов, двухгодовалых изюбров. Догонял свою жертву, крепко хватал за бок, что есть силы тормозил лапами, изюбр осаживался; потом пёс резко отпускал зверя, тот тыкался мордой в снег, Буран прыгал ему на шею. Давок мощных челюстей, истошный рёв, и тишина...

Случалось охотникам видеть, как берёт зверя Буран, и эти умные таёжные люди тут же впадали в суеверный страх, твердили: «Так может сделать только дьявол, простой собаке это не под силу будет».

А Кузиха продолжала подливать масла в огонь:

— Мой Кузьма видел, как эта дьяволина задавил огромного медведя. Что ни говорите, это чёрт, а не пёс. Кто видел, чтобы собаки давили медведей?... Хомин и другие богатеют от его дьявольской силы.

— Помолчала бы, Кузиха, сами-то вы кто? Дьяволы и мироеды! — осаживал Кузиху Шишканов. — Макар самый правильный человек, только одного не может понять, что его помощь иным идёт во вред.

— Мы своим горбом всё это нажили.

— Это так, никто не спорит, а теперь чужими руками гребёте жар из загнетки.

Макар не слышал этих разговоров, знай бродил себе по тайге, добывал зверя. Однажды шёл он в сторону Поляных, чтобы там проверить ловушки. В тайге стояла морозная тишина. Над проталинами висел густой пар. Сопки подёрнулись куржаком, покрылись изморозью ели, кедров. Поскрипывал снег под унтами. Пёс бежал впереди Макара и обнюхивал беличьи следы. Скоро он бросился в сторону, залаял. Макар повернул на лай — зачем оставлять белочку, сгодится. Вошёл в гушару ельника и тут спиной почувствовал, что кто-то на него смотрит. Поднял голову, круто развернулся и увидел в развилке старой ели барса. Его светло-рыжее, в темных пятнах тело напряжилось — зверь приготовился к прыжку. Макар сдёргнул с плеча бердану, но было поздно. Барс уже ринулся на Макара в распластанном полёте. И в ту же секунду пёс сильно ударил лапами в спину Ма-

кара. Старик отлетел головой вперёд, зарылся в снег, но тут же вскочил и увидел, как, поднимая клубы снега, дрались пёс с барсом. Зверь был крупнее пса, почти полтора метра длиной. Но Буран не уступал ему. Однако у Бурана были только клыки, а барс рвал пса зубами, сильно ранил когтями. Макар, не раздумывая, прыгнул в эту свалку, ударил ножом барса, барс взревел, хватил охотника за рукав дошки, вырвал клочок и ранил руку. Но человек и собака оказались сильнее зверя.

После жаркого боя пёс упал на снег, истекая кровью. Макар быстро сбросил с себя дошку, сдёрнул пиджак, рубашку и начал кутать в свою одежду Бурана. Затем, кое-как спеленав раненого пса, понёс его к дороге. Там упросил мужика довести их до пасеки.

Следом сплетни: мол, дьявол для хитрости дал барсу ранить себя, чтобы проверить преданность Макара.

Макар залепил раны пса пихтовой смолой, уложил на топчан и не отходил от него. Через пару недель они снова ушли в тайгу.

Случаев, когда пёс спасал Макара, набралось много; не любил Макар зряшно молоть языком, но всё же кой-кому рассказал о смелости, преданности и силе Бурана.

Слава о бесстрашном и умном псе перенеслась через перевал. Рассказанным заинтересовался Безродный: по приметам сходилось, что это его Хунхуз. Но как-то всё времени не хватало ему наведаться к Булавину на пасеку.

5

Осенью, когда сопки полыхали жаркими красками, Макар, оставив пса на попечение бабки Трошихи, решил сходить в Сучан. Там нашёл его далёкий родственник Трофим Булавин, который также порвал со староверами и работал шахтёром на Сучанских угольных коях. Макар шёл, чтобы помочь Трофиму, а ещё и поговорить с ним по душам, проведать у рабочего человека, отчего люди такие, а не эдакие. Налил в туески мёду, сложил деньги в карман и ранним утром вышел.

Шёл не спеша по едва приметной тропинке, вывершил Ямутьхоузу и оказался на перевале. Вечерело. Вдруг впереди он услышал частые выстрелы, истошные крики, матерщину. Осторожно раздвигая кусты, выглянул на полянку. Здесь двое бандитов добивали корнёвщиков. Макар сдёрнул с плеча бердану, поймал на мушку одного бандита, но руки задрожали, налились непривычной слабостью, задрожали колени. Он медленно осел на листву.

Бандиты убили пять удэгейцев — остальные корнёвщики убежали по склону вниз; бросились к убитым, сорвали с плеч котомки и тут же, Макар и

опомниться не успел, скрылись в распадке. Понеслись топот копыт, треск чащи. А Макар сидел на земле, ловил ртом воздух, держался рукой за сердце. А когда пришёл в себя, почти бегом побежал по тропе в сторону речки Сучан. Шёл всю ночь и часть дня. В городе не стал искать Трофима, а прямо пошёл к приставу. Сильно волнуясь, рассказал о том, что он видел на перевале. Описал приметы бандитов, чётким, старинным почерком подписал показания.

Ночевал у Трофима, а утром его вызвали и велели вести казаков с приставом на место убийства.

Макар привёл. Убитых похоронили. Дальше Макар повёл казаков по следам убийц. Следы привели на таёжный тракт, затем свернули с него к сопкам, в сторону Ольги. Пристав отпустил Макара, надеялся, что перехватит бандитов перед Ольгой, пошёл тропой через перевал. Но бандитов не нашли, следы затерялись в тайге.

Минул почти год после убийства корнёвщиков. Буйно цвела липа, пчелиный гул стоял в небе. Макар со своими молодыми помощниками едва поспевал откачивать мёд. Вечерами усталые, изжаленные пчёлами, но довольные мальчишки возвращались домой. Макар и Буран оставались вдвоем. Любил старик посидеть на крыльце избышки в такие вечера перед дымокуром, послушать тайгу, поговорить с собакой.

А вечера в это время какие-то особенно звонкие. Уркнет перекат, вздохнёт сонный плёс, тихо прошуршит листвою липа — слышно; а за деревней кто-то кричит Жданку — корову. Над рекой кудрявятся туманы, плывут на закат неспешные тучи...

Солнце зашло за сопку. Ещё сильнее запахло липовым мёдом, тайгой и рекой. В кустах заливался уссурийский соловей. Мимо пролетали на свой ночлег вороны.

К Макару подошёл Буран, положил голову на колени, закрыл глаза. Ждал, когда Макар заговорит и начнёт выбирать из шерсти клещей.

Не успел Макар заговорить, как Буран сорвался с места, насторожился, зарычал.

К изгороди подъехал всадник. Буран с лаем бросился на него. Но тот спокойно остановил коня под липой, схватился руками за сук и легко взобрался на дерево. Конь отошёл от липы и начал щипать траву. Пёс остервенело прыгал на дерево, пытался достать человека. Макар ещё не видел, чтобы его пёс так злобился.

— Хозяин, убери пса!

Макару голос показался знакомым. Но не мог вспомнить, где он его слышал. Подбежал к псу и оттащил от липы. Затем увёл его и закрыл в омшанике.

— Плохо же вы встречаете гостей, Макар Сидорович Булавин.

И тут Макар вспомнил, где и когда он слышал этот голос. Несомненно, это один из тех бандитов, что убивали на перевале корнёвщиков.

— Не догадываешься, зачем я к тебе пожаловал?

— Зачем гадать, скажите, — ровным голосом ответил Макар, но внутри как-то стало пусто.

— Веди в дом, там поговорим... За псом я приехал, — хрипло сказал незванный гость, присаживаясь на лавку. — Мой пёс. Хунхуз. Сорвался с цепи, убежал в тайгу, а ты подобрал его — и молчок. Так таёжники не делают.

— Неправда, об этом псе я всем говорил, но не нашёл его хозяина.

— Спасибо Хомину, навёл на след.

— Хомину?

— Ему. Описал пса, назвал его дьяволом. И верно, не пёс, а дьявол. Не забыл обиды. Плетью я его учил быть смиренным.

— Пса я нашёл издыхающим в тайге, отходил его. Он у меня живёт четвертый год с лишком. Я готов признать, что пёс твой, что он не забыл плети, но я не отдам тебе его на изгал. Мы с ним теперь уже до конца. Как вас звать-величать?

— Безродный Степан Егорович. Но суть не в собаке. Я заехал к тебе по более важному делу, спросить заехал, как это ты, таежник, посмел доносить на людей. Такое в тайге не водится.

— А про что доносить-то? — притворился незнающим Макар.

— Аль забыл, как вёл по моим следам казаков?

— Так вот оно что! Тогда я не знал, кто бандиты, теперь знаю точно, теперь уж донесу, куда следоват. Каторги тебе не миновать.

— Миную, миную, Макар Сидорович. Очень даже просто миную. Твой донос дорого мне обошёлся, думаю, больше не посмеешь. Ведь я буду говорить с тобой через вот это, — выхватил Безродный наган из-за пазухи.

— С этим и вовсе не получится. Убери пукалку. Я пуганный.

...Буран метался по омшанику, прыгал на дверь, но открыть не мог. Увидел щёлочку под бревном, пол был земляной, начал подрывать нору. Долго работал мощными лапами, пока не прорвался на волю. Бросился к избушке...

— Я всё же русских кровей мужик. За меня будет кому постоять. Не мышонком же ты проехал по тропе, кто-то видел тебя.

— И всё же ты дай слово, что больше не донесёшь на меня.

— Такого слова не дам. Донесу.

— Кому? Те, кому донесёшь, мною куплены.

— Тогда чего же ты боишься? Боишься, что всё же есть честные люди. И быть тебе на каторге.

Безродный зло усмехнулся:

— Дурак ты, Макар, справедливости ищешь, всех хочешь обогреть, а люди на тебя плюют и называют колдуном. Души их, говорят, дьяволу ты продаёшь. Над тобой смеются, тебя ругают, про пса говорят — «дьявол», «чёрный дьявол».

— Ну и пусть.

— Ну хватит. Давай ближе к делу. Если ты донесёшь на меня ещё, я тебя убью, как тех манз. Будешь молчать — пусть пёс остаётся у тебя.

— Покупаешь?

— Только так. Здесь всё покупается.

— Макара ты не купишь. Не продаётся.

Безродный вскинул пистолет, но в эту секунду распахнулась дверь, и на пороге остановился пёс. Шерсть дыбом, в глазах волчьих огоньки. Безродный подался назад и опустил револьвер.

— Ну что же ты? Стреляй! Хвастал, комару в ухо попадаешь, а тут трусишь.

— Если бы я мог взять вас обоих на одну пулю, выстрелил бы, а так — погожу. Время ещё есть. Плати за пса, и я ушёл.

— Буран, лежать! А ты подай-ка сюда револьвер-то. Мало ли что.

Безродный подал Макару револьвер, а сам следил за каждым движением собаки. Он боялся её. Ворожбы Цыгана боялся.

Макар порывлся под подушкой, достал кожаную сумку, высыпал на стол сорок рублей золотом.

— Забирай, на эти деньги можно десяток собак купить. Буран того стоит. На чёрный день себе оставил. Обойдусь. Об одном прошу: не крутись возле нашего заплота. Макар терпелив до времени.

— Постараюсь, — криво усмехнулся Безродный. — Сейчас твоя взяла. — Он сгрёб со стола деньги, бросил: — Проводи!..

Солнце опалило небо старой медью, погасло.

Макар с трудом добрался до койки, упал на нее и тихо застонал. Выходит, всё, что Макар делал, людьми осмеяно, затоптано в грязь. Евтих послал сюда Безродного. А за что? Ведь у Евтиха всё есть и ещё может быть столько же. Ночь прошла в глубоком раздумье... Макар не раз себя спрашивал: «Зачем я жил? Искать счастье в добре к людям. Не поняли люди». Утром вышел на пасеку, а тут его уже ждали помощники постарше — у каждого пустой туес, ведро ли.

— Значит, помогать мне пришёл, Мефодий? — с усмешкой спросил Макар.

— Конечно, кому, как не тебе, помочь.

— А зачем же туес-то прихватил?

— Може, за работу медку дашь.

— А если ты за так поработаешь? Ведь я вам всё даю за так.

— Оно можно было бы и за так, но ить и нам бы хотелось медку.

— Знамо, хотелось, а вот скажи, Мефодий, для чего ты живёшь?

— Живу для чего? Хм, чтобы жить, детей растить.

— Хорошо. А для чего живёт Макар? Я для чего живу?

— Это уж тебе знать, для чего, может...

— Ну, ну!

— Да вот, говорят люди, что, мол, ты живёшь, чтобы наши души...

— Дьяволу продавать?

— Ага, — согласно закивал головой простоватый Мефодий.

— Так зачем же ты пришёл сюда? Душу мне продать?

— Да нет, есть ли тот дьявол, кто знает?

— Вот что, уходите, все уходите! Не могу я видеть вас. Оказывается, добра вы не понимаете. «Все говорят...» — тяжело вздохнул Макар. — Уходите. Может, и верно, всё это у меня идёт от дьявола. Может, и верно, что дьявол-то, выходит, добрее Бога. Эх, знать бы мне правду! Всё, люди, уходите! Для вас больше нет Макара.

— Умом трёкнулся старик, — сокрушался Мефодий.

— Не старик, а ты разум потерял! — сказал мужик с бородой. — Кто тебя тянул за язык такое говорить? Наелись медку. Да пусть он хоть сто раз дьявол, помогал бы нам, и ладно. И таких дьяволов бы нам побольше. Был ты дурачком, Мефодий, им и остался. Правдивец нашёлся. Выгнал нас Макар. Пошли, чего столбами стоять...

В деревне разговоры и пересуды. Больше всех кричала Кузиха:

— Сам он признался, что дьявол. Надо спалить дьявольское гнездо, как это сделали староверы. Спалить!

Клич опасный. Клич, на который тёмный от суеверия народ мог и пойти. Но вмешался Валерий Шишканов, он спокойно сказал:

— Глупый народец! Разве Макара-добряка надо палить? Вы у себя кого палили, когда бунтовали?

— Помещиков.

— Вот и палите Кузьминых, Безродных, тех, кто вас обирает, а не того, кто вам подаёт. Макар вас всех грел, а вы ему в ответ клевету и чёрную неблагодарность. Эх, люди, люди, тьма беспросветная!

— А ты просвети! Просвети, допрежь обзывать! — орала бородачи.

— Вот и просвещаю. Макар всё делает для людей, для добра. Только Макар многого не понимает: поднял Евтиха, а Евтих его теперь оговаривает, потому что Макар больше не подаёт мироеду. Вон Гусев от Макара в богачи прёт, а выходит, что доброта Макара идёт не в пользу, а во вред. Но Макар в том не виноват. Тут надо смотреть дальше. Искать причи-

ны, почему есть бедные и богатые. И почему богачи делаются зверьми. А вот мог бы таким же стать Макар, да не стал. Честный он и добрый.

— Не слушайте его, — орала Кузиха. — Макар дьявольский пособник. Спалить его надо.

Но Кузиху уже никто не слушал. Шишканов заставил-таки мужиков думать. Так и разошлись.

Макар сидел у стола и одну кружку за другой тянул медовуху.

Вошёл Шишканов:

— Бражничаешь, Макар Сидорыч? А пчела-то в меду топится.

— А пусть топится. Мне уже хватит. Садись, выпей, да поговорим по душам. Ты из тех, кто правду ищет. Но только скажи, где она? Ну где та правда?

— Правда в людях. В людях правда.

— Так отчего же они меня оболгали? «Колдун, чернокнижник, дьявольский приспешник». Отчего, скажи?

— От темноты своей, от суеверия, Макар Сидорыч. Ты на людей не обижайся. Придёт время, поймут они тебя, твою доброту оценят, придут, попросят прощения.

— Придут! Сколько они раз приходили, и ни один правды не сказал. Ведь от кого я всё узнал? От убийца Безродного. Знаешь такого?

— Как не знать. На моих глазах этот пёс чуть его не порвал. Баба в Безродного стреляла, не дал убить Хомин. Признал ведь и я того пса, но промолчал.

— Это ты правильно сделал. Отдать злодею такого пса грешно.

— Я ещё там слышал, что на Безродного кивали мужики как на убийцу. Об этом мне говорил мой коreshok Гурин, тоже из ссыльных.

— Бунтовщик, значит... Но я о другом хочу тебе рассказать. Ведь Безродный-то ко мне приходил, грозил убить. Я донёс про убийство корнёвщиков на перевале, но не знал тогда, что убийца Безродный. Вот хочу снова написать самому губернатору, фамилию бандита хочу сообщить.

— Где и как было дело, расскажи подробнее, — попросил Шишканов.

Макар рассказал.

— Где бумага? Давай писать. Пусть от этого мало изменится, но хоть одним подлецом будет меньше на земле.

— Но он говорил, что купил всех.

— Всех не мог купить, хотя там честных людей и мало.

— Вот и я думаю, а вдруг прищемлю хвост Безродному?

— Пиши, Макар, завтра я ухожу в город. Дела есть, вот и передам всё в надёжные руки. И губернатору.

Макар долго и подробно писал письмо губернатору, выводил вязью буквы: «Ваше превосходительство губернатор, это я пишу не для праздного доноса или мести, это всяческая правда. Безродный — убивец и бандит... Внемлите разуму и приструните Безродного...»

Ушёл Шишканов и унёс письмо в город. А когда вернулся, принёс с собой листовку, напечатанную в подпольной типографии. В листовке рассказывалось о зверствах, чинимых в тайге бандитами, которые купили пристава и судей. Она призывала бороться с угнетателями народа. Упоминалось в ней имя Безродного. Макар прочитал листовку, усмехнулся и сказал: «Может, хоть одно доброе дело зачитут мне люди».

6

Скучно и одиноко зажил Макар. Никого не пускал на пасеку, кроме Шишканова. Привязался он к этому человеку. Вёл с ним долгие беседы о жизни, о том, как будут жить люди через сто, двести лет. По всему видно было, что Шишканов уже крепко связался с большевиками во Владивостоке, поэтому убеждал Булавина, что грядёт такое время, когда против царя и неправды встанет стар и мал.

— Вот и надо собирать народ, а ты гонишь его от себя.

— Но ведь оболгали. Ты не думай, что я против людей. За них, и только за них, но и меня надо понять, дать роздых душе моей. Болит. Ушибли здорово. Вот подживёт, и вернусь я к людям.

— Вертайся, но только не делай так, как делал с Хоминым. Всех таким манером не выведешь в люди.

— Это верно. Сделал я из Хомина настоящего брандахлыста. Да и сам же в плохих оказался.

Многое, казалось, понял Макар, но ту черту, что пролегла между ним и народом, перешагнуть не мог.

Шишканов видел, что Макару тяжело приходится. Не раз заходил к нему, чтобы поговорить, успокоить человека. И, может, Шишканов достиг бы своей цели, да пришлось ему надолго отлучиться в город.

Макар продолжал жить нелюдимо.

7

Начали валить снега, засыпать тайгу, рядить её в сказку. Не хотел Макар в тот год заниматься охотой: всего у него вдоволь. Но не усидел, позвала тайга. Оно и понятно, рождён в тайге, жил тайгой, и вдруг всё сразу бросить. И сила ещё была. Скучно сидеть сложа руки. Правда, в тот год было мало пушного зверя — случился неурожай на кедровые орехи, откочевали белки, ушли колонки, так как было мало мыша. Но было много кабарги. Спрос перекупщи-

ков на кабарожий пупок был большой. Вот и решил этим заняться Макар. Подправил старые изгороди, построил несколько километров новых, в проходах наставил множество петель на кабаргу.

Кабарожка живёт в ельниках и шаломанниках, зверь маленький, но чуткий, из берданы трудно добыть. Редко на глаза попадётся, мелькнёт — и нет её. Только и можно отловить петлями.

Макар не брал на такую охоту Бурана. Мог попасть в петлю пёс и погибнуть.

— Ты, друже, не тоскуй. Мы с тобой ещё по тайге побродим, — обещал он Бурану.

От кабарги Макар брал только пупок, тушки кабарожьи он бросал тут же, на месте. Раньше вывозил их и отдавал ивайловцам, а сейчас не хотел. Однако замечал, что кое-кто из сельчан подбирал тушки брошенных кабарожек, поэтому старался класть зверьков на виду. Хоть и не будет уважающий себя охотник есть кабарожье мясо, оно грубое и невкусное, но бедняки не брезговали им. Макар снимал с петель пять-шесть кабарожек в день. Ругался, когда попадала в петлю самочка, ведь у неё пупка нет, она погибала зря. Словом, охота не из приятных.

Макар притомился и присел на валежину. Скоро зазнобило тело. Вспотел, пока брёл по петлям. И вдруг, как это было тогда с барсом, Макар снова почувствовал на своей спине чей-то взгляд. Не успел оглянуться, как сзади раздался хриплый голос — навек запомнил его, — голос Безродного.

— Ну вот, Макар Сидорыч, мы и встретились.

— Другого места не нашёл?

— Узнал меня по голосу. Стой и не поворачивайся, хочу тебе несколько слов сказать!

— Узнал, рысь всегда прыгает на спину, — спокойно говорил Макар и спиной чувствовал наведённый в затылок ствол. Лихорадочно думал: «Прыгнуть за куст? Поздно. Бердану бы сдёрнуть!» Рука медленно потянулась к поясу, там был заткнут револьвер, носил его на всякий случай Макар.

— Снова ты обидел меня, Сидорыч. Твоя листовка мне стоила тысячу рублей золотом.

— Не мало. Но ведь и меня пойми, не могу я простить тебе душегубство, — всё тем же ровным голосом говорил Макар Безродному.

— Понимаю. Пытался встать на твоё место. Трудно жить таким, как ты, — добрым. Всех хотел согреть, а они тебе — кукиш. Зря ты опорочил меня. Теперь мне года на два придётся затаиться. Где Хунхуз-то?

— Осенью его кабан порвал, сдох, — соврал Макар.

— Боишься умирать?

— От тебя боюсь, поганый ты человек. Потом, даже букашке жить охота, а я человек, — говорил Макар, пытаясь оттянуть выстрел Безродного.

Макар коснулся рукой рукоятки револьвера, резко дёрнул его на себя и через плечо на голос выстрелил. Но сам уже выстрела не слышал. Упал лицом в снег, дёрнулся и затих.

Безродный схватился за раненое плечо, смачно выматерился, уронил винтовку в снег. С трудом поднял её, закинул за плечо, покачиваясь от боли и сосущего страха, что упадет, замёрзнет, заспешил к коню, который стоял за ветром в распадке. Обернулся на Макара, ещё раз ругнулся, вернулся к нему, вырвал из руки револьвер, побежал вниз по склону сопки.

Иной человек что снег: упал снежинкой с неба, смешался с другими, коротал холодную зиму с собратьями, пришло время — растаял, ушёл в реки с вешними водами. Но другой может быть камнем-глыбой, что упала со скалы и будет лежать сотни лет, вращаться в земле, а пройдут годы, её снова обмоют дожди, обдуют ветры, и глыба выйдет из земли во всём величии...

Кто Макар? Снежинка или глыба? Не думал об этом убийца, когда добирался до коня. С трудом он влез в седло и погнал своего Ястреба через тайгу.

Медленно, медленно падал с серого неба снег. Кружился, мельтешил, оседал на сопки. Безродный, истекая кровью, гнал коня к тракту. Несколько раз его чуть не выбросили из седла морозные сучья, тогда он хватался за луку седла, чтоб не выпасть. Раненая рука немела. И вот Ястреб вынес седока на дорогу, Безродный отпустил поводья. Конь галопом помчался в сторону Каменки, минуя Ивайловку.

Падал снег. В руке боль, в душе тоска. Он хотел жить. И как ему не жить, когда он стал хозяином Голубой Долины. Листовка большевиков, донос Булавина — это всего лишь мелкие неприятности. Сам пристав, сам уездный голова ездили к нему на охоту. Неделями бражничали, уезжали с полными карманами денег. Деньги — мусор. Ими Безродный мог бы выстелить двор. Другое дело золото. Золото он прятал под семью замками. Последнее время даже Груне не стал доверять его.

Вот и Каменка, и дом наставника староверов Бережнова. Давно спелись эти два человека. Виной тому Макар. Заскочил однажды Безродный к этому староверу и рассказал, какую собаку у него украл Булавин.

— А ить врешь ты, тёзка, Булавин воровать не будет.

Тогда Безродный сказал, что, мол, Макар написал на него навет, чтобы уберечь у себя пса.

— И снова врешь! Макар зря не напишет. Макар тоже мой враг. Он отщепенец, братию нашу с толку сбивает, Бога клянёт. Ну ладно, что там писал Макар, не моё дело. Одно ясно: Макар и тебе враг...

Конь влетел в деревню и остановился у крыльца Бережновых. Он знал этот дом, здесь ему будет от-

дых. Безродный мешком свалился с седла. Выбежали все домочадцы, сбежались соседи. Безродного подняли и понесли в дом. Пришла знахарка, бабка Катерина, осмотрела рану.

— Жить будет. Пуля не тронула кости, прошла по мякоти. Вылечу. Заживёт как на собаке.

Бабка Катерина знала своё дело: и кости сложит, и пулю вынет из раны, живот поправит, кровь пустит, травами напоит. Многих она подняла на ноги. Её род деревенских лекарей идёт ещё от времён Тишайшего, царя Алексея Михайловича.

Забинтовала рану, напоила раненого отваром трав, настойкой пантов и ушла...

Безродный открыл глаза. Узнал своего тёзку, чуть улыбнулся: «У своих, теперь не пропаду».

— Ну, давай начистоту, что случилось?

— Хунхузы напали.

— Не города, зимой они сроду в тайгу не пойдут, враз их перешёлкали бы. Ну чего ты от меня таишь-ся? С Макаром что-то? — упёрся жёсткими глазами в лицо Безродного старик.

— Да. Убил я его.

— Правильно сделал. Мало что Бога клял, так ещё и с большевиками связался. Читал я ихнюю листовочку-то. М-да. Значит, убил? Простит тебе Бог этот грех. Молись больше, и простит.

— Молюсь. Это он мне руку ранил.

— Заживёт. Но ты молчи. Хоть и злобятся мои люди на него за отречение от Бога, но могут тебе за Макара отомстить. Людей понять трудно. Не сразу поймёшь, откуда ветер дует. Потому молчи.

— Тебе только и сказал.

— Правильно сделал, от меня ничего не утаишь. Я человека насквозь вижу. Вижу и другое, что грядёт на нас Божье испытание. Народ колготится, может поднять сильный бунт, потому нам в народе надо иметь друзей. А пёс у него был добрый. Значит, за пса и за донос торкнул? Пёс сдох, говоришь? Жаль. Грешным делом, думал его себе прибрать. Обманул он меня тогда с собакой: говорит, мол, пристала никудышная собака, не ваша ли? Человек-моталка этот Макар. Но деревню кормил. Многим дал ходу. М-да. Но за Макара ты покайся перед Богом. Всё же человек был, — суровея, говорил Бережнов. — Но допреж давай оговоримся. Шишканова ты знаешь, он у тебя в извозе был. Заполонный мужик, всех подбивает на бунт и против Бога. Так вот, недавно он написал губернатору письмо, что, мол, староверы захватили лучшие покосные угодья, а ивайловцам ничего не оставили, те косят по сопкам. Верно это. Лучшие покосы у нас, но ведь мы-то пришли сюда первыми. Значит, наше. Словом, Шишканова надо убрать.

— Убить?

— Зачем же убивать? Смерть Макара на него свалим. Я подберу своих верных людей, и они докажут,

что Шишканов убил Макара за то, мол, что Макар отказался служить Шишканову — разносить крамольные листки. Шишканов — смутьян, в город ездит, с большевиками знается, власти сразу за него возьмутся. И на каторгу его. Понял? А ты отлежишься у нас, бабка Катерина тебя за две недели выходит. Теперь спи.

8

Буран долго и терпеливо ждал друга. Дремал на изюбриной шкуре, но, когда наступила ночь, заметался по избе. Прыгал на двери, пытался открыть их, но они были привалены бревном. Скулил.

А ночь несла на своей спине тьму и холод, несла тревогу. Буран подождал ещё немного, затем прыгнул лапами на раму. Вышиб её и выскочил на снег. Широким намётом помчался по следам Макара. Снег уже изрядно запорошил следы, но пёс их нахолил.

Он принюхивался к стёртым запахам, которые остались на веточках, пнях, там, где Макар прикасался одеждой. Бежал и бежал. И вдруг затормозил, пошёл шагом: к запаху друга примешался запах врага. Шерсть встала дыбом. Из пасти вырвался грозный рык. И тут на него наплыл запах крови, приторный и страшный. Людской крови, крови Макара. Буран припал к снегу и начал подкрадываться. Шаг — остановка, другой — снова остановка. Боялся запаха людской крови пёс. Сильно боялся. Звери что — это привычное дело. От звериного запаха ещё больше прибывает сила.

Буран шёл всё медленнее и медленнее. Вот он подкрался к горке снега. Тронул носом снег, оттуда дохнуло запахом друга. Отрыл его голову, лизнул лицо, оно было холодное, как снег.

Сильно заработал лапами. Работал и скулил. Собачий инстинкт подсказывал, что его друг мёртв. Схватил дошку зубами и выволок Макаров труп из снега. Обнюхал со всех сторон, снова заскулил, а затем завыл. Завыл зло, протяжно, с болью в голосе. Завыл в тёмное снежное небо. Так завыл, что даже шепотливый снег не смог приглушить его раскатистого стенанья.

— Ва-а, во-о-у-у-у-у, ар-р-р-р, у-у-у-у-у-у-а-а-а! — Пёс будто звал кого-то на помощь, будто просил небо кому-то отомстить. Но зов его упал за сопки, зарылся в мятущихся снежниках, рассыпался льдинками по распадкам.

Шарахнулся от жуткого воя изюбр, метнулась с дерева рысь — и заспешили удрать в безопасное место; свернул со своей дороги медведь, шедший в поисках берлоги. И даже тигр, бродяга тайги, что шёл по лезвию горы, остановился, послушал с минуту вой, в другое время он бы не преминул броситься на

воюющего, но сейчас что-то остановило его. Послушал, постоял и не спеша пошёл дальше.

Звери поняли язык собаки. Поймут ли люди?

Буран умолк. Он дал знать миру тайги, что это место только для него, чтобы никто не посмел тронуть друга. Слышишь, тайга, никто! Он сам будет волочить хозяина в дом, может быть, там он потеплеет. Снова вцепился зубами в ворот дошки, начал тянуть по своему следу. Но труп упёрся в валежину бревном, и не перетянуть. Сколько ни бился Буран, через валежину переволоочь друга не смог. Бросил. Заметался. Забегал вокруг, и вдруг сорвался и помчался назад. Проскочил пасеку, не сбиваясь с намёта, влетел в деревню. Собаки подняли истошный лай. Но Буран не обратил на лай внимания, сел среди улицы и завыл. В его голосе была теперь мольба к людям. От этого воя забегали мурашки по спинам сельчан. Бывало, выли их собаки, но так ещё ни одна не выла.

Захлопали калитки, заскрипел снег под ногами. Пса окружили, но близко никто не подходил, все видели блеск его глаз, хотя сама собака смешалась с тьмой. Прибежал с фонарём Хомин, тихо ахнул и крикнул:

— Беда с Макаром стряслась! Буран беду принёс.

— Не пёс, а дьявол, ишь развылся, — прошипела Кузиха, — ничего с колдуном не случилось.

— Мужики, пошли на пасеку! Беда с Макаром! — кричал Хомин — похоже, проснулась в нём совесть.

Мужики молчали, но, когда прибежал Шишканов и начал стыдить, ругать за трусость, зашевелились. Принесли ещё фонари, пошли следом за псом. Пёс трусил впереди, часто оглядывался, чтобы удостовериться, идут ли люди. Люди шли, не все с охотой, но шли. Молча, насупленно.

Пёс миновал пасеку и повёл людей дальше. А снег всё падал и падал. Буран завёл мужиков в тайгу. Более часа добирались до Макарова труп. Здесь мужики пытались обнаружить следы убийцы, но снег замёл их. Начали припоминать, кто ездил за брошенными тушками кабарожек, которые оставлял на снегу Макар. Нашлось человек пять бедняков, они не были охотниками и не имели ружей.

Макар враз стал близок и понятен. Не было среди этих людей такого, кого не согрел бы своей добротой Макар. И люди наперебой начали вспоминать добрые его дела.

— Пришёл я снова к Макару занять у него пуд пшеницы под посев. Дал. А потом я осенью привёз ему долг обратно, но Макар и скажи мне, что, мол, не надо вертать долга, мил-человек. Не принял, — смахивая слезу, рассказывал мужик.

— А я ему так и не отдал деньги, что он ссужал мне за корову...

— Нам он покупал телёнка...

— Мне — коня...

Хомин молчал, хмурил брови при свете запыленных факелов, мямлил бороду. Нутром чуял, что в смерти есть его вина.

А тот, кто был Макаром, теперь тихо плыл над снегом, покачиваясь в наспех сделанных носилках. Уходил из своей любимой тайги. В деревне положили его тело у ворот Хомина. Но Хомин, то ли струсил чего-то, то ли ещё по каким причинам, заупрямился.

— Это почему же вы около меня ложите Макара? Ведь все мы ему должны.

— Все должны, разве мы спорим, должны по самые уши, но ты ему должен по самую маковку. Мы брали у Макара крохами, а ты давился кусками. Да и наказ Макаров должен помнить: он завещал, чтобы ты похоронил его. Это мы много раз слышали.

— Ладно, зовите бабок, будем обмывать, — сдался Хомин, почувствовал неправоту свою.

Буранился среди людей. Подбегал к трупам, ставил лапы ему на грудь, лизал лицо, ласкался к людям, будто ждал от них участия. Но вместо этого Хомин сильно пнул пса в бок, выругался:

— Носит тебя тут, дьяволина! Пошёл вон! — замахнулся фонарём. Пёс ощерил зубы, готовый прыгнуть на Хомина. Не прыгнул, отошёл и лёг у забора, блеснул оттуда горящими глазами.

— Так ему и надо, — проспал дьявол своего колдуна, — злорадствовала Кузиха. — Отходил, чёрт старый.

— Да замолчи ты, дьяволица! — взревел Хомин. — Замолчи, старая сука, надоело слушать тебя.

— Это я-то сука, кобель ты шелудивый, поганец дьявольский! Ты заодно с колдуном, потому и разбогател.

Кузиха начала кричать, ругать Макара и Хомина.

Но Макару теперь было всё равно, кто на него зол, кто к нему добр.

К утру прибыли казённые люди. Они осмотрели труп, нашли след винтовочной пули.

— Ну, что скажешь? — повернулся пристав к волостному.

— То и скажу, что Макара, Царство ему Небесное, — перекрестился волостной, — торкнул Шишканов.

— Да ну? Этот смутьян? Да? Не верится. Ить Макар был с ним заодно.

— Потом они поругались. Староверы видели, как стрелял в Макара Шишканов. Приезжал Бережнов, обскажал мне всё, что и как.

— Непонятная история.

— Коль непонятная, надо разобраться. Страшней бунтовщиков нет людей на свете.

— Добре.

Шишканова взяли под арест, чем немало удивили сельчан. На допросе Шишканов сказал, что вчера был на охоте, но Макара не видел, да и за что бы он

стал убивать Макара, человека добрейшей души. Приехали из Каменки свидетели — Степан Бережнов и его друзья — и показали на Шишканова. Пристав торжествовал. Преступник найден, можно его отправлять в губернский суд. Одним бунтовщиком меньше будет в этом краю. Пристав получит награду, волостной — похвалу.

Между тем в народе шли шепотки, что, мол, зря Макара принесли в деревню, что, мол, надо было схоронить там, где был убит. Даже Анисья поддалась этим разговорам, шептала мужу:

— Евтих, откажись от Макара, не было бы беды от этих похорон.

Но Евтих вспыхнул, наконец совесть заговорила в нём:

— Замолчи, хватит того, что Макар мёртв!

С похоронами Макара не клеилось. Старики отказались отпевать тело богоотступника. Отказался и поп из Чугуевки. И недобрые разговоры всколыхнулись с новой силой. Кузиха побоялась, что видела, как над кладбищем поднялся огненный крест и улётел в небо. Кто-то видел, как из уже отрытой могилы выскочил дьявол с рожками и долго плясал у бровки.

Макара решили хоронить без отпевания, без панихиды. Но как бы там ни было, проводить его в последний путь собрались многие.

Шли молча. И вдруг тишину разорвал жуткий вой. На дороге, задрал голову к подёрнутому туманом солнцу, выл пёс Макара. Люди в нерешительности приостановились, с опаской обходили собаку. Хоронили возле ограды — на самом кладбище поп запретил, — молча опустили гроб в наспех вырытую могилу, кое-как его втиснули, кое-как забросали яму комьями мёрзлой земли, воткнули крест, он накрепился — не беда, колдуна хоронят. Молча заторопились по домам. А пёс всё выл и выл.

— Господи! — не удержался кто-то. — Собака плачет, а мы молчим! Что же делается? Страх божий. Враки всё то, что пёс дьявол, зачем дьяволу плакать об усопшем? Макар праведник.

Буранился то к одному, то к другому, а потом побежал рядом с Хоминим, будто признал в нём бодущего своего хозяина, но Хомин подхватил с дороги палку и со злобой сильно ударил пса по спине. Буранился и рванул Хомина за полу пиджака, чуть не сбил с ног, бросился от людей прочь.

Бережнов узнал, что пёс Макара жив, решил сам попытаться приручить Чёрного Дьявола, послал охотников на его поиски.

— Мы от него такой завод пустим! Разведём собак всем на зависть.

— А если он действительно дьявол? — сомневались староверы.

— Он такой же дьявол, как Макар колдун, — усмехнулся Бережнов. — Макар просто дурак, вос-

хотел знать больше того, что написано в Святом Писании, а много знать весьма опасно. Ищите пса и ведите сюда. Лаской ведите...

Никто не зашёл в дом Хомина помянуть Макара. Люди боялись. Кузиха пересилила свой страх, сходила на кладбище и забила в середину могилы осиновый кол. Теперь колдун не выйдет.

Буран прибежал к пасеке. Там тишина и запустение. Он бросился на кладбище. Сел на могилу, поднял голову к небу и снова завыл. Не выдержал воя Хомин, схватил бердану, что досталась ему от Макара. Анисья ухватила за рукав, запричитала:

— Не ходи! Беды бы не было! Ить он дьявол! Чёрный дьявол!

— Не ори, пусть люди знают, что я не причастен к дьяволу. А то, смотри, в колдовстве оговорят, дом сожгут.

Промажнулся Хомин, не умел он стрелять, первый раз в жизни взял в руки ружьё. Перекрестился Хомин. Постоял, постоял и пошёл домой.

Луна зашла за сопки. Не видел Хомин, как позади вдоль забора крался человек. Остановился у его амбара, плеснул керосином на стену, затем подошёл к сараю и его облил. Вспыхнула спичка, метнулся огонь. Человек кинулся прочь, побежал, пригибаясь к земле...

Буран не хотел уходить в тайгу. Пришёл в деревню, крутился по улочкам. В переулке навстречу ему бежал человек с чём-то вонючим в руках. Буран тихо зарычал. Человек остановился, в ужасе закричал:

— Дьявол! Чёрный Дьявол! — и повалился на землю. Страх убил его.

Хомин очнулся от кошмарного сна. Во сне видел, будто горит его дом, сарай. Проснулся и не поверил, что всё это происходит наяву. Выскочил в одних подштанниках. Бежали с ведрами люди, бросали на огонь снег. Но где там! Подворье Хомина уже не спасти. Ветер раздувал огонь, метал искры. Надо спасать ближние дома.

Занялся тусклый рассвет. На месте пожарища дотлевали головешки. Хомин снова стал бедняком.

В переулке нашли мёртвую Кузиху и рядом с ней банку с остатками керосина.

— Вот кто был дьяволом! — говорили люди. — Она подбивала всех против Макара.

Хомин съездил в волость, привёз пристава, волостного. Свидетелей было много, составили акты, подворье Кузьмы описали, а когда состоялся суд, всё, что имел Кузьма, отсудили Хомину. А Кузьма надел на плечи котомку и ушёл бродить по земле.

Охотники-староверы отправились по следам Чёрного Дьявола. Но пёс не шёл на их зов: он больше не верил людям. Хитрил, заводил в шаломанники, чепураги, уводил в крутяки, откуда нелегко вы-

браться. А когда снова пошёл снег, он спокойно оторвался от людей и исчез в таёжной глухомани...

В деревне все переругались. Обвиняли друг друга, что не по-людски похоронили Макара. Проклинали Кузиху, жалели Макара. Потом собрались мужики, кому больше всех помогал Макар, отрыли его могилу, поправили гроб, насыпали холм земли, ровно поставили крест.

Часть четвёртая

ЧЁРНЫЙ ДЬЯВОЛ

1

Чёрный Дьявол ушёл от людей. Зов предков вёл его в суровые дебри к суровой жизни. Он бежал день, другой, третий. Теперь он был по-звериному осторожным: не бросался очертя голову под копыта изюбров, не бежал от запаха тигра, не тревожил медведя.

У одного из отрогов Сихотэ-Алиня, куда ещё не заходил человек, где вили свои гнёзда орланы, он остановился. Отсюда было видно море. Здесь в неприступных скалах водились табуны горалов, по склонам, поросшим дубняком, паслись кабаны. Здесь была тишина.

Чёрный Дьявол вырыл в горе нору. Добывал зверей, брал их скрадыванием, как это делают тигры, а не гонял и не лаял на них. Брал столько, сколько мог съесть, не больше.

Он стал привыкать к этой жизни. И всё же его тянуло к людям. Поэтому иногда он выходил на вершину Пятигорья, с которой весь мир был как на ладони, смотрел на прихотливые изгибы Голубой реки, на далёкие деревни, на дома, похожие издали на даданы, на тихие-тихие дымы, поднимал к небу голову и долго тоскливо выл.

И вот в середине декабря в его владения зашёл человек. Пёс насторожился. Человек прошёл по тропе, долго всматривался в следы Дьявола на свежем снегу, чесал бороду, хмыкал. Дьявол крался за его спиной, местами даже полз на брюхе, чтобы остаться незамеченным. Наконец человек подошёл к логову Дьявола. Увидел груды костей и мёрзлого мяса, почесал затылок и заговорил, как это часто делает охотник, когда остаётся один в тайге.

— Хм, логово. А чей след? Не лапка — лапища. Волк? Нет, волчья лапа меньше. Тигрёнок? Так те без матки не живут в таком малолетстве. М-да... Барс? А рази те живут в таких логовах? Вот бы поймать этого незнакомца. И хитёр, дьяволина, вырыл себе нору в самом зверовом месте. Добре Розов ещё не прознал

про эту целину таёжную. Прознает — всех начисто перебьёт...

День угасал. Человек ещё немного потоптался у логова и заспешил домой.

Приход человека насторожил Чёрного Дьявола. Добыв на тропе горала, он не понёс его в логово, а съел на месте, остатки мяса зарыл в снег. И спать не пошёл в свою нору, а остался дремать в еловом распадке. Утром человек приехал к подножью Пятигорья на коне, оставил коня в ключе, сам же пошёл в гору, позвякивая капканами.

Дьяволу хорошо были знакомы эти штучки. Он ещё при жизни Макара попал однажды лапой в капкан. Хорошо — капкан был лёгкий, на колонка, поэтому ему только зашибло лапу, а будь капкан волчьим, таким, какие нёс человек к его логову, оторвало бы ногу. После того случая с капканом Дьявол обходил стороной эти железные ловушки.

Дьявол будто понял, для чего несёт капканы человек, напряжился и скрадывающим шагом крался за охотником. Один раз зашёл вперёд и, когда человек проходил мимо скалы, где затаился Дьявол, готов был прыгнуть на спину охотнику. Но удержался от прыжка.

А охотник, это был Гурин, сопя, обливаясь потом, шёл и шёл в гору. Первый капкан он поставил у самого входа в логово, второй замаскировал на тропе, третий засыпал листвой у брошенной давленины. Уверенный в том, что неизвестный зверь обязательно попадётся в его ловушки, спокойно пошёл к коню.

Чёрный Дьявол осторожно обнюхал железные ловушки, от капканов шёл тонкий запах пихтовой смолы — значит, человек капканы выварил в пихтовой коре. Дьяволу это было знакомо: его друг Макар вываривал капканы то в пихтовой коре, то в ольховой, то в валерьяновом корне, чтобы перебить запах человека.

Дьявол обошёл все капканы, снова вернулся к первому, который был поставлен под дубком. Загребая задними лапами листву, снег, мелкую щебёнку, он начал забрасывать ловушку. И вот раздался сильный шелчок, капкан сработал, сжал свои страшные челюсти. Второй стоял на тропе, с этим оказалось ещё проще: засыпая капкан снегом, Дьявол швырнул лапами на него камень, камень ударился об язычок, и капкан замкнулся. С последним, что стоял у логова, Дьявол долго возился, грёб на него снег, глину, но капкан продолжал стоять настороже. Пёс в недоумении обошёл вокруг ловушки, решил, что она для него не опасна, и наступил лапой на кучу снега. Капкан щёлкнул, подпрыгнул на месте, разбросав снег и листву. Дьявол прыгнул назад, поднялся на дыбы, но страшные дуги капкана успели прихватить ему средний коготь. Дьявол метнулся влево, вправо, но тут же притих. Понял, что пойман.

Пришла ночь. Чуткие уши пса ловили вздохи ночи, любой шепоток ветра. Страшно болела лапа, но Дьявол не заскулил. Он никогда не скулил от боли. Потом он перестал ощущать боль — зажатый в капкане коготь отмерзал. Дьявол начал осторожно выгрызать его. Было больно, но он продолжал грызть. И вот рванул лапу, грохнула цепь, за которую был привязан капкан, и пёс оказался на свободе. Отпрыгнул на трёх лапах от ловушки, утробно зарычал. Постоял с минуту у логова и поковылял по лезвию Пятигорья.

Шёл долго, пока в одной из скал не наткнулся на пещерку, вполз туда от ветра и стужи и пролежал почти неделю, зализывая лапу. Лапа опухла и сильно болела. Пёс ослаб от боли и голода. И когда стало можно хоть немного приступить на лапу, вышел на охоту. Скоро наткнулся на табун кабанов, отбил поросёнка. С великим трудом задавил его и почти всего съел. Снова ушёл в пещерку.

Гурин, поставивший капканы на неизвестного зверя, был вызван в уезд по делу Шишканова, и его продержали там целую неделю. Это и спасло пса от смерти.

Гурин вернулся из Ольги и чуть свет выехал на капканы. Быстро осмотрел их, в одном увидел коготь, огляделся, проговорил:

— Что за дьявольщина, капканы спущены... А когтище-то какой!

Ему стало не по себе. Он слёрнул с плеча бердану, осмотрелся, но ничего подозрительного не увидел, снял капканы, быстро пошёл под гору. Вскочил на коня и пустил его галопом в деревню.

2

Наступила тёмная ветреная ночь. Один за другим тухли в окнах красноватые от ламп и лучин огоньки. Выплыл рогатый месяц, но его тут же запуржила метель. Чья-то калитка, которую забыл закрыть хозяин, хлопала на ветру, на крыше гремела дранка. Чёрный Дьявол лежал на пригорке, слушал — было тихо; потом по привычке завыл. Взбrehнули собаки, рванулись было на вой, но тут же поджали хвосты и поспешили спрятаться.

По следу того, кто сделал ему так больно, он вошёл в деревню. След оборвался у добротного срубленного дома. А за домом высился недавно построенный для коров сарай, рядом стояла старая, полуразвалившаяся овчарня. Его ноздрей коснулся запах овец, коров. Он обошёл сарай, где стояли коровы, подошёл к овчарне. У неё была соломенная крыша, маленькое оконце, которое хозяин заткнул пучком сена, хлипкая и щелястая дверь. Овцы почуяли пса, тревожно заблеяли, забегали. Дьявол через крышу вскочил внутрь. Овцы с истошным криком броси-

лись к выходу, вышибли дверь и ринулись в огород. Дьявол догнал овцу, ударом клыков перехватил ей горло, бросился за другими и давил, давил, зло давил. Овцы пурхались в глубоком снегу, кричали, звали на помощь. Но их рёв за бурей никто не слышал, а собаки не смели подать голоса.

Съев половину одной овцы, Чёрный Дьявол ушёл в Пятигорье. В последний раз обнюхал старое логово, кособочась потрусил по лезвию хребта в сторону моря.

Утром в деревне поднялся переполох. Всякое было: уносили тигры коров, коней, вырезали собак, — но чтобы вот так сразу кто-то зарезал десять овец... Волки, даже красные, никогда не нападали на деревню. Гурин молча рассматривал огромные следы, нашёл отпечаток лапы без одного когтя. Хмуро сказал:

— Поделом мне, хотел поймать этого зверя, а вместо того он меня наказал... Уж не тот ли это пёс, который жил у Макара? Уж не Чёрный ли это Дьявол?

Пришёл на шум и Безродный, он также долго и внимательно осматривал следы.

— Похоже, он. Его следы.

— Ежели этот зверь пришёл раз, придёт и другой раз, — высказал своё мнение Ломакин. — Сегодня же надо ставить охрану.

— Верно. Пусть Розов соберёт всех собак, которые ходят за зверем, и сторожит, я за это заплачу. Должны убить зверину, — глухим голосом проговорил Безродный.

— А ты сам будешь сторожить? — спросил Розов.

— Зачем мне сторожить, сказал — за работу заплачу.

— Ну, тогда за дело, мужики, — хмуро предложил Ломакин.

Несколько ночей охотники ждали Чёрного Дьявола. В том, что это был он, теперь никто не сомневался. И он снова подошёл к деревне, сел на пригорок, послал в небо свой угрожающий вой.

Собаки заматались в страхе, рванулись с поводков, лишь один розовский Волчок не струсил. Ощетинился, зарычал. Розов, которому Безродный за Дьявола пообещал хорошо заплатить, спустил своего злого кобелька.

Волчок смело бросился на вой. Увлёк за собой ещё несколько собак посмелее. За собаками, подбадривая их выстрелами, побежали охотники.

Лай собак удалялся. Дьявол легко уходил от них, заманивал в сопки. Первым шёл Волчок, он почти висел на хвосте Дьявола. И вот Чёрный Дьявол резко затормозил, бросился в сторону. Волчок проскочил мимо, Дьявол прыгнул ему на спину, вогнал мощные клыки в шею. Собаки кинулись на Дьявола кучно,

враз, но через несколько секунд откатились — кто с порванным горлом, кто с вывороченными внутренностями, кто с рваной раной на рёбрах. Уцелевшие с визгом припустились назад, к деревне. А Дьявол нагонял их, рвал насмерть. Подбежали мужики, а Чёрного Дьявола и след простыл. Охотникам ничего не оставалось, как забрать убитых собак и уволочь домой — не пропадать же шкурам, хоть рукавицы бабы сошьют.

Безродный проснулся от выстрелов, вышел встретить охотников. Увидев порванных собак, он поёжился в тулупе, заикаясь, спросил у Ломакина:

— Как же это вы столько собак загубили?

— А вот так. Осечка вышла. Понадеялись на розовского Волчка, мол, Найдиного помёта... М-да, настоящий зверь.

— Тот ещё не родился, кто убьёт Дьявола. Ежли Дьявол Гурину за коготок мстит, то кое-кому и совсем может не поздоровиться, — вставил своё слово Федька.

— Не каркай. Просто тому Дьяволу жрать стало нечего, вот и пошёл воровать овец, — оборвал его Безродный.

— Есть байка, что пёс от пули заговорённый. А что, если и вправду он заговорённый, если он всамделишный дьявол, ить нас ждёт беда, братцы, — с опаской заговорил Розов.

— Знамо, беда, и ещё какая, — поддержал Безродный. — Не ругаться нам нужно, а добыть этого дьяволину. А мы только и валим друг на друга всякую несусветчину. Надо жить друженько. Мы ж свои люди.

Молчали охотники, жаль было убитых псов. Но тут же прорвалось, посыпалось на голову Розова:

— Это он подговорил пустить псов. «Волчок возьмёт!» Взял!

— Подлюга, сколько собак загубили!

— Безродному хотел подсеять, а вышло, что мы остались без охотничьих собак. Теперь вполуполу меньше будем добывать пушнины. Это точно!

— Идите вы к чёрту, сами обрадовались, что Безродный вам заплатит. Пусть платит, а на меня нечего всё валить, — возмутился Розов.

— Заплачу, каждого хорошо рассчитаю. Не лайте. А когда добудем Дьявола — особо заплачу, — пообещал Безродный.

— Хватит, сам его убивай, — хмуро ворчали охотники.

Безродный вернулся домой. Здесь он дал выход своему гневу.

— Да ты что, окстись, Степан. Я-то при чём? — успокаивала его Груня.

— А при том, что ошейник надрезал Козин. Больше некому. Зря я Ваську выгнал! С Федькой небось тогда ещё снюхалась!

— Да бог с тобой, зачем его ко мне лепишь? Да чиста я перед Богом и тобой. Угомонись, Степан.

Безродный притих, долго молчал, а потом заговорил:

— Разум стал терять. Сама видишь, все против меня. А тут ещё этот Хунхуз. Ить сколько раз стрелял — и всё мимо. Забоишься.

— Не понимаю я тебя, Степан. И чего ты трусишь? Сам дома, собака в тайге, да и не тронет она тебя, она и запах твой забыла.

— Ты думаешь?

— Не сомневайся. А лучше кончал бы ты промышлять в тайге и занялся тихо и мирно торговлишкой, — говорила Груня, перебирая густые волосы.

— Замолчи, Груня. Не можешь ты понять меня. Или не хочешь... Ты ведь единственный человек, которому я ещё верю, для которого живу. Разлюбила? Скажи! — зло выкрикнул Безродный.

— Не смеши. Единственная?! Разве это любовь? Было время, когда ждала тебя, тосковала, мучилась — ушло всё. Пойми, Степан, всё в жизни уходит, с водой уплывает. Непонятна мне твоя любовь.

— Так вот и люблю. Порой убить тебя хочется, убить за то, что люблю.

Караулы были выставлены с обоих концов деревни, но пёс больше не появлялся. Розов как-то принял гуринского козла за Чёрного Дьявола и выстрелил. Пуля сразила козла наповал. Розов клялся, что это точно был Чёрный Дьявол, что козёл этот — оборотень. Гурин спорить не стал, потребовал:

— Ладно, пусть будет оборотень, но ты всё же за козла плати, а мясо можешь съесть.

Розов платить отказался, но сход заставил.

А Чёрный Дьявол тем временем ушёл за перевал. Подули ветры, повалил густой снег. Столько навалило, что о добыче и думать не приходилось. За две недели Чёрный Дьявол задавил лишь зайца и кабаргу. Затрусил в сторону моря, звериный инстинкт подсказывал ему, что там снегов должно быть меньше.

Лишь на второй день пёс достиг побережья Тихого океана. Здесь он легко добыл косулю, забросил на спину и унёс в чащобистый распадок безымянного ключика. Сытно поел и задремал под шатром разлапистой ели.

Густой волчий вой прервал его сон. Дьявол насторожился, звери шли по его следам. Он вскочил на мощные лапы и грозно в ответ завыл.

Стая ответила воем, но это не испугало Чёрного Дьявола. Он лишь подобрал свои рыхлые губы, ощерил верхковые клыки.

Вой катился на Дьявола. Пёс вышел из-под ели и устремился на заснеженную гладь Зеркального озера, стал ждать. Стая шла полукругом. Впереди ска-

кал матёрый вожак, мощно хрупая лапами по снегу, он саженой на десять опережал стаю. Чёрный Дьявол игриво побежал по льду вдоль озера. Хвост наотлёт, лапы легко трогали снег.

Дьявол описал полукруг по озеру, вожак ещё больше оторвался от стаи. И тогда пёс чуть сбавил бег, потом тем же приёмом — как он это делал с собаками — резко притормозил лапами, бросил тело в сторону. И вот, когда вожак проскочил мимо, пёс прыгнул ему на спину, рванул клычинами за позвоночник, так что волк перевернулся в воздухе. Чёрный Дьявол поймал поверженного за горло и сильным рывком вырвал его. И снова бросился вперёд, но недалеко. Остановился.

Волки есть волки. Не прошло и пяти минут, как от предводителя стаи осталось темнеть на снегу большое пятно крови да клочки грубой шерсти.

Дьявол медленно двинулся навстречу стае. Шерсть дыбом, зубы в страшном оскале. Один против четырнадцати. Звери тянули в себя воздух, не убегали и не нападали, хвосты покорно опущены вниз. Лишь один из волков сорвался — покрупнее, посильнее других — бросился на незнакомца. Но стая не пошла за ним. Короткая сшибка — и волк остался лежать. И снова пёс великодушно отошёл в сторону, дал стае доесть собрата, а затем уверенной походкой пошёл на волчицу. Двенадцать волков бросились врассыпную. На месте осталась волчица. Дьявол подошёл к ней, она дала себя обнюхать, скаля зубы. Затем пошёл к волкам, и волки покорились, пряча хвосты между ног, признали Чёрного Дьявола своим вожаком.

Чёрный Дьявол победил. Теперь он будет заботиться о стае, о её пропитании, водить на охоту...

И он повёл стаю к морю. Здесь волки подхватили след изюбра. Разделились на две группы; одна, которую вела волчица, ринулась по следу, вторую увлёк за собой Дьявол в обход сопки. Волчица с подвыванием гнала изюбра. Перепуганный зверь ринулся вниз по склону. Откуда ему было знать, что там, затаившись, ждал Чёрный Дьявол. Изюбр налетел на притихших волков, поднялся на дыбы, хотел развернуться назад, но волки облепили его, сбили с ног. Подбежали остальные, и начался суматошный пир.

Стая убивала всех на своём пути. Копытные звери через Сигуеву сопку бежали на Синанчу. Дьявол повёл стаю следом, но тут он встретил грозный след владыки. Тигр обошёл свои владения, оставил на их границе следы — задиры от когтей на деревьях.

Дьявол круто свернул с тигровых следов, повёл стаю в Голубую Долину.

Один за другим срывались густые снега. Завалили тайгу по самые уши. Добывать пищу стало ещё труднее. Стая металась в поисках добычи, жестоко

голодала. Однажды с сопки вожак увидел далёкий дым. Решительно повёл стаю в деревню. Только там можно было чем-то поживиться.

И вот стылой ночью в деревню Божье Поле вошла волчица. Вяло затрусила по улице. Псы сильно потянули в себя воздух. Брачный запах самки смущал их. Прекратили брёх. Потянулись из своих убежищ. Волчица медленно потрусила в конец деревни, повернула назад.

Псы осмелели, вышли за ворота, затем на дорогу. Волчица спокойно трусила, не оглядываясь, чуяла, что псы тянутся за ней. Сучки проводили её злым лаем. Деревня осталась за поворотом. Волчица свернула на пашню, побежала к реке. Псы в нерешительности приостановились, начали топтаться на месте, но потом снова пошли за волчицей. Вышли на реку. И тут спереди и сзади на псов бросились волки. Волчица первой порвала пса — того самого, который шёл за ней почти след в след. Волки в одно мгновение убили десяток псов. А те, кто сумел спастись, летели во весь дух в деревню.

В деревне поднялся истошный брёх оставшихся собак. Обеспокоенные мужики повыскакивали на улицу, с ружьями в руках, не могли понять, отчего они злобятся. Многие тут же хватились своих собак, стали звать, но не дозволись. Раздались крики:

— Волки! Волки! Запирай крепче хлева, собак порешили, скотину порешат!

— Седлай коней, пошли в погоню!

— Нельзя, могут нас же порезать, ведь неизвестно, какая стая! Ночь, ни зги. Будем ждать до утра, — отвечали более благоразумные.

А сытая стая ушла в сопки.

Охотники распутали следы волков и поняли, что собак сманила гонная волчица. Пошли по следам стаи. И вскоре наткнулись на след Чёрного Дьявола, первым обнаружил его Гурин. Поднялся переполох. Одни призывали идти за стаей, более осторожные и суеверные наотрез отказывались.

— Опасно. Мало ли что... Слыхивал ли кто, чтобы пёс, простой пёс, водил волчью стаю? Никто не слыхивал, то-то. Это дьявол. Настоящий дьявол — наши грехи незамоленные.

Больше всех кричал Розов, уговаривал догонять пса.

— На кой он тебе? Ежели придушит Безродного, ить все разом вздохнём. Или забыл, сколько ему должен? — возражал Федька.

— Оно-то так, но ить пока мы несём урон.

— Потерпим.

Ночь выдалась тёмной. Повалил снег. Охотники грелись у костров, охраняли деревню от стаи. Но Дьявол оказался хитрее. Он прошёл по-за кострами, не обращая внимания на брёх собак, прополз на по-

дворье Безродного. Потоптался у овчарни, обошёл сарай. У костра смеялись, слышался хриплый смех Безродного.

В загоне под навесом, похрапывая, заметались кони. Молодняк. Безродный не держал его в конюшне. Лошадей у него теперь было много.

Чёрный Дьявол с рыком бросился на стригунков. В конюшне тревожно заржал жеребец. Табун заметался по загону, жеребята ринулись на забор, затрещали жерди.

Кони шли тёмной массой в тайгу, тонули в снегу, ржали, падали, но Чёрный Дьявол молча гнал их вперёд, а когда табун перевалил за сопочку, на подмогу ему вылетела стая волков. Охватив коней широким полукругом, они погнали их по редкому дубняку. А позади кричали и стреляли охотники. Но волки уже не боялись этого шума, и гнали, и гнали коней к Пятигорью. А погоня вернулась в деревню.

И вот пал от зубов волков первый жеребёнок, второй, третий... Запалённые кони с трудом пробились по снегу. Их трупы растянулись по волчьему следу. Но когда кони рассыпались, волки прекратили резню. И начался волчий пир. Было зарезано столько коней, что стае не съесть и за много дней.

Только с рассветом охотники вышли в погоню — ночью не решались. На полдороге встретились им десять коней — стабунились как-то и возвращались домой. Остальные уцелевшие рассеялись в тайге.

Несколько лет подряд после того встречали в тайге охотники одичавших коней. Пытались ловить, но кони не давались в руки. А потом враз исчезли — то ли порезали их хищники, то ли сами снежной зимой пали от бескормицы.

Волки ушли в горы, но охотники не стали их преследовать. Собрался сход. Безродный кричал:

— Граждане, одумайтесь! Пусть у меня погиб табун, я от этого не очень пострадал, куплю ещё столько же.

— Верно! Ты в другом месте навестаешь, — подали голос из толпы.

— Где бы я ни навестал, но ваше дело хуже моего. Дьявол порешил почти всех собак охотничьих. Нанёс урон Гурину, теперь мне.

— Я тот урон прощаю Дьяволу! — крикнул Гурин. — Прости и ты. Он есть хочет.

— Прости ему те грехи, Егорыч, мы прощаем! — кричали недруги Безродного.

— Ну это чёрт знает что! Я к вам всей душой, а вы ко мне со злобой. Поймите, Дьявол не уйдёт от деревни, пока мы его не ухлопаем. Он убьёт ваших коней и коров.

— Не смогёт, у нас тягло и скот в сараях и хлевах. Будем там сторожить, вот у тебя коней некуда девать. Продай нам по дешёвке, всё одно в загоне Дьявол их съест, — с усмешкой сказал Фёдор Козин.

Долго Безродный уговаривал мужиков, ругал за трусость, грозил не давать больше в долг, но и это не испугало — люди разошлись, ни о чём не договорившись.

Утро выдалось тихое. Румяное солнце выкатилось из-за гор. В ночь прошёл снег и припорошил тайгу. Значит, быть большому ветру.

Безродный и Розов выехали на конях в тайгу по следам волчьей стаи. Безродный говорил:

— Вот, Феофил, добудем Чёрного Дьявола, утрём нос нашим охотникам, то-то будет разговору.

— Добыть бы! Пёс не из простых.

Они гнали коней в сторону хмурого Пятигорья — сюда вели следы, здесь стая должна встать на днёвку. И не ошиблись, к обеду вышли на свежие волчьи следы, где был и след Чёрного Дьявола. Долго продирались через низкий дубняк, орешник, пробивались по следам глубоким снегом. Шли в гору — стая уходила к вершинам Пятигорья.

Волки прошедшую ночь кормились зарезанными конями. Там Безродный предлагал сделать засаду, но Розов отказался:

— Ить это же Дьявол, Чёрный Дьявол, не вышла бы нам эта засада боком.

Выскочили на конях на гривку сопки, а на противоположном склоне увидели серые комочки. Спрыгнули с коней и открыли по зверям частую пальбу. Как ни далеко были звери, однако Безродный сумел уложить одного. Розов промазал. Звери скрылись за сопкой.

И тут охотники повернули друг к другу бледные от волнения лица, первым спросил Безродный:

— Ты видел в стае Дьявола?

— Нет. Може, это другая стая?

— Не бывает, чтобы две стаи крутились на одном пятачке. Либо Дьявол оставил их, либо мы как-то просмотрели, где он прыгнул в сторону. Поехали, подберём волка — и назад.

Безродный накинуд на шею зверя петлю, приторочил бечёвку к седлу, и они отправились назад, часто оглядываясь, внимательно осматривая чащи. Через версту Розов сильно осадил коня, нагнулся и увидел чёткий след трёхпалой лапы.

— Степан Егорыч, глянь-ка, Дьявол!

Безродный сдёргнул с плеча винтовку, но Розов остановил его:

— След Дьявола, а не сам Дьявол.

Короток зимний день. Дул сильный ветер, надвигались сумерки. Тревожно шептались медной листвою дубки.

Безродный поёжился:

— А, чёрт, да до каких пор этот Дьявол будет висеть на моей шее камнем! Скажи, Феофил, до каких?

— Видно, до тех пор, пока мы его не ухлопаем.

— Вдвоём нам не взять! Эта бестия ходит по нашим следам. Рысь, а не собака.

«Одной родовой ты с ним», — подумал Розов, но сказал другое:

— Надо сбивать всех охотников.

— А как? Ответь мне честно, Розов, почему люди тянутся к Гурину? Почему? Ну, скажи правду!

Розов задумался и решил — была не была! — честно сказать Безродному, как думают о нем люди.

— Тебя люди не любят за многое. За убийство, например.

— Откуда им знать, убивал я или нет, ведь такого никто не видел, просто выдумывают, наговаривают.

— А может, сердцем чувствуют, что ты не нашенский человек. Поишь нас, угощаешь, льстишь, добреньким себя кажешь, а ить над этим они же смеются, грят, пьём, мол, не за деньги Безродного, а за свои кровные. И зло твоё, и лесь твою противны сердцу мужицкому. Понимаешь, наше село чем-то разнится от других сёл, здесь, окромя меня, никто не рвётся к богатству. Такое редко бывает, но бывает. Все живут ровно и тихо. Вот возьми Гурина... Он трудяга и человек для всех. Прошное лето я носился как угорелый, а не мог добыть пантов. Гурин взял пару, позвал меня к себе и отправил на свой солонец в падь Грушовую. Там я и убил изюбра. А ить, ежели вдуматься, Гурин-то и сам мог бы просидеть ночь и добыть его. Или вот пермяк Вронкин задумал ставить дом у реки, Гурин его остановил, показал на деревьях метки от наводнения, объяснил, что к чему, и Вронкин уразумел. А ведь другие молчали, некоторые похлохтывали над Вронкиным. А помнишь, как он ни за что помог пашню вспахать Козиным? А я вот так не могу. И ты не можешь. Почему я такой, сам не знаю. И ты не знаешь, отчего ты такой. Вот мне рассказывали про Макара Булавина, тот тоже не знал, отчего у него страсть помогать людям. Жил и помогал. А люди увидели в этом тайну, корысть, ославили мужика, а варнак один торкнул его в тайге.

Безродный вздрогнул, посмотрел на Розова. А тот продолжал в запале:

— Знамо, каждый человек с чужинкой. Но разве можно его винить в том? Аль меня. Вот хочу быть богатым, ночами снится... Ношусь по тайге собакой, а не получается. Уходит от меня зверь, плохо идёт пушнина в ловушки. А ведь у меня ловушек больше в пять раз, чем у других. Почему?

— Хочешь, я тебя сделаю богатым?

Розов облизнул обветренные губы. И тут же снова стал самим собой — вспыхнул алчный огонёк в его глазах.

— Отчего не хотеть, затем живу! — почти просто-на-на он.

— Тогда слушай. Гурин для всех хорош. Нас ненавидят. Значит, нам и терять нечего. Волки эти две-

три ночи сюда не придут, сыты и пуганы — я так смекаю. Но скоро должны прийти. Следов зверовых нет на снегу. Голод пригонит. А ты будь настороже. Об их подходе скажут собаки, трусливым лаем скажут. Вот тут-то ты и заработать сможешь...

— Как? Убить Дьявола? Нет, его не убить...

— Не перебивай. Волки подойдут, а ты тогда и выпусти гуриных овец. Волки с Дьяволом перережут их. В заступу Гурина против волков весь народ пойдёт. Иначе нам людей не поднять. Ты не будь дураком, пришей к унтам собачьи лапы. К носкам — передние, на пятки — задние, своего Волчка лапы пришей.

— Но ить люди не поверят, что Дьявол сможет открыть засовы на гуринском хлеву.

— Поверят. Дураки всему поверят. Ведь сделать такое: у меня из-под носа угнать коней — не под силу и человеку. Дьяволу такое под силу.

— Не, не согласен, — заикаясь, выдавил из себя Розов.

— согласишься, слушай дальше. За эту работу я тебе дам тридцать рублей, прошу все долги, а когда добудем Дьявола, научу тебя, кому и где сбывать пушнину, сам будешь себе голова. А коль захочешь, сходим с тобой на мой промысел.

— Согласен, — глухо выдавил Розов.

Три дня не утихал в деревне перестук тазов, палок — деревня сторожила свой скот. Три ночи не появлялись волки у деревни. Радовались мужики:

— Отомстил Дьявол Безродному и решил, что будя.

Однако охрану не снимали, но уже сторожили не с таким рвением. Гурин вообще не караулил свой хлев. В такой хлев, как у него, и медведю забраться не под силу: сразу строился прочно и надолго думал осесть в тайге. А в дьяволов не верил.

Как и думал Безродный, на четвертую ночь собаки подняли трусливый лай. Розов не спал, ждал.

Надев унты с подшитыми собачьими лапами, он тропкой пробежал до хлевов Гурина, у двери потоптался, чтобы четко виднелся отпечаток собачьих лап, на одной даже убрал коготь.

Засовы у Гурина железные, полоса железа проходила через всю дверь, втягивалась в железные скобы, конец был примотан куском проволоки. Розов раскрутил проволоку, без стука убрал засов, вошёл внутрь овчарни, пинками выгнал овец из хлева. Те сыпанули по загону. Розов открыл ворота и погнал овец к реке. Когда убедился, что овцы не повернут назад, бросился прочь. У себя дома прислушивался, ждал. Наконец от реки заорали овцы. Розов выскочил на улицу и что есть силы закричал:

— Волки! Люди, волки напали!

Собрался народ, бросились к реке на рёв овец. Впереди всех бежал Розов. Волки успели зарезать де-

сяток овец, остальные разбежались по забоке; зарезанных волки унесли в тайгу.

Долго не могли понять люди, чьи это овцы и как попали они на реку. А когда разобрались, то и сами себе не поверили. При свете факелов нашли трёхпалый след, загомонили, зашумели. Но Гурин молчал. Загнал остатки овец в хлев, закрыл на засов двери, подошёл к людям и негромко сказал:

— Кто тот дьявол, который открыл хлев, я пока не знаю, но узнаю. Узнаю — голову оторву. Однако пора кончать со стаей. Волки сделали людей волками. Дальше в лес — больше дров. Утром сход. Идите спать.

На сходе первым заговорил Гурин, он сказал всего несколько слов:

— Безродный, ты поведёшь людей на Дьявола, я буду тебе помощником. Собирайтесь, люди. Команду Безродного слушать всем.

Охотников набралось до тридцати человек. Безродный каждому дал коня, на коней возчиков навьючили сено, овёс, продукты для охотников и загонщиков. Отряд ходко пошёл по следам волков.

Чёрный Дьявол, как и предполагал Гурин, повёл стаю в сторону своего бывшего логова. Это была первая ошибка Дьявола — там, на Пятигорье, лежал полутораметровый снег.

Охотники остановились посоветоваться.

— Я так разумею, — сказал Гурин, — что Дьявол от логова поведёт стаю к морю. Но мы его можем перехитрить и прижать к пихтачу. Помнишь, Безродный, тот распадок? Если мы стаю пригоним туда — она наша.

— Дело. Загнать туда стаю хорошо бы! Но как?

— Всё просто. Я поведу загонщиков по следу волков и выстрелами отожду их от перевала, загоню в пихтач. Вы идите ключом и делайте засаду в распадке, за пихтачом. Ты, Фёдор, пойдёшь за мной?

— Ни с кем бы я не пошёл, но воля схода для меня закон. И чувствую, Дьявол обведёт нас вокруг пальца.

— Не каркай! — вспыхнул Безродный.

— Не каркаю. Зря людей сорвали с места.

— Ладно, не спорьте. Расходимся. Слушайте наши выстрелы, по ним будете знать, куда пошла стая, — говорил Гурин. — К утру будем у пихтачей, если всё обойдётся...

Волки пурхались в снегу, он, глубоченный, оседал под их лапами, ползли на животах. К полудню стая выбилась из сил. Но шла, ползла следом за Дьяволом. Позади гремели выстрелы, слышался храп коней, крики. Дьявол был сильнее волков, но тоже начал сдавать. И тогда он круто свернул в пихтачи, где его ждала засада. Это была его вторая ошибка.

Пихтач, как коровий язык, сползал по распадку. Безродный расставил охотников на полсотни сажень

друг от друга по всему пихтачу. Слева рос редкий дубняк, справа — оттуда должен был прийти Дьявол — простирались голые склоны. Если Дьявол поведёт стаю в пихтач, прикидывал Безродный, то охотники увидят волков ещё издали, изготовятся, когда те пойдут мимо, тут их и стреляй. Об одном беспокоился Безродный, как бы пёс не провёл стаю ночью.

На Пятигорье опустилась ночь. Было тихо. Ни ветра, ни подозрительного шороха. И Дьявол допустил третью ошибку, на что и рассчитывал Безродный: остановился с усталой стаей под скалой, там они и прокоротали ночь.

С рассветом Безродный приказал потушить костры, засыпать уголья снегом, чтобы звери не почуяли запаха гари. Вдалеке уже слышались выстрелы загонщиков. Охотники напряжённо ждали подхода стаи. Фёдор Козин стоял последним в цепи охотников, на самой кромке пихтача. Безродный поставил его тут с тайной мыслью, что Дьявол не пойдёт сюда, ведь здесь прошла вся орава охотников, следы отпугнули бы зверей. Боялся Безродный, что Козин, увидев Дьявола, не будет стрелять.

Чёрный Дьявол сильно потянул в себя воздух и тут же уловил запахи людей и гари. Осторожно пошёл к кромке пихтача. Отпрянул. Запахи, кругом чужие запахи. Шерсть его поднялась дыбом. Глянул на голые склоны сопки, оттуда уже надвигались хлёсткие выстрелы, был слышен храп коней. Стая попала в ловушку. Но Дьявол не бросился мимо редкой цепи людей, не повёл стаю под пули. Осторожно пошёл по краю леса, сбоку за ним кралась стая. Дошёл до конца. Его чёрных ноздрей коснулся запах знакомого человека. Остановился. Знакомый запах тревожил его, звал к себе. Пёс постоял, затем лёг на живот и пополз. Волки последовали примеру вожака и тоже поползли, прячась за пихтами. У самой кромки Дьявол остановился. Ещё раз понюхал воздух и вдруг тихо вильнул хвостом, узнал своего почти забытого друга.

Федька стоял у берёзки, прислонившись к ней плечом. У его ног темнел талый снег.

Дьявол поднялся и несмело шагнул к другу. В глазах насторожённость, в глазах радость. Завилял хвостом. Козин при виде Шарика аж рот разинул. Всё он мог ожидать, но чтобы вот так Шарик вышел к нему!.. Забыв про бердану, про то, где он, Козин с испугом смотрел на пса.

Дьявол шёл, повиливая хвостом. Козин тихо позвал:

— Шарик! Шарик! Вот ты какой стал громадина, Шарик!

Не забыл Шарик своё первое имя. Осмелел, подбежал к Фёдору. Бросил огромные лапищи ему на грудь, тихо проскулил. Забыл Дьявол про свою стаю. Всё забыл, встретив друга. Он лизнул Фёдора в ответ-

ренное лицо. Всё это было столь неожиданно, что Федька не успел испугаться, как это часто бывает на охоте — страх приходит потом. Он обнял пса за шею, забормотал:

— Шарик, милый, забрал бы я тебя домой, но ведь тебя тут же убьют. Безродный убьёт. Уходи, Шарик! — начал он отталкивать от себя пса.

Чёрный Дьявол услышал в его голосе суровую нотку, отпрянул. Федька увидел волков, они готовы были броситься на него. Вскинул бердану, ахнул выстрел, второй, третий, четвёртый... Раненые волки закувыркались на снегу.

Дьявол опрометью рванулся вниз по распадку. За ним устремились остальные волки. Они обтекли человека с двух сторон. Федька передёрнул затвор, обойма была пуста. Стая скрылась за дубняком.

Безродный понял, что волки вырвались из кольца. Бежал, ломился через чащу, обливался потом. В груди теплилась надежда, что, может быть, убит Дьявол. От волнения тряслись руки, подгибались в коленях ноги. А если убит — всё враки, ворожба пустое дело!

Федька поспешно затоптал следы Дьявола, которые чётко виднелись на снегу, вставил новую обойму и добил выстрелами раненых зверей.

Безродный ещё издали закричал:

— Ну, Дьявол убит?

— Ты его сам поди убей. И верно, это не собака, а дьявол! Пять раз стрелял, а попадал в других. Пра, это дьявол!

— Не ври! — закричал Безродный.

— Правду говорю. Вон пять волков пристрелил, а Дьявола не смог. Он, Дьявол, ростом с жеребца.

Гурин долго молчал, спросил:

— Как же не попал в такую громадину?

— Сам видишь, не попал.

— Врёт Козин, что не попал в Дьявола, пожалел он его! — крикнул Розов.

— Непохоже, что врёт, сам видишь, сколько нахлопал зверей. Не каждому такое под силу. Что ни пуля, то зверь. Могли и порвать они его. Волки гонные, опасно, — говорили охотники.

— А, чёрт! — выругался Безродный. — Знай я, кто надрезал ошейник, на месте бы убил.

— Тебе не привыкать, — хмуро бросил Козин.

— Ладно, будя, ребята, ругань — помеха делу, — сказал Гурин.

Подошли возчики, наперебой заговорили:

— Дьявол-то, Дьявол-то, чисто жеребец махал по снегу. Думали, на коней бросится, но всё обошлось. Вон только Машка Розовых сорвалась с повода и удрала вниз. За ней ушли волки. Не съели бы!

— Не съели бы! От той Машки, пока мы тарыбары-растабары, давно уже косточки остались. Как же вы не уберегли коня! — возмутился Гурин.

— Убереги!.. Дьявол так рыкнул на нас!

— Хватит, давайте завтракать. На тощий желудок не думается, — сказал Гурин.

После завтрака охотники поехали домой. В трёх верстах от деревни нашли полусъеденную кобылу. Но Розов не тужил:

— Всё одно скоро бы издохла.

Такое он теперь мог сказать. Безродный хорошо заплатил ему за подлое дело — за гуринских овец — и вернул долговые расписки.

Тут же, в лесу, чтобы удержать мужиков, Безродный пообещал каждому за день охоты уплатить по три рубля. А за убитого Чёрного Дьявола сто рублей.

В деревне охотники подкормили коней и пошли по следу. Дьявол вёл свою стаю по льду реки. Здесь снегу было мало, стая легко шла к морю. Перевалила отрог и вышла на Зеркальное озеро. Волкам повезло — они выгнали на лёд пару косуль. Ими и подкрепились. С озера Чёрный Дьявол повёл волков в верховья Светлого ключа, затем спустился в Нерпичий ключ.

Ветер крепчал с каждой минутой. Снежные вихри низко стлались над сопками, летели к морю размочаленные тучи, гнулись и скрипели деревья, стояла тайга. Быть буре.

— Вона снова ветрище поднимается. У меня есть думка, — соображал Розов, — что, ежели Дьявол пойдёт мимо фанзушки, он обязательно заведёт стаю в неё. Дьявол всё же собака. Спорим, Егорыч, заведёт! Там мы его и прихлопнем.

— Спорим, — согласился Безродный, чтобы как-то встряхнуть людей. — Если заведёт в фанзу, то я ставлю десять четвертей спирта, а нет, то ты отдашь мне десять колонков. Лады?

— Лады.

Розов не ошибся. Дьявол привёл стаю к фанзе. Он неуверенно потоптался около двери, не смея войти. Но из фанзы не доносился запах человека, в ней уже давно никто не жил. Дьявол устал. А тут ещё ветер, буря. Он осмелел и вошёл в фанзу, следом вошла стая. Волки во всём верили вожаку. Они растянулись у стен, дремали, пережидая бурю...

Следы охотники увидели сразу: они вели к двери фанзы. Розов ликовал:

— Там дьяволина! Фанза просторная, но всего два окна. Подходить надо со стороны двери и тех окон — с трёх сторон.

Безродный расставил охотников и велел всем осторожно окружать фанзу. Снова дал наказ, чтобы стреляли только в Чёрного Дьявола. Тайга гудела, трещала, глушила шаги охотников.

Безродный и Розов выстрелили враз. Из фанзы ринулись волки, давя в дверях друг друга. Началась такая пальба — не мудрено было подстрелить друг друга, ведь в волков палили со всех сторон.

Розову не повезло, случайным выстрелом задело ногу, он заголосил. Рана была пуляковой, пуля сорвала кожу с икры. Гурин тут же оттащил его в сторону, сдёрнул с себя дошку, оторвал рукав рубашки, расплосовал на ленты, умело перевязал ногу.

— Вставай, больше крику, чем боли.

Чёрного Дьявола среди убитых волков не оказалось.

— А, в бога мать! — взревел Безродный. — Это из-за тебя, Розов, упустили Дьявола. Кто видел его?

Все молчали.

— След ищите!

— Пустое, мы весь снег истоптали. Где тут найдёшь?

Охотники зашли в фанзу. Кто сел на нары, кто примостился на полуразрушенный кан, кто опустился на брошенные чурки дров. Стирали с лиц снег и пот, молчали, каждый по-своему переживал неудачу. Фёдор с трудом скрывал своё торжество. Безродный был бледен, как-то сразу осунулся, опустились плечи. Розов кривил губы не столько от боли, сколько для того, чтобы разжалобить охотников. Все сидели в расслабленных позах. Ружья стояли у стен, навалом лежали на нарах, на кане. Кое-кто из охотников переобувался, другие крутили сигарки.

И тут из-под нар выскочил Чёрный Дьявол. Рыкнул и опрометью бросился в дверь. Безродный сидел у двери на чурке, он непроизвольно выбросил вперёд руку, будто хотел задержать своего врага. Клацнули зубы, и Безродный, взыв от боли, покатился на пол. Все подались назад. Но враз вскочили, начали хватать винтовки, берданы, гурьбой сыпанули к двери, запинаясь за Безродного. Раздались запоздалые выстрелы. А Чёрный Дьявол уже был за орешниками. Бросились за ним. Но куда там: пёс нырнул в распадок и скрылся.

Безродный метался среди охотников, кричал:

— Все вы стервы, гады! Все только и делаете мне назло! Отпустили Дьявола!

— Ну чего кричит человек, — заговорил Гурин, — ведь ты же с нами был. И потом, хотел зверя остановить рукой — чудак... Не стервись, мы ить до поры до времени терпеливы, можем тоже взорваться и накласть тебе по шее.

— Почему никто не заглянул под нары? — не унимался Безродный.

— Кто же тебе самому помешал это сделать? — вскинулся Гурин. — Нет, не родился, видно, ещё тот охотник, который убьёт Дьявола. И не гады, и не стервы мы. И не в нас дело, а в тебе, Безродный. Ты пострашнее дьявола. Слышал, на Тетюхинском руднике Бринера бунтовали горняки? Так бунтовали, что Бринеру пришлось бежать в город за подмогой. Так что ты думаешь, мы такое сделать не можем?

Ведь ты опутал всех долгами, как паук тенётами. Это как называется? Грабёж и бандитизм это. Вот что, мужики, давайте здесь же выскажем Безродному всё. Первое, это Безродный должен установить твёрдые цены на пушнину: колонок пойдёт по пятёрке, соболь по тридцать рублей, белка за два рубля. Панты — по той же цене, что и в Спасске. Если вы согласны, то нонче же соберём сход и всё обговорим.

Зачесали мужики затылки, глаза отвели в сторону, захмыкали.

Безродный почувствовал, что все против него, что поддержки ожидать не от кого, взбешённый, вскочил на коня, ускакал домой. Охотники ещё долго разговаривали о том, что волновало каждого.

— Оно-то так, надо Безродного приструнить, но вся беда в том, что на его стороне пристав с казаками, — сомневались мужики.

— Чудаки, а на нашей стороне все мы — народ. Поймите, если будем молчать и сидеть сложа руки, Безродный скоро на шею наши петлю накинёт. Вот ты, Ломакин, старшина, голова наша, сколько задолжал Безродному? — спросил Гурин.

— Года на два вперёд.

— Почему он тебе дал столько в долг? А потому, что не ты ему должен, а он тебе. Твой долг давно тобой оплачен. Вон Козины, Лапохи — все у него в долгу. Не оплати вы давно долги, дудки бы вам дал Безродный.

Вернулись охотники домой вовремя. В Божье Поле приехали ольгинский поп, пристав и уездный начальник. Созвали сход. Уездное начальство хотело в Божьем Поле силами мирян заложить церковь. Гурин и Козин пробились в самую гущу схода. Здесь рыжий попик, потрясая маленькими кулаками, призвал мирян:

— Церковь надобна. Через неё мы донесём до вас Божье слово. Прешите вы много. Бог отверг лики своя от вас. Спасать надобно души ваши.

— Верно, батюшка, спасать надобно наши души, — встал рядом с попом Гурин. — Верно, темны они у нас и прокопчёны. Потому, сельчане, сказ мой такой: не церковь надобно здесь строить, а школу. И мы, и дети наши темны, как сажа в трубе. От этой темени идут все неурядицы. Нас может легко обсчитать господин Безродный, проходимцы купчишки. Грамота всем нужна.

— Не слушайте, миряне, этого бунтовщика. Церковь приведёт вас к душевному смирению, радости и успокоению.

— А нам, батюшка, не надобно успокоения. Застыли мы в своём успокоении, — повысил голос Гурин. — Только школу. И не нужны нам долгогривые попы, без них перед Богом покаемся, когда придёт смертный час. Так я говорю, миряне?

Но миряне разделились на два лагеря.

— Истину говорит, истину! — кричали одни.

— Долой смутьянов! Палками их надо гнать отсюда! — ревела другая сторона.

— Погодите, миряне. Будет церковь, не будет школы, а как же дети? Время идёт к тому, чтобы каждый знал аз, буки и веди. Кому надо, тот пусть себе бьёт лоб дома. А ну, Козин, скажи ты слово. Скажи о себе, — подтолкнул Федьку Гурин.

— А что говорить о себе? Вон сдаю я Безродному пушнину и вместо своей фамилии ставлю крестик. Дело это? Он, может, там записал мне вместо десяти колонок два, я не знаю. А будь у меня грамотёшка, я мог бы книжки читать, не дал бы обдурить себя Безродному.

— Греховное это дело — читать мирские книжки, от них смятение ума и грехопадение.

— Это как же, батюшка, грехопадение? Я же видел у тебя мирские книжечки, выходит, и ты в грех впал, — сказал без улыбки Ломакин. — Вот что, братцы, хватит воду в ступе толочь, давайте ближе к делу. Нам такой пришёл сказ: ежели проголосуем за церковь — быть церкви, ежели — за школу, то школе.

Больше половины сельчан проголосовали за школу. О Дьяволе как-то само по себе забылось.

Дьявол исчез, как в воду канул. Да и не до него тогда было. Назревали большие события. Будто ветер, заходили по тайге слухи о войне, о том, что бунтует народ по всей России, о большевиках, о Ленине. Шепотком передавали друг другу о том, будто в охотничьих зимовьях скрываются политические беглые с каторги.

3

В тайге пропал Калина Козин. Федька приболел. Калина за него решил сходить и проверить ловушки на колонок. Первый раз пошёл в тайгу старик. Пошёл и исчез. Ждали Калину день, ждали два, три. Федька позвал с собой Гурина, и они отправились искать старика. Следы Калины привели к речке, около перехода через неё оборвались. Речка Голубая не каждую зиму замерзает, особенно перекааты, а через один из перекаатов с осени были положены сходни. Вот с этих-то сходней, видно, и сорвался Калина. Но когда они внимательно осмотрели жерди, то увидели на одной из них капли крови. Припомнились старые угрозы Безродного. Безродный обид не прощает!

— А ведь ни у кого зла на Калину не было, — сказал Гурин. — Точно, это рука Безродного. Встретил Калину и торкнул. Теперь не найдёшь.

Фёдор уехал в Ольгу, чтобы рассказать приставу об исчезновении отца. За день отмахал сто вёрст, переспал у знакомых и встал в очередь на приём к при-

ставу. Попал в кабинет только к вечеру. За длинным столом сидел пристав.

Фёдор весь день готовился, что и как сказать. А тут вдруг выпалил:

— Моего отца убил Безродный.

— Безродный? — удивлённо вскинул брови пристав Баулин. — А ты видел? Кто видел?

— Никто не видел, он его убил на сходнях, когда отец переходил через речку.

— Ну, ежели никто не видел, то я тебя, сукина сына, за твой лживый язык упеку в каталажку. Все спешат оболгать Безродного. Врал и доносил на него Булавин, а убил Булавина Шишканов. И твоего отца убили такие же смутьяны. Ведь Козин был против них, он сам жаловался, что Гурин сбивает тебя с пути истинного. Гурин мог убить отца твоего. Так знай, ежели найдём труп Калины и прознаем, что он был убит, а не утонул, то быть Гурину на каторге. Это уж как пить дать. А теперь посиди в каталажке и охолонь. За враньё у нас, брат, строго. Сёмин!

В кабинет вскочил здоровенный казак.

— В кандалы брехуна. Вода и хлеб, пусть в голове станет чище.

— Но ведь это точно, тятку убил Безродный, он ему давно грозил... Гурин был дома, Гурин никуда не ходил! — вырываясь из рук казака, кричал Фёдор. Теперь он понял, чего добивается Баулин, и испугался за Гурина.

— Знаем мы смутьянов, они вроде никуда и не ходят, вроде живут тихо и мирно, а народ баламутят. Посиди с месяц, а там посмотрим.

— Но ведь...

— Молчать! Каторги захотел? Отправлю вслед за Шишкановым. Волоки его, Сёмин, чего встал.

— Дык ить он упирается.

— Зови ещё ребят, в железа бунтаря!

Очнулся Козин в кутузке. Волосы на голове в сгустках крови, на руках и ногах кандалы. За решётчатым окном светила луна. Федька тихо заплакал. Сбоку из темноты спросили:

— Ну чего ты слюни распустил?

— Отца убили, а меня вот в тюрьму.

— Кто убил?

— Безродный.

— Знаю эту сволочь, через него тут сiju.

— А кто ты?

— Я Кузьма Кузьмин. Моя баба сожгла подворье Хомина, меня описали. Вот и брожу. Сiju за кражу. Скоро выпустят.

— А при чём тут Безродный?

— При том, что верёвочка от него пошла, пошла и всех обвила. Такая уж наша житуха. А ты дрался с казаками зря. Каторги тебе не миновать. Бьют — молчи. Здесь так. Меня исторкали — живого места не было. Ожил. Скоро выйду.

Но ошибся Кузя. Козин каторгу миновал. Через несколько дней в Ольгу пришли охотники из Божьего Поля. Пришли и встали около уездной конторы.

— Чего пожаловали? — спросил их пристав.

— Отпустите Козина, или мы будем стрелять.

— Бунтовать?

— Нет, просто пришли за правдой, чтобы не затоптали её начисто, — сказал Ломакин. — Кто убил Калину, мы ещё не знаем, это должны были вы узнать. Вот мы все, как один, думаем, что его убил Безродный. Почему вы не хотите расследовать это дело? — твёрдо требовал ответа старшина.

— Большевик!

— Нет, ваше благородие, не большевик я — просто честный человек. Козина вы избили, бросили в каталажку, отпускайте — или мы...

— Что вы?

— Будем стрелять.

Баулин и всё уездное начальство перетрусил. Боялись, что к охотникам из Божьего Поля примкнут охотники из Ольги, Пермского, Арзамасовки — все, кто был в ту пору в Ольге. Пристав сдался:

— Хорошо, мы отпустим вашего Козина, но чтобы у меня без шума.

— Отпускайте и немедленно начинайте расследование.

— Ладно, найду время, приеду с казаками к вам, и начнём искать преступника.

Это уже была победа. И победа не маленькая. Переселенцы как-то враз расправили спины, смелее стали смотреть в глаза приставу и казакам. Поняли, что если враз, если все, если дружно, то и сам чёрт не страшен.

Пока Фёдор был в Ольге, Безродный за долги описал всё имущество Козинных: скот и коня увёл на своё подворье. Козины остались голым-голешеньки. Горько плакала Марфа.

— Дурак, на кого пошёл доносить? На Безродного? Теперь пропадём с голоду! — причитала она.

Пусто стало на дворе Козинных, будто они собрались куда-то уезжать, распродали всё и ждут оказии.

Поднялась деревня в защиту Козинных против Безродного, но здесь право было на его стороне: Козины должны — пусть расплачиваются за долги. Безродный не желал ждать.

— Хватит! — гремел Безродный. — Я был ко всем добр, со всеми покладист был, а что за это получил? Хватит! Наговаривают на меня разную ересь, а я терпи! Безродный терпелив не вечно.

Приезжал следователь с приставом и казаками, следов убийцы не нашли, казаки целую неделю проторчали в деревне.

Замерла и затаилась деревня. Затаился и Безродный. У него стоял казак, охранял его покой.

4

Зелёным морем дыбилась тайга. Жарко полыхало солнце. Зной и томление. У всех полон рот забот: не успели отсеяться, как подошла пора полоть хлеба и овощи, а там и окучка картошки. Работали с восхода солнца до заката. Некогда было за детьми присмотреть, а те играли на берегу речки, рылись в дорожной пыли.

В один из таких страдных дней трёхлетняя Розова Ирка и дочь Гурина Галька, той сравнялось уже пять, возле речки пекли из песка шаньги. И так заигрались, что не заметили красного волка, который выскочил к ним из кустов, схватил за холщовое платье Ирку и понёс через речку в тайгу.

— Волк! Волк унёс Ирку! — закричала Галька, прибежав в деревню.

К счастью, большинство мужиков были дома. Выскочил с берданой Гурин, за ним Козин, сбежались ещё мужики; прыгнули в проезжую телегу, бросились в погоню. У сопки преследователи разбежались в разные стороны. С Розовым рядом оказался Фёдор. Они первыми взбежали на крутую сопку и услышали рычание. А потом тишину разорвал крик:

— Мамаа-аа-аа!

Розов метнулся на крик и увидел бегущую к нему дочку. Схватил на руки, начал шарить по телу — искал раны. Но тут же отпустил девочку, увидел на склоне сопки зверя. Сорвал затвор с предохранителя и вскинул бердану.

Крикнул:

— Чёрный Дьявол!

Федька помешал — отвёл ствол в сторону.

— Погоди, тут кто-то хрипит. Кого-то Дьявол задал.

В кустах они увидели издыхающего волка.

— Дьявол его придушил, — сказал Фёдор и выстрелил вверх.

Сошлись охотники. Розов заорал на Козина:

— Вот этот дурак не дал убить Дьявола!

— За то, что он спас твою дочь, ты хотел убить Дьявола? Да? — спросил Гурин.

— Точно. Убить. Сколько он нам хлопот доставил!

И снова пошли разговоры:

— Пришёл к нам Чёрный Дьявол. Год не было. Где-то жил?

— Не забулгачил бы опять. Не привёл бы в зиму волков.

— Сложна душа собачья: то волков водил, то давит их, ребёнка спас.

— Мужичья сложнее. Розов за грош продается Безродному, сподличал. Безродный хапает что можно... — говорил Ломакин.

5

В ночь Безродный ушёл на солонцы за изюбром. С вечера звери не пришли, он в полночь возвращался домой. Увидел табун около овсов Гурина — пастух спал где-то в шалаше, — взял да и загнал его в овсы.

С пантовки из тайги возвращался Ломакин и всё видел. Утром с понятами он пошёл на гуринские овсы. Всё было смято и потравлено. Ломакин ударил в колокол, что висел на столбе сходного места, собрал народ. Там всё и рассказал. На сход вызвали Безродного и Розова. Первым заговорил Ломакин:

— Ну, вот что, паря, хватит. Безродный потравил нароком овёс, Розов стравил волкам гуринских овец.

— С чего ты такое взял? — вскипел Розов.

— А с того, что на твоём огороде работник окучивал картошку и нашёл обгоревший ичиг с пришитыми к нему лапами. Твоя работа. Всё. Говорить нам много нечего, так и порешим: сегодня же Розов гонит в гуринский двор овец. Безродный платит ему за потраву. Цена потраве двести рублей серебром. Голосум, други.

Безродный рванулся, чтобы выйти из круга, но его придержали, не дали уйти. И всё это молча, без крика. Лишь глаза выдавали то, что накопело в людях.

— Так, господин Безродный, платишь ли ты за потраву? — тихо спросил старшина Ломакин.

Безродный сквозь зубы выдавил:

— Плачу.

— Тогда деньги на кон. Не вздумай юлить. В нашей деревне живёшь.

Безродный шёл со схода, сжимая кулаки. Будь его сила, он тут же пристукнул бы Гурина, Федьку бы повесил за ноги на сук, пусть бы посушился день другой. Сколько они ему крови перепортили, и всё приходится терпеть. А что делать? Калину убил — от пристава получил нагоняй. «Хватит! — орал пристав. — Ежели бы высшее начальство прознало про это убийство — беда. Сорок человек пришло с оружием. Да ты думаешь своей башкой, что это и как? Народ бурлит. Если ещё тронешь кого — каторга».

И всё же, решил Безродный, надо затихнуть на время, чуть дать слабинку. На панты повысить цену, сбросить цены на товары.

Дома места не мог себе найти. Постоянно придирался к Груне. Не выдержала она, сказала:

— Степан, как ты противен стал мне! Не могу я больше переносить тебя. Ох, как противен!

— Убью! На куски разорву!

— Да ведь я того и жду. Убей или разорви. Людям противна, себе противна. Жить больше не могу.

— Сука ты, а не баба. Другая радовалась бы такой жизни, а ты нос воротишь.

— Такой уж родилась. Завидую другим бабам: хоть и гнутся на пашнях, работают не покладая рук, но честны. Перед людьми и Богом чисты. Да хватит об этом. Отстань!

6

Пора сенокосная, тяжкая, нудная, но любит её мужик. С детства полюбил он эту пору: запах трав, вжиканье кос, крепкий сон под травной крышей. Там и тучки виднее, и небо шире, а уж мечты — им конца и края нет. После обеда лечь в тень и слушать перезвон кузнечиков, ощущать тихую ласку ветра и вот так задремать. А потом, после сна, отбил косу и пошёл гулять, пошёл класть в рядки сочные травы. А здесь, в Приморье, травы душисты; бывают и с полынной горечью. Но где есть такие травы, где такая жизнь, чтобы хоть чуть да не горчила...

Розов первым ушёл на свой покос. Решил построить шалаш, а уж потом привезти сюда семью и работников. Мог он теперь их нанимать, людей, — разжился от подачки Безродного. Радовался Розов: травы в рост. Не удержался, сделал прокос, другой, третий. Сгоношил шалаш, а тут и ночь пришла. Забрался в шалаш, заснул под шум дождя.

А ночью вышел из берегов ключик и затопил шалаш. Розов проснулся. Бросился на сопку и там до утра дрожал под дождём и ветром. Чуть свет побежал к реке, а её не узнать: взбурлила река, вспенилась, катила вскачь мутные волны, гремела перекатами, выходила из берегов. Лодка болталась, привязанная к кусту; вот-вот её затопит. Прыгнул в лодку, оттолкнулся шестом и погнал её к другому берегу. А тут наперерез ему коряга. Хотел увернуться — не успел, коряга ударила в борт, и Розов полетел в кипень волн. Плавать он не умел и тут же начал тонуть.

— Тону-у-у-у! Спаси-и-те! — в отчаянии закричал он, но голос его запутался в рёве реки.

Мимо плыло что-то чёрное. Розов выбросил руку и поймался за мокрую шерсть. «Медведь», — мелькнуло в голове, но руку не отпустил. И так они доплыли до берега, выбрались на косу. Розов, отплёвываясь водой, отполз к кустам. Повернулся, чтобы посмотреть, кто его спаситель, — на косе лежал, тяжело дыша, Чёрный Дьявол. Посмотрел он на человека, медленно поднялся и пошёл в кусты.

— Дьявол! Дьявол! На! На! — начал звать Розов.

Но пёс даже не обернулся, скоро он скрылся за кустом калины и пропал в чаще.

Розов пришёл в деревню и рассказал про этот невероятный случай. Бабки отнесли его к велению свыше. Мужики пожимали плечами. В то, что пёс — дьявол, уже мало кто верил.

Но всё было просто. Когда Буран жил у Макара, он часто купался с детьми. Они, бывало, в шутку

кричали ему, что тонут. Буран тут же бросался на крик и помогал ребёнку выбраться на берег. Бросился Дьявол и на крик Розова. Оказался у шалаша Розова он не случайно, с весны крутился около деревни, искал встречи с Федыкой. Розова он не знал, поэтому не подошёл к нему так смело, как подошёл бы к Федыке. Но встретить одного Федыку не представлялось случая. То он на полях с сёстрами и матерью, то среди мужиков в деревне.

7

Фёдора Козина пригласили на корневую охоту тазы Цун и Лан, чтобы их не тронули бандиты или хунхузы, которыми была полна тайга. Обычно бандиты не трогали корнёвщиков, если с ними был русский. Козин согласился, тем более что напарники дали слово поделить всё поровну.

Однажды Чёрный Дьявол подобрался к задам огорода, смотрел, как Козин чистил бердану, долго и тщательно собирал котомку, мазал дёгтем ичиги. Вот так же Макар собирался на охоту, а Буран не спускал с него глаз, прыгал от радости, лаял и скулил. Но тут пёс затаился за кустами и не смел открыто проявить свою радость.

До Безродного дошёл слух, что Козин идёт корневать. Слышал он, что и другие охотники идут корневать с китайцами и корейцами. Раньше же они давали страшную клятву никогда не показывать русским, где искать корень и как его копать. Безродный решил идти по следам Козина, для этого он вызвал из Ольги Цыгана.

Цун повёл свой маленький отряд под охраной Козина за перевал. Три дня шли, остановились в среднем течении реки Синанчи. Косматые кедры обступили охотников за корнем, лопотал и звенел ключик, по небу плыли неспешные тучи. Цун расчистил место на тихом взлобке, и охотники начали ставить шалаш из коры. Делали его со всеми удобствами: соорудили место для просушки портянок, для продуктов, поставили навесик над костром, чтобы дождь не залил огонь. Цун сделал в объёмистом ильме треугольник — походную кумирню, — помолился духу гор и лишь потом лёг спать.

Чуть свет они вышли на корнёвку. Фёдор набил карманы патронами на случай, если придётся отбиваться от хунхузов, шёл следом за корнёвщиками. Сами же тазы не брали на корневую охоту оружие. Им это «запрещал» дух гор. Он, дух, мог ошибиться, идёт ли честный человек или хунхуз, и не показать дорогих корней. А русским дух гор такое прощал, похоже.

Потом шли они цепью. Цун на всякий случай рассказал, как выглядит трава корня женшена. Ни в

первый день, ни во второй они не нашли ни одного корешка. Фёдор меньше всего присматривался к травам, им с самого начала владело смутное беспокойство, ему всё казалось, что кто-то за ним следит. Он этим поделился с Цуном:

— Понимаешь, вот душой чую, что по нашим следам кто-то ходит. Слышал треск сучка, потом видел дым в ключе. Кто бы это мог быть?

— О, моя понимай, это дух гор ходи, его посмотри, как наша работай, мало-мало подумай, чесни мы люди или плохой. Потом его уходи. Так всегда бывай.

Федька сердито думал: «Вот за то и бьют вас, болванов, что вы все за своих духов цепляетесь». Стал ещё осторожнее.

А Безродный и Цыган вышли на следы корнёвщиков. Узнать, что здесь Козин, было легко: корнёвщики были обуты в улы с острыми носками, а Козин — в тупоносые ичиги. Бандиты побывали у шалаша. Затем отошли за ручей и затаились. Утром они осторожно крались по следам корнёвщиков. К обеду услышали впереди себя звонкий крик Цуна:

— Панцуй!

— Шимо панцуй? — спросил его напарник.

— Шуба юла!

— Корни нашли. Теперь не надо зевать, — сказал глухо Безродный.

Цун во всю силу кричал своё «панцуй», чтобы корень не превратился в траву или куст. Этим криком он напугал женьшень, теперь тот постыдится на глазах находчика уйти или сменить шубу.

Безродный повернулся к Цыгану, глухо сказал:

— «Шуба юла» кричат. Значит, семью нашли. Не зевай!

К находке подбежал Фёдор. Он впервые видел этот чудо-корень, наклонился. Ничего особенного. Шапка красных ягод, посредине стебля пятипалые листья. Плантация была богатой. Около пятнадцати корней были годны к копке, молоди — за полсотню. Молодь останется расти. Семена будут посеяны, об этом торопливо говорил Цун:

— Маленький корни будут живи. Другой люди ходи, снова посмотри, подумай, наша был хороший люди.

Цун и Лан начали выкапывать корни. Работа эта тонкая, мудрая. Надо каждый корешок откопать костяной палочкой, не повредить нежную кожицу. Из тысячи переплетений других корней найти корешок женьшеня.

Медленно и утомительно шла работа. Фёдор почти не присматривался к ней. Он зорко осматривал сопки. Ему показалось, будто у скалы блеснул ствол ружья на солнце. Но точно не определил, ружьё то было или просто роса блеснула. Фёдор до боли в глазах осматривал сопки и увидел, как по взлобку промелькнула чёрная тень. Остановил взгляд на скале — снова там что-

то блеснуло. Стало тревожно: богатство в руках, а если за этим богатством уже следят злые глаза?

Было по-августовски жарко и парко в тайге. Первые золотинки появились на листьях берёзок, чем-то схожие с первой сединой на висках, лёг густой загар и на листья клёнов. Тишина и таинственность...

— Ты, Цыган, давай на ту сопку, там занимай позицию, а я залягу под скалой. До моего выстрела не смей палить. Знаю я тебя, мазилу. Первым я беру Козина, а остальных мы доколотим потом, — приказал Безродный.

— Добре. Ну, я пополз. Буду ждать. Видно, добрый куш будет.

Безродный поднялся на скалу, отсюда корнёвщики были видны как на ладони. Залёг за камнем. Сто сажень для его винтовки — плёвое дело.

— Ну вот, лиходеи, пересеклись наши тропки. Отходил ты своё. За всё сочтёмся. За ошейник, за доносы, — хрипел Безродный, удобно укладываясь для стрельбы. — Изрежу тебя на кусочки и разбросаю на корм колонкам.

Руки чесались дать выстрел, но сдерживало то, что корнёвщики ещё не выкопали корни. Ему с Цыганом копать не приходилось, куда легче забрать уже готовенькое, в лубках-конвертах, обложенных сырым мхом. Терпеливо ждал. Сорвал травинку, уже по-осеннему жухлую, и медленно жевал её. И вдруг икнул, сжался. Почувствовал, что кто-то стоит позади него. Стоит и смотрит насторожённо. Часы в нагрудном кармане отсчитывали секунды. Секунды отбивало сердце в груди. Корнёвщиков он уже не видел. Глаза застлал туман страха.

Корнёвщики выкопали ещё один очень дорогой корень.

Цыган хмыкнул:

— Везёт нам. Ишь, какой корнице выдрали. Молодцы фазаны. Но вот только этот Козин...

Цыган боялся убивать русского. Но, чтоб успокоить себя, решил: «А, чёрт с ним. Не я буду в Козина стрелять, значит, не я буду его убийцей...»

Безродный продолжал лежать в той же застывшей позе, не смел пошевелить рукой. Боялся даже потянуться за револьвером. Невольно вспомнилась занемевшая спина Макара Булавина, его опущенные плечи. И, пересилив свой страх, с зыбкой надеждой, что померещилось, что за спиной никого нет, он резко повернулся и мгновенно понял: не будет спасения. Над Безродным стоял во всей своей звериной красоте и силе Чёрный Дьявол. Судьба, нагаданная Цыганом, Гришкой-подкидышем. Безродный застонал, пополз на спине прочь от пса. Про всё забыл: про револьвер и винтовку. Но Чёрный Дьявол не спешил, он будто наслаждался страхом своего врага, наслаждался его унижением.

— Шарик, Шарик! Прости, Шарик!

И казалось, что Шарик — Хунхуз — Буран — Чёрный Дьявол сейчас скажет: «Да хоть смерть-то прими по-людски». Дрогнули рыхлые губы Хунхуза — Чёрного Дьявола. Он прыгнул на грудь Безродному, вогнал клыки в горло...

Шум и визг, сходный с поросычьим, услышали корнёвщики. Вскочили с колен, насторожились. Фёдор было подался на крик, но его остановил Цун:

— Его нельзя туда ходи. Ламаза, тигра, мало-мало чушка гоняй. Наша надо быстро копай и тругой район ходи.

Корнёвщики поспешно докапывали находку. А горы голубели, горы нежились в мирной дремоте, и не было им дела до того, кто кого убил.

Цыган слышал шум и визг, но тоже подумал, что тигр задавил поросёнка. Он ждал выстрела Безродного. А выстрела всё не было и не было. Вот корнёвщики выкопали корни, сделали традиционные затёски на кедре, чтобы люди знали, когда и где взяты корни, уложили их в лубодеры — коряные конверты — и заспешили в лагерь.

— Струсил Степан, бога мать! Дура, корни-то уходят, а он не стреляет, — досадовал Цыган.

Цыган поднялся из-за валежины и пошёл к напарнику. Спины корнёвщиков мелькнули за деревьями и скрылись. Вышел к скале, тихо свистнул. В ответ услышал тревожный шёпот листвы, мирный говорок ключа. Над головой крутился юркий поползень. Цыган полез на скалу. Снова свистнул. В ответ тоскливо и протяжно прокричала желна:

— Пи-и-и-ить! Пи-и-и-и-ить!

С клёна упал на лицо Цыгана первый осенний листок. Цыган поймал его, размял в ладони, понюхал, от листка пахло осенью. Нехорошее предчувствие спёрло дыхание. Цыган выбежал на скалу и едва не споткнулся о труп Безродного. Он отпрянул в сторону, вскрикнул, круто повернулся и, ломая чащу, продираясь через неё, бросился под гору. Запутался в лианах лимонника, ринулся к ключу, но сорвался с обрыва и рухнул грудью на острый еловый сук. Нашёл ещё силы вскочить, сделать шаг, другой и упал головой в воду. Успел увидеть рядом чьи-то лапы...

Чёрный Дьявол обнюхал тело Цыгана и затрусил вслед за корнёвщиками.

Дунул спросонья ветерок, колыхнулась в небе тучка, наплыла на солнце и тут же сползла. Снова стало светло и чисто в тайге, будто мир жил в вечной радости...

Дьявол шёл по следам друга. Но подойти к нему боялся, потому что Федька был не один. Пёс тихо шуршал листвой, трещал сучьями, тревожил людей, и Фёдор не удержался, выстрелил по шороху. Пуля вжикнула рядом с Дьяволом, пёс рванулся с места, прогремел чащей и убежал. Пуля отогнала его от Федьки — если стреляет, то какой же он друг...

Месяц бродил с корнёвщиками Козин. Ещё нашли корни. Поделили всё честно. Фёдор продал корни перекупщикам в посёлке Шамынь, купил себе вместо берданы винтовку-трёхлинейку, двух коней, корову, разных ситцев и сатинов.

8

Пристав Баулин ещё с вечера собирался поехать к Груне Безродной. Ясно было, что Степан погиб в тайге. Но утром пришёл пароход, и с ним пришёл грозный циркуляр, где приказывалось Баулину уничтожать хунхузов, ловить русских бандитов, бороться с нашествием беспаспортных маньчжуров и корейцев, гнать из устьев рек японских рыбаков, которые во время хода лососёвых перегораживали сетями речки и вылавливали почти всю рыбу, ловить браконьеров и разных бродячих людей. Баулин, прочитав приказ, по-мужицки выматерился.

— Хорошо писать циркуляры, сидючи в кабинетах. Сотня казаков и я — это на такую тайгу. В бога мать! Сгинул Безродный, а где? Тут и с десятком тысяч казаков не найти.

Баулин мысленно представил свои владения, которые растянулись на тысячи километров к северу. Как за эти семь лет изменилась тайга, сколько выросло новых селений, а для каждого из них нужно его неусыпное око. Шёл тысяча девятьсот тринадцатый год. Народ ехал и ехал на вольные земли в глушь таёжную. Выросли по речке Топаузе — Крещатик, Брусилово, Импань... На Голубой реке участник Русско-японской войны Георгиевский кавалер Фёдор Пополитов обосновал деревню Кавалерово. За Кенцухинским перевалом ширился рабочий посёлок Тетюхе. Там заправлял купец Бринер — добывал серебряно-свинцовую руду, выплавлял серебро и вывозил за границу. На рудниках вспыхивали бунты, которые должен был подавлять Баулин.

— И ведь едут-то всё больше те, кто бунтовал в России. А, чёрт, попробуй справишься со всем этим народом. Начальству хорошо, а Баулин за всё отдувайся. А платят — что и на жратву мало. Как тут не разрешить тому же японцу ловить рыбу в устье? Да наплевать на всё!

И Баулин на многое смотрел сквозь пальцы. А край грабил, по тайге бродили золотоискатели, искатели руд, которые столбили свои участки, чтобы потом выгодно их продать; зверя били без всяких запретов круглый год, горела тайга. Десятки тысяч бродячих людей наводняли её. За границу уходило золото, панты, корень женьшень, пушнина... «Поеду к вдове Безродного. Эта вдовушка озолотит меня, и не надо будет думать о хлебе насущном. Могу и в отставку подать, сам купцом заделаюсь», — решил Баулин и приказал вестовому седлать коня, поднимать по тревоге казаков.

Груня спокойно приняла Баулина. Стоя у стола, не приглашая сесть, выслушала его.

— Всё обыскали, но труп Степана не нашли, — сказал Баулин. — Убит он, это точно. — Усмехнувшись: — Хоть бы сесть пригласила.

— Садись. За весть спасибо, давно ждала.

— Так вот, Груня, человек я холостой, выходи за меня замуж. Как-никак пристав, — без обиняков предложил Баулин.

— От одного злодея избавилась, а теперь ты?

— Это я-то злодей?

— Да, господин Баулин, вы одного поля ягода со Степаном. Ведь я всё знаю. Иди в другом месте поищи бабу.

Баулин вскочил, грохнул шашкой об пол.

— Меня гнать! Ну, я это тебе припомню!

Пулей вылетел из дому, вскочил на коня и с казаками ускакал в сторону Кавалерова.

Груня устало вздохнула. Эти сватовства ей уже надоели. Приходили к ней свататься вдовы мужики, парни. Но тех она не гнала грубо, а с горькой усмешкой говорила:

— Не ходите вы ко мне, люди, за-ради бога. Ни за кого я замуж не пойду, а если уж пойду, то за любимого.

Но любимый не шёл к ней. Как-то на улице встретила Федьку, остановила его, спросила:

— Чего не заходишь?

— Да недосуг мне, — ответил Федька и отвёл глаза в сторону от запавших глаз Груни.

— Приезжал Баулин, заверил, что моего в тайге кто-то хлопнул. Хлопнули — это точно, вот уже и весна на носу, а его всё нет.

— А ты знаешь, у меня есть думка, что Степана придушил Чёрный Дьявол. Я ведь его след видел. А Безродный, потом мне говорили мужики, пошёл по моим следам. Хотели они упредить меня, но не смогли — мы с тазами зашли в такую глушь, что отыскать нас было трудно.

— Может быть, и так, Безродный боялся Шарика... Теперь я свободна.

— Ну и что?

— То, что бери меня замуж. Измаялась я без тебя. Люблю я тебя, Федя.

— Любишь меня? — удивился Фёдор. — М-да. Но, чую, невеста не по моим зубам. А потом, как же это, ведь ты была женой убийцы? Нет, не смогу я жить с тобой.

— Но ведь я помню твои слова, когда ты кормил Шарика, ты так много хорошего тогда говорил...

— Ты всё слышала?

— Да. И слёзы твои у речки помню.

— Эх, Груня, любил я тебя, может, и сейчас люблю, — погрустнел Федька. — А что скажут люди? На дармовщину, скажут, позарился? Ведь всё, что есть у тебя, нажито с крови людской.

— Тебя богатство беспокоит? Так я раздам его людям, приду к тебе нищенкой. Возьмёшь ли после этого? Начнём жить с мотыги.

— Начать жизнь с мотыги... Это хорошо ты сказала. Но не в том дело, Груняша. Не в том. Просто мне надо душой переболеть. А так, сразу... Нет, не могу. Не судьба, видно, нам жить вместе.

— Ну и на том спасибо, что правду сказал. Прощай. Может, когда и встретимся... Только, пожалуй, теперь я своё добро не раздам нищим, а найду таких людей, которые его пустят на доброе дело.

Про отказ Фёдора жениться на Груне узнала деревня. Иные пожимали плечами, другие откровенно крутили выразительно пальцами у виска: мол, того, чокнулся, пропал мужик. И невдомёк людям, что для Фёдора сытость, деньги — не всё. Ему нужно счастье — тихое, доброе и лучше всего незаметное.

Груня распродала своё хозяйство. Лавку и дом купил тороватый купчишка из Владивостока. Около двух тысяч рублей пожертвовала на школу, простила всем долги. Оседлала своего любимого Воронка, вскочила в седло, огрела коня плетью, гикнула и понеслась неведомо куда, только и успела крикнуть:

— Прощайте, люди! Лихом не поминайте!

Унесла свою душу, душу непонятную, неизведанную, бабью душу-загадку.

Часть пятая

ПРОЩАЙ, ЧЁРНЫЙ ДЬЯВОЛ!

1

Настало лето. Жаркое солнце плыло над утомлённой землёй, над голубыми горами... Текли реки, бежали по небу тучки. А среди людей ползли слухи о войне. Будь жив Калина, он не преминул бы сказать, что война выйдет из-за бунтовщиков. Но нет его давно. Так и не нашли его кости. Но кости того, кто убил Калину, нашёл Фёдор, сын Калины. Нашёл в тайге и предал земле.

По весне Фёдор женился. Жёну привёл в дом тихую и добрую. Дарьюшка плавно ходила по избе, ловко и как-то неприметно всё делала, улыбалась счастливо Фёдору робкой улыбкой.

О Чёрном Дьяволе забыли. Он не появился зимой, весной тоже никто его не видел у деревни. Считали, что пёс пропал.

Наступил жаркий июль. Козин собрался на пантовку. К этому времени панты изюбров и пятнистых оленей идут первым сортом и весом ладно вытягивают. Фёдор жил уже неплохо. Зимой хорошо про-

мышлял пушнину. Теперь думал подзаработать на пантовке. В богачи он не рвался, как Розов, который стал настоящим кулаком.

Фёдор закинул винтовку и котомку за плечи и ушёл на свои излюбленные солонцы. Это были природные солонцы. Фёдор ещё и подсаливал их.

Солнце клонилось к закату. Козин спешил, чтобы засветло попасть на место, приготовить дров, поправить свой балаган. Может дождь пойти — всё не без крыши над головой. Версты две осталось пройти — балаган стоял в версте от солонцов. Мимо Фёдора пролетали рябчики, пробежали белки с облезлыми хвостами, тренькали птички, но неохотно. И вот в эту мирную тишину ворвался волчий вой. Для лета дело необычное.

Фёдор остановился. Не сразу смог определить, откуда шло завывание. Кажется, волк был на сопке. Фёдор сдёрнул винтовку и пошёл туда. Убить волка, да ещё летом, для охотника слава немалая. Зверь хитрый и осторожный. Без шума крался Фёдор.

Волк был на одном месте. Это чуть озадачило охотника. Тем более что после воя раздался предупреждающий рык. Значит, зверь слышал человека. Фёдор обошёл полуразрушенную кабарожью изгородь, увидел в проходе петли, возмущился. Кто же забыл убрать на лето петли! Фёдор раздвинул куст таволги и в полусотне шагов увидел чёрного волка. Он сидел в петле. Фёдор вскинул винтовку, едва не выстрелил.

Перед ним был Чёрный Дьявол! Пёс, вздыбив шерсть, сурово смотрел на человека, сильно тянул чёрными ноздрями воздух. Не двигался. Будто осуждённый, обречённо ждал выстрела. Поднял голову и с тоской завыл. Его вой долетел до вершин сопки, до туч, там и растаял.

— Шарик! — крикнул Фёдор, пересохшее горло вместо крика издало сиплый звук. — Шарик! — бросил винтовку и кинулся к собаке. Дьявол ощерил клыки. Угрожающе подобрал лапы. Но вдруг ослабил их, вильнул хвостом и опустился на траву. — Шарик, милый! Это я, Федька! Ну, Шарик!

Дьявол был худ. Торчали рёбра, тазовые кости. Видно, уже не один день он сидел в петле. Он почти наполовину перегрыз ель, за которую была привязана петля, грёб землю, подрывая корни, но сил не хватило. Ещё счастье, что Шарик попал в петлю не шеей, а захлестнула она его через плечо, под лапу.

Козин освободил пса от петли. Быстро снял котомку и бросил псу половину каравая. Дьявол долго нюхал хлеб. Ведь он несколько лет не ел его. Затем жадно схватил пастью и, почти не жуя, проглотил. Фёдор скормил весь каравай. Постоял над ним в раздумье, надел котомку, сказал:

— Ну вот что, Шарик, я тебя спас, а теперь сам решай, куда тебе податься. Я буду рядом. Хочешь — придёшь, а нет — твоя воля. Ты и без того сделал ве-

ликое дело: удушил Безродного, за всех враз отомстил. Решай!

Фёдор вернулся к ружью, пошёл по изгороди, чтобы снять петли. Зачем зря кого-то губить без надобности? Пришёл на свой таборок. Прибрал в балагане, наготовил дров. Отрезал кусок хлеба и оставил на виду, если придёт Чёрный Дьявол, то может поесть. А когда солнце село, Фёдор ушёл на солонец.

Изюбры ходят на солонец всю ночь. Но впотьмах трудно в них стрелять, Козин надеялся в сумерках добыть зверя. Лабаз, который он соорудил в развилке ильма, был цел. По вбитым в дерево колышкам он влез на лабаз, уселся и стал ждать. И тут же на него навалился мокрец, комар, но что делать, охотник должен и это претерпеть. Пока не слышно зверя, можно отмахиваться, а вот когда он начнёт подходить, тут уж не дыши. Отдай своё лицо и руки на съедение гнусу, иначе зверь уловит малейшее движение на лабазе и уйдёт.

И чу! Вдали треснул под копытом изюбра сучок. Фёдор замер. Зверь долго стоял перед солонцами и чутко слушал тишину. Поверил тишине и смело пошёл к солонцам. Постукивали копыта по корням, потрескивали сучья... И вышел на чистинку изваянный из меди богатырь, будто из сказки пришёл. На голове — тупые рога — панты. Поднял голову и замер. Что-то подозрительное почудилось ему на лабазе. Хотел повернуть назад, но выстрел подсёк его ноги. Тяжёлый гул прокатился над сопками, разбудил тишину.

С низовьев ключа ухнул филин. Пролаял на выстрел гуран, бесшумно проскользнула над головой сова. Снова в тайге наступила тишина.

Козин сполз с лабаза и подбежал к добыче. Маленьким топориком ловко вырубил панты с лобной костью и повесил их на сук вниз концами рогов. Начал свежевать зверя. Для этого развёл костёр и до полуночи провозился. Все отходы закопал под корень ели, чтобы запах крови не отпугивал зверей. Мясо уложил в холодный родничок и завалил камнями, там его колонки и соболи не тронут. С факелом в руке заспешил на табор.

Шёл, а сердце билось частыми ударами, хотелось, чтобы Чёрный Дьявол поверил ему и пришёл.

А Дьявол, прежде чем прийти к человеку, с трудом спустился в ручей, долго пил воду, затем так же долго лежал, отдыхал и лишь потом медленно пошёл по следам человека...

Он выбрал себе судьбу. Сторожко стоял перед балаганом. Сманенный запахом хлеба, вошёл в него. Съел хлеб, вышел и лёг на еловую кору. Стал ждать.

При свете факела Козин увидел его. Молча снял котомку, развязал тесёмки и вытащил оттуда пудовый кусок мяса. Почти половину отрезал и отдал псу. Сам же заварил себе в котелке свеженину. Всё делалось так, будто Чёрный Дьявол, Шарик, всегда был с Федькой и они уже много раз вот так ждут друг друга.

— Ешь, поправляйся, и пойдём домой. Того, кто хотел тебя убить, ты, сам знаешь, уже нет на свете. Заживём ладно. Да и тебе хватит бродяжничать. Одному жить трудненько. Не житуха, а нудьга. От одной скуки можно сдохнуть.

Пёс, чуть склоня голову, слушал.

— Ты уж не таи обиду, что я тогда в тебя по шороху стрелял. Думал, тигра. Так-то.

Тихо и ровно горел костёр. Козин лежал у костра, смотрел на звёзды, думал о своей жизни, будто книгу перелистывал. «Упустил Груню, может, поспешил я? Ведь Груня ни в чём не повинна. Она мне милее Дарьюшки, роднее за то пережитое, выстраданное. Могли бы зажить хорошо. Уехать куда-нибудь... Уехать, а душу здесь оставить?... Да и не приняла душа Груни. И вообще, для чего я живу?...»

— Ну что, Шарик, жить будем или снова в разные стороны раскатятся наши тропки? С Груней раскатились, а теперь с тобой, может быть. Держать не буду, — заговорил вслух Козин.

Чёрный Дьявол поднялся, подошёл к человеку и лёг рядом с ним. Голову опустил на лапы, закрыл глаза. Козин положил на его широкий лоб руку, тихо поглаживая, рассудительно говорил:

— Жизнь прожить — штука сложная. М-да. Метался ты по тайге, а разве я не метался? Все мы мечтаем, все себе тихую пристаньку ищем. А нету здесь тихой пристаньки.

Пёс слушал Козина и вспоминал такие же костры на охоте с Макаром, такие же ночи. Фёдор сел и стал дёргать из его кожи клещей, крупных, как горошины. Ну всё было так же, как с Макаром...

И Чёрный Дьявол остался с человеком. Две недели откармливал его Козин. Двух изюбров скормил, пока не увидел, что пёс окреп. Потом они пошли домой. Шли, как обычно ходит охотник с собакой: собака чуть впереди, человек следом. У околицы деревни Чёрный Дьявол остановился. Долго слушал давно забытые звуки деревни. Повернул голову в тайгу. Козин понимал состояние Дьявола, гладил его по голове, чесал за ушами, говорил:

— Ну что ты, Шарик, пошли, там тебя уже никто не тронет. Ты мой. Пойдём, Шарик!

Но пёс не шёл. Он стоял на дороге, а когда Козин отдалился от него на несколько шагов, он бросился к нему, поймал пастью полу зипуна и начал тянуть назад, звать в тайгу.

— Ну, Шарик, Шарик, — ровным голосом, без нажима убеждал Фёдор, — пошли к нам, тебе будет хорошо. Безродного нет, а больше тебя никто не тронет.

Пёс заскулил, заметался, а потом завыл. Вспокоил собак в деревне. Козин обнял его, тихо заговорил:

— Я понимаю тебя, Шарик, ты сжился с тайгой. Но ведь там очень опасно. Вот я спас тебя от петли, ведь это случай: не пойдя я на солонец, и пропал бы

ты. Другой охотник точно бы тебя убил. Тайга, народ тёмный, верят люди разным байкам и сказам орочей и гольдов... Ну, пошли, Шарик.

И пёс побрёл за человеком. Собаки вылетали из подворотен, но тут же с визгом удирали назад. Шарик шёл, хвост-полено не опустил. Из дворов выбегали сельчане. Слышались возгласы:

— Вот это пса привёл Козин!

— Не пёс, а телёнок, громадина какая, гля!

— Дэк ить это же Дьявол! — закричал Розов. — Пра, Чёрный Дьявол!

Мужики сходились. Но не спешили подойти близко: пёс ощерил клыки.

— Сторонись, други, — предостерег сельчан Фёдор, — кто знает, что у него на уме.

Козин привёл собаку домой. Сел на крыльцо, разулся, отдал Дарьюшке пару пантов, чтобы она унесла их в ледник, обнял Чёрного Дьявола, тот прижался к нему и замер. У калитки собрались мужики. Тихо разговаривали.

— Молись, Розов, на Дьявола, это он спас тебя от смерти.

— М-да. Дочку твою спас.

— Оно так... А может, этот пёс и уханькал Безродного? — гадали мужики, но Фёдор молчал, не открывал только ему известной тайны.

— Всё может быть. Пока догадки. Пёс молчит, и тайга молчит, — тихо говорил Гурин. — Пусть у нас живёт.

— Знамо, пусть живёт. Расскажи, Калиныч, как ты его спроворил.

Фёдор коротко рассказал. Не станешь же говорить обо всём, что передумал, чем переболел за это время он. Такое не каждый поймёт...

У Козиных дела пошли в гору. Фёдор добыл за пантовку пять изюбров. Добыл легко, будто сходил на прогулку. Пёс сам нагонял на него изюбров — стреляй, не ленись. Правда, первое время боялся громко лаять, отвык, но скоро осмелел, загонял изюбров на отстойники, в речку, а то останавливал на чистом месте и облаивал.

Осенью Фёдор ушёл с псом корневать. Первый раз сам, без тазов, удэге или орочей, ушёл на такой промысел. В тех местах, где они с Цуном нашли много женьшеня, добыл корни.

Зимой Козин больше всех добыл колонков, соболей, кабанов, изюбров. Перестроил дом, поставил новые амбары, конюшню, баню. Ожил человек. А среди некоторых сельчан снова пошли суеверные шепотки, что, мол, Дьявол помогает богатеть Козину. Разумные же охотники заводили от Чёрного Дьявола помёт...

Однажды к Козину зашёл Гурин, поговорил о том о сём и наконец приступил к делу:

— Ты, Фёдор Калиныч, скоро станешь богатым. М-да. Но как ты смотришь на то, о чём мы с тобой

говорили, ну, о революции, о коммуне, о всеобщем добре?

— Как смотрел раньше, так и сейчас смотрю. Прямо говори, чего ты от меня хочешь?

— Был здесь у меня человек, старый товарищ по тюрьме. Большевик он. Рассказывал, что сейчас их партия в подполье, с деньгами туго. Просил денег на бумагу для листовок.

— С этого и надо тебе начинать.

— Так вот. Всё, что у меня было, отдал, но мало-вато. А тут Шишканов бежал из тюрьмы, здесь, в тайге, с товарищами скрывается, ему бы помочь надо. Выслали мы им бердану, но одной мало, их там пятеро. Ты же помнишь Шишканова?

— Ладно, Гурин, чего ты тянешь и будто в чём-то оправдываешься. Раз надо, так надо. Есть у меня свободные три тысячи в бумагах — забирай. Только бы толк был, чтоб потом мне не жалеть тех денег.

— Ну и спасибо. Но тебе придётся поехать в Ольгу и закупить берданок или винтовок. Ты в малом подозрении. Однако на глаза Баулину не показывайся. Может пронюхать.

— Сделаю и это.

— Тогда по рукам!

2

Минул год.

Фёдора вызвали в Ольгу на медицинскую комиссию. Там его и ещё многих парней и мужиков хлопал по животам усатый фельдшер, кричал сестре милосердия:

— Годен воевать за Царя и Отечество!

В жарком воздухе носилось что-то тревожное. Дьявол ночами выл, словно предчувствуя беду. Днями ходил нахорхленный и вялый.

Вернулся Козин, с ним Гурин, Ломакин и много мужиков и парней. И принесли они страшное слово: война. На войну уходили Козин, сыновья Ломакина и ещё с десятков ребят.

Пели мужики и бабы тоскливую, тягучую песню: «Последний нонешний денёчек гуляю с вами я, друзья...» Несли в лавку купца последние шкурки белок, соболей, колонков, чтобы взамен дал спирту.

Но Козину не до песен. Он бродил по улице с Чёрным Дьяволом, бродил сильно сутулясь, тяжело думал. И хотелось Козину, до боли в груди хотелось, увидеть сейчас Груню и сказать ей: «Прости, Груня! Не поняли мы друг друга. Я оттолкнул тебя, а ведь зря. Ты любовь моя, ты моё прошлое, мои тропы, по которым мы вместе ходили. Груня, прости! Я помню и люблю тебя, помню тот ржавый пароход, те волны, что качали нас вместе, те слёзы мои...»

Пёс не сводил глаз с друга, ловил каждое его движение, каждый вздох. Чуть отходил в сторону и выл.

— Да заткни ты ему глотку, всю душу переворачивает! — ругались мужики.

— Пусть воет. Это он и для меня, и для вас воет — дольше свой дом будете помнить.

— Посадил бы ты его на цепь, — предложил Гурин. — Мы бы уж тут сохранили пса для тебя, если жив будешь.

— Шарика на цепь? Да ты, Василь Иванович, умом тронулся? Нет, он волен себе жисть выбирать сам. Друга тоже выберет сам. Кто им будет? Не знаю. Ничего я не знаю.

Чуть свет затарахтели телеги по тракту. Поехали мужики на войну. За телегой Калиныча трусил Чёрный Дьявол. В глазах у обоих тоска и плач.

В Весёлой гавани погрузили будущих солдат на тот же старенький «Казак Хабаров», подняли якорь; винт вспенил воду, и пароход медленно начал отходить.

Чёрный Дьявол берегом бежал вслед пароходу. Вот судно вышло из бухты. Пёс выскочил на скалу и тёмной точкой застыл на ней. Пароход уже в море дал прощальный гудок, и в ответ ему прокатилось: «Вов, ваав, воооуууууууаааа!» Прокатилось и осело в прибрежных туманах.

Козин стоял на носу парохода и плакал. Не только оттого, что выл ему вслед Чёрный Дьявол, а ещё и оттого, что Фёдор прощался с землёй, которую так крепко полюбил. Что оставил свою добрую Дарьюшку с малой дочкой. Что, наверное, никогда он не встретит больше Груню, а возможно, и Шарика.

Пароход скрылся за горизонтом. Чёрный Дьявол лёг на прогретый солнцем камень и надолго застыл, сурово смотрел на море, на волны, что бились у скал. Ему было понятно: он снова остался один.

К Чёрному Дьяволу бежали Ломакин, Розов, Гурин, у каждого в руках были ремень или верёвка.

— Шарик! Шарик! — кричали они. Розов — фальцетом, Ломакин — басом, Гурин — осипшим от волнения голосом.

Шарик повернул голову в их сторону. Чудаки... Дьявола надо не на ремень брать, Дьявола надо просто понять и полюбить. Он медленно поднялся, начал спускаться со скалы. Вышел в ложок, ещё раз посмотрел на этих людей и затрусил по боку сопки. Раз, другой чёрной тенью мелькнул среди кустов, низких дубков и исчез за хребтом.

— Прощай, Дьявол! — тихо уронил Гурин.

— Прощай, чего уж там. Люди тебя не забудут, — вздохнул Ломакин.

— А может, он вернётся в деревню? — с надеждой в голосе сказал Розов.

— Едва ли. А к тебе тем более, — ответил Гурин.

— Чем я хуже других?

На это Розову никто не ответил. Все смотрели в ту сторону, куда ушёл Чёрный Дьявол.

Прощай, Чёрный Дьявол!

Рассказы и новеллы

ПЕРВАЯ ТРОПА

Моя первая тропа пролегла в глухомани таёжной, в такой глухомани, что и представить сейчас трудно. В любую сторону: на восток или на запад, между любой деревней нас разделяло расстояние в тридцать вёрст. Его можно было преодолеть по узкой тропке. А тропка та вилась бесконечной змейкой через крутые перевалы, карабкалась на Чёртову Лестницу — ступени, вырубленные в скале в незапамятные времена, падала с обрывов, тонула в бурных перекатах. Тайга... Тайга... Тайга...

По этой тропе прошёл когда-то с отрядом казаков Владимир Клавдиевич Арсеньев, знаменитый исследователь уссурийской тайги. Память о нём ещё жива среди наших стариков. Хорошо помнит его и мой друг Евсей Исакович. Он провожал Арсеньева из долины Улахе за Сихотэ-Алинский перевал.

Мечту о том, чтобы пройти по той тропе, вдохнул в меня мой брат Федя, прославленный в ту пору охотник. Видя моё пристрастие к тайге, он часто и много рассказывал о её жителях, их повадках. Когда мне исполнилось восемь лет, он смастерил для меня из корневища ели охотничий лук. Из кедровых дражок настрагал стрелы, оперил их, а наконечники сделал из карандашей. Из десятка стрел одна была боевая. Наконечник для неё брат нашёл в догнивающей фанзе в среднем течении Яблочного ключа. По рассказам стариков, в той фанзе жил неизвестный в ту пору Дерсу Узала со своей семьёй. Но однажды случилась чёрная оспа, и вся семья его погибла. И вот там, где сливаются Фудзин и Синанча, Дерсу просил Арсеньева не стрелять, чтобы не беспокоить покой усопших. Но это всего лишь предание...

Наконечник был ржавый, с частыми зазубринами, но я его вычистил золой и заточил на точильном камне. Стрелу эту берёт пуще глаза. Настоящая, боевая... Я был уверен, что, если случится встреча с медведем, она меня не подведёт.

Медведя я той стрелой не добыл, а вот фазана — да. В ту пору их в нашей долине было очень много. Они залетали в огороды, паслись зимой на помойках, часто перебежали тропу, когда мы бегали с туесками за нарзаном (в те годы его называли «кислой водой»). Однажды, когда фазан сидел на нашей изгороди, я, как мне казалось, более часа полз к нему, бороздил землю носом. В пяти шагах поднялся, хорошо прицелился и спустил тетиву из изюбриных жилко. Первый трофей был добыт.

Брат взъерошил мой непослушный чуб, потрепал по щеке и сказал:

— Ну, теперь ты настоящий охотник. Фазана взял, а медведя взять и того проще, только целйся ему в пятку задней ноги. Это место для него смертельно. Выбирай левую, там у него сердце.

Брат, конечно, шутил, но мне тогда этого было не понять. Об этом я немедленно доложил своим друзьям. Они начали приставать с расспросами к своим отцам. Те подтвердили слова брата, а меня прозвали «Алёшка — Медвежья смерть».

Заставило меня встать на охотничью тропу долгое отсутствие брата. Однажды, это было в июне, Федя не вернулся с охоты. Он ушёл на пантовку, обещал возвратиться через неделю, но шла вторая, а его всё не было.

Я долго и терпеливо ждал. Ждал, когда брат переступит порог нашего дома, пропахший тайгой и косяками, возьмёт меня сильными руками, поднимет к потолку, опустит и скажет:

— Шёл я шёл, а кругом тайга, которая рассказывала мне былинные сказки про наш лес, горы пели песни про былое, славили охотников, ручейки бормотали свои байки, и вдруг из чащи выскочил зайка (кстати сказать, их брат никогда не убивал). Зайка — куцый хвост, длинные уши, подал мне свою мягкую лапку и спросил: «Как там поживает Лёшка? Слушает ли маму? Пьёт ли по утрам парное молоко? Весел ли?» «Лёшка у нас молодец — ответил я зайке, — слушает маму, а уж молоко пьёт — по две кружки за раз. Ведь охотник должен быть сильным, крепким. Песни горланит — вся деревня слышит. В реке купается, птичьи гнёзда в лесу поправляет, птенцов, которые из своих домиков выпали, обратно возвращает, зайчат малых не обижает. Лёшка — молодчага. Скоро вырастет, встанет на свою тропу, будет для вас защитой». И ответил мне зайка: «Поклон от нас передай Лёшке. Ждём мы его в тайгу, а пока пусть примет от нас скромный подарок».

С этими словами брат развязывал котомку, доставал оттуда ломоть чёрствого хлеба и потемневший кусочек сахара.

— Ешь, подарками нельзя брезговать.

И я ел. Ел чёрствый хлеб, сахар с прилипшими к нему крошками. Ну и вкуснота была!

Я знал, что, когда брат вернётся, его сказка будет другой — он никогда не повторялся. Но брат всё не шёл. Мама волновалась: пусть брат и был опытным таёжником, но всё могло быть. Даже из нашей маленькой деревеньки Лужки тайга иногда забирала бывалых охотников. Одних находили полуобглоданными зверями, других не находили вообще. Тайга шутить не любит. Но я уже считал себя настоящим охотником и должен был во что бы то ни стало отыскать брата.

Был вечер, когда я окончательно принял своё первое ответственное решение. По разговорам я

знал, что Федя ушёл в верховья Клюквинки. Там было его зимовьё, его солонцы, где он добывал дорогие в ту пору панты изюбра. Панты я видел, а солонцов и изюбров видеть не приходилось. Изюбра я представлял себе в виде большого быка. Солонцы же в моём понятии были похожи на солонку, из которой мама берёт соль. От берега реки до тайги рукой подать, стоит перейти её вброд — и там тайга. Хотя тайга в то время была всюду. Она плотным кольцом охватывала нашу деревеньку.

На рассвете мама ушла на работу, чтобы сварить завтрак бригаде косарей — они косили сено для коней леспромхоза. Я уже не спал. Тихонечко поднялся, чтобы не разбудить сестру и младшего брата, сунул в карман ломоть хлеба, прицепил к поясу охотничий нож — подарок деда, бросил за плечи лук и на цыпочках вышел из дому...

Вначале шла разбитая колёсная дорога, по ней возили дрова. Вскоре она превратилась в тропку, похожую на ручеёк, который затерялся в волнах тайги. Тропка привела к речке Тумбайцы. На перекате, где вода не доходила мне и до колена, я запрыгал с камня на камень, а последние метры перешёл вброд. Здесь тропка раздвоилась: одна уходила к голубеющим сопкам Малиновой и Дубовой, другая утонула в реке Фудзин. Пошёл к реке. А над рекой туман, под туманом сновали кулички, желтобрюшки, тренькали, тревожились. Река была глубже, чем её приток. Даже на перекате вода была мне почти по пояс. Течением едва не сбilo с ног, но я удержался, опираясь на палку. Перебрёл и снова встал на тропу. Вскоре зашёл под шатёр тайги. Гушара — неба не видно! Стало чуть страшно. Но если назвал себя настоящим охотником, то уж не трусь. Сделал десяток шагов, а тут мне навстречу выскочил зайчик — маленький, буровато-серый, точно такой, как рассказывал брат. Встал столбиком, пошевелил ушами, ударил лапкой по воздуху. Я ему говорю: «Здравствуй, зайчишка! Извини, забыл прихватить тебе морковку». Заяц склонил голову набок, потянул носиком воздух и без ответа сиганул в кусты.

Снова заспешил по тропе к речке Клюквинке. Прошёл с десяток шагов и увидел бегущего навстречу ежа. Ежей-то я знал. Брат приносил их домой, и они подолгу жили у нас под амбаром, ловили мышей.

Я остановил ежа. Тронул его иглы концом лука, хотел спросить, не видел ли он моего брата. Но ёж фыркнул, подскочил на четырёх лапках, хотел уколоть меня. Я тронул ежа ещё раз. Он свернулся клубком и затих. На мои вопросы не отвечал, хотя брат уверял, что в тайге все звери говорунны, а молчат, только когда их приносишь домой. После встреч с зайцем и ежом у меня закралось сомнение: так ли уж прав мой брат, может быть, он что-то напутал? Я ведь

недавно тоже изрядно напутал, когда рассказал мальчишкам, что у нас в подполье завёлся домовый. Они поверили, а потом выяснилось, что у нас стала жить маленькая ласка. Она ловила мышей, крыс, на моих глазах убила серую гадюку, которая заползла в дом, когда мама была на работе.

Случилось это так. Сестра Лина ушла поиграть с подругами, а нас с младшим братом Никитой оставила одних. Мы открыли дверь настежь и сели на полу играть в бабки. Я старше Никиты на два года и легко обыгрывал его. Заигрались и не заметили, как через порог вползла змея. Обернулись, только когда услышали её шипение, да так и застыли на месте от страха. Змея свернулась кольцом, выбросила вперёд плоскую головку и, часто поводя язычком, холодными глазами смотрела на нас.

Первым закричал Никита и прыгнул на лавку, я последовал его примеру. И в эту секунду выскочила из-под широкой русской печи рыжая зверюшка и сбоку прыгнула на змею. Змея метнулась в сторону, ласка перескочила её, бросилась снова, поймала её за блестящую шею, и обе завертелись, разметав по полу наши костяные бабки. Змея делала отчаянные усилия, чтобы сбросить с себя вцепившегося зверька, но сил явно не хватало. Вот она развернулась, снова свернулась, ударила несколько раз хвостом по полу, хвост мелко-мелко задрожал — и змея затихла. Малюсенький зверёк победил!

Взъерошенная и слегка оглушённая ласка метнула на нас взгляд бусинок глаз, и, продолжая удерживать змею за шею, с трудом начала затягивать её под печь. Скоро оттуда раздалось частое чавканье, хруст змеиных хрящей — и всё затихло. Лишь тогда мы набрались смелости, спрыгнули с лавки и выбежали во двор. С тех пор мы с Никитой тихонько совали кусочки мяса под печь, откуда они тут же исчезали. Ласка-домовый стала нашим другом. Пусть старики пугают ласок за то, что они якобы заплетают гривы коням, но люди могут наговорить, это может быть и не ласкина работа.

Я продолжил путь, я должен был найти брата. Ещё гуще обступила меня тайга, шумела ровно и неумолчно. Зашёл в густые пихтачи. Деревья тянули в мою сторону пахучие лапы. В беспросветной чаще солнца совсем не было видно. И вот из этой непроходимости выскочил какой-то зверь. Остановился в десяти шагах от меня. Тело изогнулось вопросительным знаком. Не шелохнётся. Дрогнула тёмно-рыжая, почти чёрная, шерсть, шевельнулись на ней светлые пятна, похожие на прилблудившиеся солнечные зайчики. Белые, как снег, острые, как шилья, клыки выставлены вперёд. Страшные. Но только росли они почему-то не вверх, а вниз.

В эту минуту я забыл всё, что мне рассказывал брат о том, как выглядит тот или иной зверь.

— Уходи с тропы, а то выстрелю! — пригрозил я ему, и, собрав губы в трубочку, громко крикнул: «Бам! Бух!»

Поджал зверь задние ноги, которые были намного длиннее передних, прыгнул пару раз, и больше я его не видел. Не зверь, а тень какая-то: ни одна веточка не хрустнула под копытами.

И тут меня осенило. Что есть силы я закричал:

— Кабарга! Вернись, я пошутил!

Когда я позже спросил у брата, кто это был, он подтвердил правоту моей догадки.

Вскоре я вышел на поляну. Она светлая, просторная, вся в цветах, гудела от пчёл, тонула в лучах солнца. Множество разноцветных бабочек купалось в её травах. Один край поляны прижимался к сопке, где дремали густые заросли таволжки, лещины, мелко-го дубняка. Выше кудрявились берёзки, тянулись к солнцу, трепетали и улыбались осинки. Улыбнулся и я. Бросил своё оружие у пня, погнался за бабочками, а когда устал, сел на пенёк и громко запел:

Шёл отряд по берегу, шёл издалека,

Шёл под красным знаменем командир полка...

Это была моя любимая песня. Но, видно, напрасно я её запел. От моей песни выскочил из пырья, который рос на берегу речки Клюквинки, огромный зверина. Рога острые, большие. Куда кабарошке до него! Боднул куст и грозно рявкнул: «Бав! Бав!» Сам огненно-красный, напружиненный, косил на меня блестящими глазами. Страх один.

Хотел выпустить в рогача стрелу, но пожалел, ведь боевая-то одна, может сгодиться при встрече с медведем. Их-то я видел: охотники привозили медвежьи туши в деревню. Достал из кармана рогатку, вложил круглый камешек и выстрелил в зверину. Камень хлопнул зверя в бок, он высоко подпрыгнул, будто его пчела ужалила, и такого стрелача задал по орешнику, только светлое пятно на крупе замелькало! За горой он ещё раз облаял меня и ушёл.

Победа была полной, враг бежал. Страх исчез, ведь это была всего лишь косуля — гуран, как у нас называют самцов косуль.

Снова я начал углубляться в тайгу. Выпорхнул выводок рябчиков. Рябчата — совсем-совсем ещё глупые, сели надо мной и не спешили улететь. Я вложил стрелу в лук, прицелился в одного рябчонка, но тут же опустил оружие. Уж больно беспомощным птенец выглядел. Хлопнул в ладоши, выводок сорвался и улетел за ключ.

Тропа уткнулась в покосившуюся избушку. Точь-в-точь такую, о каких пишут в сказках. Но только не было у той избушки курьих ножек. Я для верности обошёл это строение охотников, но ножек не увидел. Наверное, выросли в землю. Потянул на себя дверь,

она жалобно скрипнула. На всякий случай отскочил в сторону: вдруг там спит медведь. Из темноты зимовья пахло на меня сыростью и прохладой, запахом копоти и прелого сена. Поборол страх и заглянул внутрь. Увидел просторные нары во всю ширину избушки, железную печурку у входа. У окна грубо сколоченный столик на поленьях-ножках, на нём банка с солью. На матке висел кожаный мешок.

Вошёл. Осмотрелся. Снял мешок. В нём было всё необходимое на первый случай: спички в жестяной банке (а я забыл взять спички), крупа рисовая, гречка, сахар, несколько сухарей. Живи — не тужи. Но я прежде всего навёл в зимовье порядок: подмёл земляной пол, переложил поленья к печурке, взамен прелого сена нарезал свежей травы и разостлал её на нарах, а уж затем стал готовить себе обед. Растопил печурку, налил в котелки для чая и каши воды, засыпал рисовую крупу. Пока варил, каша у меня изрядно подгорела, но от этого она не стала невкусной. Съел всю, ещё и дно выскреб. Напился чаю. И, как подобает хорошему охотнику, безмятежно уснул на нарах, вдыхая запах таёжных трав.

В моём таёжном дворце спалось здорово. Проснулся я, когда диск солнца тронул горы на закатном небе. Деревья поймали его ветвями и не хотели отпустить, но сил, видно, не хватило. Вспомнил о своей задаче, взял в руки оружие и почти бегом зашел тропой в надежде встретить на ней брата.

Крикнул горам, чтобы они придержали солнце ещё немного, пока я добежу до вершины. Но солнце ушло за горы, послав тайге последние лучи. Начало быстро темнеть. Оставаться в тайге расхотелось. Я развернулся и побежал назад, чтобы хотя бы в сумерках добраться до избушки, закрыться там на крючок, растопить печь и переждать ночь.

Здорово бежал, но не смог обогнать ночь. Широкие её крылья настигли и накрыли меня. Высыпали звёзды. Я где-то просмотрел свои следы и свернул на другую тропку, которая внезапно оборвалась у огромной ели. И ни шагу дальше. Удивился. Поднял голову, посмотрел наверх. Увидел на вершине ели большое гнездо, совсем не похожее на гнёзда птиц. Чьё оно? В ствол ели были вбиты зубья от бороны. Эта лесенка была как бы продолжением тропы. Может быть, это дорога в небо? Стал взбираться по странной лестнице. Услышал крики гурана и полез ещё быстрее. Вполз в «гнездо». На жердины, из которых оно было устроено, толстым слоем была настлана трава. С боков — шаткие стены из еловой коры, а крышей служило небо, на котором в беспорядке приклеились звёзды.

Догадался, что это и есть тот таинственный лабаз, на котором охотники подкарауливали изюбров-пантачей. А где же солонцы? Я их не видел. Подо мной было болото, над которым стлался туман. Поз-

же я узнал, что здесь солонцами для зверей служила минеральная грязь, которую они лизали шершавыми языками, лечили свои недуги.

Хотя я и понял, что это лабаз, но в моей голове теснились мысли о страшных людоедах, о Бабе-Яге... А вдруг кто-то из них придёт сюда? Приготовил боевую стрелу, зажал в руке нож. Мало ли что...

Наперебой заквакали лягушки в болоте, громко, завели концерт на всю ночь, лишь изредка прерывая его, когда на болото приходил очередной зверь. Снизу слышалось громкое сопение, чавканье, шлёпанье ног. Гадал: если это изюбры, то опасны ли они для человека, а если медведи, то почему не рычат? Затаился, почти не дыша.

Туман всё гуще клубился над болотом, даже заполз в моё гнездо. Я долго лежал на одном боку, отлежал его и начал осторожно переворачиваться на другой, но это у меня получилось шумно: затрещали жердины, зашумела сухая трава...

Из-под лабаза кто-то шархнулся, зашлёпала грязь под ногами, затем громко и грозно залаял, почти как гуран, только голос его был звонче. Ему откликнулись с десятков таких же голосов. Мне казалось, что кричит вся тайга, но вскоре всё затихло, и я не заметил, как уснул.

Проснулся от сырости и птичьего гомона. Бросил взгляд на болото и поразился: среди тумана, который, видно, хорошо выпался и теперь уползал в тайгу, бродили звери, много зверей. Когда присмотрелся, то узнал в них изюбров — по пантам догадался. Начал считать, но на пятом десятке сбился, потому что звери ни минуты не стояли на месте, передвигались, закрывая один другого, прятались за кочками тумана. И все они рыжевато-красные, старые чуть темнее, головы и шеи почти коричневые. Но не у всех были кожаные рога-панты. У стариков-изюбров они были толстыми и разлапистыми, у молодых — поменьше и потоньше, а у сайков забавно торчали пеньки-пантешки. Здесь же паслись и маленькие изюбрыта со своими мамами, и самки-одиночки. Зверей было далеко за сотню.

Особенно горды собой были голенастые сайкишильники. Как величественно вышагивали они рядом с крупными изюбрами! Фыркали в их сторону, брезгливо топорща влажные губы. Ну совсем как наши парни, когда первый раз выйдут на танцы в сельский клуб или впервые встанут к станку. Весь их вид говорил, что, мол, нам всё известно и ничего-то вы, старички, нового открыть не сможете. Молодые самочки тоже точь-в-точь, как девушки, которые в первый раз надели мамины туфли и горделиво шли по улице, капризно морща курносые носики, фыркали на сайков-парнишек, чутко поводя ушами-лопухами. «Вот бы такие уши нашей Зойке, которая живёт с нами по соседству и так же дерёт свой

нос», — подумал я, от чего громко фыркнул в кулак. Звери враз вскинули головы, насторожились от загадочного звука. Вот-вот сорвутся с места. Срывайтесь! Заложил два пальца в рот и что есть духу свистнул. Эх, и рванули они! Так рванули, будто их враз подбросило болото-пружина, и галопом понеслись в тайгу. Шлёпанье грязи, треск чаши, испуганное сопение... Минута — и стало до звона в ушах тихо. Даже лягушки смолкли. Лишь слышно было, как тонко пели комары.

— Алёшкаа-а-а-а! — разнеслось над тайгой и упало в болото.

— Ого-го-го-оооо! — ответил я на крик.

Это кричал мой брат Федя. Ура! Значит, я всё же нашёл его. Теперь моя мама сильно обрадуется и не будет ворчать, когда я снова пойду в тайгу. А что, разве не так? Не проложу я эту тропу в тайге, кто знает, сколько бы ещё брат здесь блудил. Фёдор, низко наклонившись к земле, шёл по моим следам.

— Иди сюда! Я здесь! Изюбров караулю!

Подошёл. Крикнул:

— Сползай, братуха! Чего это ты там оказался? Стрелами изюбров брать вздумал, да?

Я спрыгнул на землю, он поймал меня за плечи и затряс, но уже не стал поднимать к небу, как маленького, а пожал руку, как равный равному, и спросил:

— Ты что, из дому убежал?

— Нет, тебя ищу.

— Хм, и то дело. Выходит, нашёл?

— Нашёл. Всю тайгу облазил и вот нашёл, — говорил я, улыбаясь и держа брата за большую ладонь.

— Рассказывай, что видел, что слышал?

Я взахлёб начал рассказывать про встречу с зайцем, ежом, самцом кабарги, гураном, изюбрами.

— Будь у меня бердана, я пару пантов добыл бы.

— Много было?

— Может, пятьсот, а может, больше, — по-охотничьи приврал я.

— Убавь чутка. Сюда много зверя ходит, но не столько. Мы их здесь не тревожим, старики этот солонец объявили заповедным. Пусть, мол, приживаются к людям. Правы оказались. Зверь прижился. Пусть ходит. Ну, ладно, пошли домой, там зайчик гостинец принёс, — улыбнувшись, произнёс брат, и мы той же тропой вернулись домой.

Прошло двадцать лет... Сотни троп проложил я за это время, тысячи сопков перевалил на тропе жизни, но снова пришёл на свою первую тропу, потому что милее её не находил в своей жизни. Она была для меня самой памятной, самой родной.

Однако здесь уже всё было по-другому. Вместо тропы пролегла широкая автострада, на речках горбатились мосты. Машины челноками сновали через тайгу. Тайга, как слоёный пирог, была разрезана надвое. Но я нашёл ручеёк своей тропки. Снова пере-

брёл Фудзин и углубился в тайгу. Сколько ни шёл, никто не выбежал мне навстречу. Дошёл до избушки. Той, что была построена около сорока лет назад, уже не было. На её месте лежали обмытые дождями угли. Рядом стояла новая, но в каком состоянии! Окна выбиты, дверь расстреляна пулями. Ни котелков, ни соли, не говоря уже о продуктах. Я присел на нары, жердины которых были большей частью сожжены, и с горечью подумал: «Измельчали наши охотники, изменились их нравы. А отчего?»

Нашепал смолья от кедрового пня, сварил чай. Отдохнул, как и в прошлом, и пошёл на солонцы.

Лабаза уже не было. Болото с минеральной грязью, истолчённое копытами изюбров, раньше было чёрным, теперь же заросло травой, и нигде не было видно ни одного следа. Ушли звери или их выбили — то и другое плохо. Хорошо, когда через тайгу тянутся трассы, ведутся дороги, но плохо, когда с этим гибнет зверь, забываются добрые традиции.

Вернулся в избушку — и мне стало страшно, куда страшнее, чем в ту ночь в детстве, когда искал брата. Ведь человек всё может: снова заселить эту тайгу зверьём или навсегда дать зарастить травой болотцу с минеральной грязью, куда сотни лет стадами ходили изюбры.

В тайге было тихо, как в тёмном подвале, только лягушки кричали, как и прежде.

Утром, покидая избушку, я не стал нарушать древних традиций тайги. Выложил все лишние продукты, оставил спички, наготовил дров и лишь тогда со спокойной совестью ушёл чтобы никогда не возвращаться в этот мёртвый лес. Кто его оживит? Мне думается, тот, у кого сердце станет добрее, чем у современных охотников.

ВИНТОВКА

Ветер совсем ошалел. Днём он ровно дул с северо-запада, а к ночи взбесился, вздыбил тайгу, согнул её, заставил стонать и кряхтеть. Она, миллионолетняя, сопротивлялась. Кедровые гнули в дугу, молодые берёзки припадали к земле в глубоком поклоне, падали сухостоины. Вскачь неслись тучи по небу, смывали звёзды, стирали луну. Жутко и знобко в такую ночь в тайге даже с другом. Я же был один. Совсем один. Хотя нет — у меня под нарами скреблась мышка-полёвка, которую я звал Поскребушкой. Она наперекор ветру скреблась и скреблась под нарами, нудила мою детскую душу. Ведь мне тогда было только двенадцать. Мало это или много? В наши дни совсем мало, а во время войны это уже много. Я был кормилец и поилец семьи. Охотник! Заглавный человек!

Я был один в тайге. А знаете ли вы, что такое одиночество? Наверное, знаете, но не каждый такое на себе испытал. Один. Тайга без конца и края. Порой хотелось закричать, расстрелять все патроны и бежать, бежать, куда тропа выведет. Но я не имел права бежать. Я был за старшего.

Жил я в старенькой, подслеповатой и кособокой избушке, которую строил ещё мой дед. Она просела от старости, поыветрился мох в пазах, поэтому плохо в ней держалось тепло. Натоплю докрасна камин — спать жарко, чуть остынет — холодище.

В ту ночь я почти не спал, топил каминок, выходил на ветер, слушал стон тайги. Натужно скрипел у зимовья старый тополь, в его дупле я хранил добытое мясо, пушнину. Жалел, что если ветер в ночь не спадёт, то день пропадёт зря, белка не выйдет кормиться, колонки просидят в дуплах.

Буря ворошила тайгу. Под нарами всё так же что-то точила Поскребушка. Это единственное существо, с которым я мог поговорить, которому мог пожаловаться. Я давно её приручил к себе. Приду, бывало, с охоты, а Поскребушка тут как тут. Взбежит на стол и ждёт подачки. Не обижаю. Ночью она забирается мне под рубашку. Я тогда стараюсь не шевелиться, чтобы не спугнуть её. Породнились ведь в одиночестве. Я ей говорил:

«Слышишь, Поскребушка, я хотел быть лётчиком, чтобы в небе летать, а теперь уж не буду. Учиться некогда. И боюсь я тайги, Поскребушка. Ружьишко у меня плохенькое. Навалится медведь, что я буду делать? Съест. Съест, и тебе не с кем будет словом перемолвиться. Тебя тоже колонок съест...»

Всё было так. Дробовик у меня был плохой. Дробью ещё бил мало-мальски, а вот пулями, на полста шагов не мог в пень широченный попасть. А потом, за мной вот уже неделю ходит медведь, явно — шатун. Все добрые медведи лежат в берлогах, а этот всё бродит, давит кабанов, изюбров... Теперь, видно, меня надумал задавить. Один раз подошёл шагов на тридцать, но я закричал на него, и он ушёл за сопку. Будь у меня винтовка, а лучше всего — берданка, я бы его давно торскнул.

И всё же есть у человека предчувствие. В ту ночь я не столько томился от бури, сколько от дурного предчувствия. Будь со мной самый заваливший охотник, было бы легче: всё бы словом, а где и делом помог. Просился со мной младший братишка, но мама не отпустила. В десять лет — и в тайгу?! А меня отпустила. Мне двенадцать! А потом, наши люди, если ты умеешь стрелять, если ты не плутаешь в тайге, смело отпускают детей такого возраста на охоту.

Рассвело. Ветер спал. Тайга замерла. Отряхивалась после бури, причёсывалась. Я вышел на путик, проще сказать — на тропу, на которой у меня расставлены ловушки. Вот белка оставила след. Где-то

рядом затаилась. Я тоже затих, знаю: первая голос подаст, себя выдаст. Есть-то хочется. Так и вышло, гуркнула на разлапистом кедре, прыгнула с сучка на сучок. Поймал её на мушку и плавно спустил курок. Выстрел взмутил тишину, зверёк дрогнул и мягко упал на снег. Бросил добычу в котомку и пошёл дальше.

К каждой ловушке подбегаю с радостью, авось сидит рыжий разбойник-колонок, а быть может, и соболишко. Следы их часто вижу, но словить ещё ни одного не удалось. Хитряги. Белки много — сыты. Пусто в первой, в десятой, а вот в тринадцатой — сидит колонок. Ещё тёплый. Утром вышел на промысел. Придавило бревно его спину, убило. Ещё одного вынул из двадцатой ловушки. День не пропал зря. Два колонка дадут шестьсот граммов муки, тридцать граммов пороха, шестьдесят дробы и денег пять рублей. Есть прибавка к нашему семейному столу.

По небу лениво ползли растрёпанные ветром тучи. Посмотрел на тайгу, на небо и решил пройти ещё один путик.

Успею, хотя уже солнце начало сваливаться к сопкам. Тайга устала, ветер устал, и я приморился. Остановился, подумал: «А не сходить ли мне к охотникам-солдатам? Они недавно поставили в Медвежьем ключе зимовьё. Познакомлюсь, поговорим о житье-бытье, чаю попью. Они про войну расскажут. Им, конечно, легче охотничать, у них боевые винтовки. Мне бы такую! Вот бы мы зажили!»

Сделал шаг в сторону зимовья военных, но тут же остановился. На меня шёл медведь! Тот самый шатун, который бродил по моим следам, ломал ловушки. Шатун шёл ко мне, кособочась, потом заревел, башкой закрутил, в глазах вспыхнул злобный блеск.

Убьёт! Видно, продремал под валежиной ночь-то, голоден, осмелел. Я сдёрнул с плеча ружьишко и, не целясь, выстрелил. Медведь осел, покатился с сопки, юзом проехал по льду ключика, но тут же выправился, вскочил на лапы и с рёвом бросился ко мне.

Я выстрелил трижды. Больше пуль не было. Свинец доставать было трудно. Весь ушёл на войну. Нам, охотникам, не осталось. Я побежал. Зверь ревел, стонал, харкал кровью, но трусил за мной следом. Я бежал к зимовью военных. В своё бежать было безрасудно. Пуль нет, медведь мою избушку раскатал бы по брёвнышку: такому здоровяку дело плёвое!

Я продирался через чащи, перепрыгивал через валежины... Зверь шёл за мной след в след. Стрелять в него дробью было бы глупо. На зимовьё я вышел точно. Дверь привалена бревном, значит, никого нет. Я отпихнул бревно руками, дёрнул на себя дверь и, влетев в избушку набросил на скобу крючок. Медведь с рёвом хватил лапой по двери и бросился к оконцу. Я мышонком юркнул под нары и зарылся в

сено. Медведь ударил лапой по оконцу, зазвенели стёкла, раздалось шумное сопение.

Косолапый пытался просунуть голову в проём. Но голова не пролазила. Я ещё глубже зарывался в сено. Медведь рвал лапищами брёвна. Зимовьё дрожало. Дрожал и я. И вот под руку мне попала железина, вроде винтовочного ствола. Я дрожащей рукой ощупал железину и выхватил из-под сена винтовку. Не помню, то ли я захохотал, то ли плюнул в морду медведю, который уже просунул голову в оконный проём.

Медведь свесил лапы внутрь зимовья. А мне теперь плевать на десяток медведей! У меня в руках винтовка. Тигр не страшен, да что там тигр, лев ни почём! Я вскинул винтовку: хрясь! хрясь! хрясь! И всё в башку, в морду шатуну. В зимовье запахло порохов, кровью. Медведь дёрнулся и затих в проёме окна: половина туши в избушке, вторая на улице.

Я выбежал за дверь. А тут охотники спешат к зимовью с ружьями наперевес. Впереди здоровенный старшина. Подбежал ко мне, обнял:

— Ну, слава богу! Мы думали, что он уже тебя доедает! Как же ты с такой оружией на медведя?

— А у меня не было другого. Вот ваша винтовочка выручила.

— Это скажи спасибо моей лени, хотел убрать на лабаз, но сунул под сено. Да-а-а!.. Добыл ты вахлачину! Пудов двадцать. Зимовьё порушил. Ещё бы чуток — и заполз бы к тебе, а там... Давайте, друзья, выдирать чёрта косматого из окна. Чей будешь-то?

— Андрей Гурин.

— Знавал деда и отца твоего. Славнецкие были охотники. В них пошёл. Хорошо. А меня зови просто Акимычем. Тот бородач, он тоже нашенский, дядя Ипат. А этот дядя Вакула.

Мы с трудом выволокли медведя из окна, споро освежевали. Окно забили сеном, дранкой и начали готовить ужин.

— Заходил я в твою избушонку. Хлипкая! Любой шатун тебя там задерёт. Сразу понял: один живёшь. Завтра перебирайся к нам. Да, чуть не забыл, по левому путику снял колонка. Здоровый рыжик. Достань из котомки и приведи в дело. Как, робята, примам охотника?

— Чего там, — флегматично пробасил Вакула.

— Примам, примам, погинет заздря, сами будем себя клясть.

— А с чем он будет охотничать, ить у него не ружьё — самопал! — пробасил Вакула. — Может быть, дадим ему винтовку? Ить она у нас не числится. Ну, что скажешь, товарищ старшина?

— Как же можно, ить это военное оружие. А потом... Потом, ежлив дознается милиция, тогда что запоём? Нас за порты возьмут! Да и он ещё малец. Выдаст нас. Пропали!..

— Чепуха! Он человек таёжный, своих не выдаст. Потом, ить он тоже воюет, чтобы свои не умерли с голодухи,

— Не можно, на войне каждая винтовка в деле.

— Знамо, в деле, а рази он её без дела держать будет. А потом, мы ить не отдаём насовсем — на время.

— Не могу. Война! За утерянную винтовку на фронте к стенке ставят.

— Тогда мне непонятственно: ты матюгал войну, фрицев... Выходит, для блезиру? Ить они, фрицы, сгубили этого мальчонку. Ему бы за партой сидеть, учить аз, буки, веда, добро, а он вот с медведями воюет, — гудел Вакула. — Знамо язык, он без костей, что хошь мели, а как до дела доходит — в кусты!..

— Спи, малыш, утро вечера мудренее, — бросил Ипат и с кряхтеньем лёг на нары. — Все эти дядюшки для блезиру доброту кажут.

Мне всю ночь снилась винтовка, медведи, тигры. Во сне я легко добыл двух кабанов, изюбра и, вообще, шёл по тайге победителем, ведь у меня в руках была винтовка. В тайге с дробовиком никто не ходит. Тайга не питерский бульвар. Проснулся, и всё ушло от меня со снами — звери и винтовка. Карабин всё так же стоял в углу зимовья, там, где я его поставил вечером, любовно почистив и смазав.

Старшина старательно обувался, расправлял на подошве суконную портянку, долго, с натугой натягивал унты, кряхтел, сопел, дул в пышные усищи. Затем уже обутий, вырвал клоч газеты, попросил у Ипата щепотку табаку и, неумело завернув сигарку, закурил. Курил, кашлял, дым пускал в поддувало каминка, потом зло бросил самокрутку на пол, затоптал её и выругался:

— Какой дурак такую дрянь смолит? Тьфу! Медведя надыть отвезти в деревню. Пусть это будет его первым трофеем. Возчики должны приехать.

— Отвезём. Сегодня я не пойду на охоту, буду дневалить, унты надо починить. Всё сполню, как прикажешь, — хмуро проворчал Вакула. — А карабин-то, и право бы, надо отдать мальцу, пусть бы бил зверя. Ить пушнина-то стоит — пшик.

— Погоди, погоди, ты кто такой, чтобыть распоряжаться? А? Кто здесь заглавный? Я, старшина, или ты? А? Молчать! Аль я не думаю? Думаю, оттого и башка трещит, как с перепоею. Ишь ты: отдай винтовку!

— Раньше же ты ходил у меня в подручных, аль забыл то время, как стал командером?

— Ничего не забыл. Старшина на то и рождается на свет, чтобы обо всех и обо всём думать! И вообще, я знаю, что и как. А ты... Ты откель свалился на мою голову? Тебя спрашиваю, бесёнка!

— Лужковский я. Сюда загнал медведь.

— Знаю, чей и откель. Знаю, кто загнал, но про ча я ещё должен думать о тебе? Вон винтовка, где её

место? Она должна бить по врагу. А ежлив тебя съест другой медведь, то от этого враг будет сильнее или нет? А? Вот съел бы этот, — кивнул Акимыч на шкуру медведя, которая была распялена на стене, — разве бы я не плакал, они бы не плакали? Ить и наши дети в такой же маеде живут. А? Плакали бы, все бы плакали, дажить тайга бы стоном исходила. Я вот и счас плачу. Солдат, а плачу, сердце плачет, душа нудится! Убил бы зверь человека, большого человека, рази бы это было праведно? А почему убил, потому как война тому помеха. Человека бы убил, — по слогам проговорил Акимыч. — Должен жить этот человек аль нет? Ежлив уж честно говорить, то эта винтовка здесь зиму без дела пролежит. Она в нетях числится, списали её. Один вахлак потерял затвор, второй дурень сжёг приклад. Вакула же всё это нашёл уже от бросовых винтовок, которые и на сто шагов не попадали в мишень, собрал оружие, сюда приволок. А раз так, значит, мы могём себе сказать... Эта винтовка без призору, наша. Но, ежлив покажем командеру, то нам не миновать губы за сокрытие оружия. А для ча мне губа, ежлив я человек без придури. Я должен ходить по тайге и добывать для солдат мясо. Так я говорю?

— Истинно так, — кивнул лохматой головой Ипат.

— Теперь хорошо говоришь, — пробасил Вакула.

— Но к винтовке надобны патроны. Значитца, мы должны выделить те патроны из своего пая, не пулять почём здря. Явственно? Одна пуля — зверь!

— Так и будем стрелять. Вот я даю обойму из своего запаса. — Вакула порылся в сумке и достал патроны.

— Я тожить. Получай, малец! — подал мне вторую обойму Ипат. — Не хныкай.

— Дело, но чтобыть у меня молчок и зубы на крючок. Сам всех порешу, коль кто выдаст. Ну, вот, Андрей, теперича держи хвост бодрей, получай оружие, солдатскую при этом, корми своих мальков, мать корми. Это что ни на есть самое боевое оружие. Война! Кругом война!

Я плохо понимал, что говорил усатый старшина, его друзья, но когда у меня в руках оказалась винтовка, я крепко прижал её к груди.

Старшина пожал мне руку, поцеловал в щёку и с улыбкой заметил:

— Ошалел от радости. Пусть придёт в себя, потом уж поговорим. Ишь как мало надыть человеку! Винтовка — и он на седьмом небе.

...Я ел медвежатину, но вкуса не ощущал. Я слушал охотников, но слова их не доходили до моего сознания. Главное было при мне — винтовка, которую я зажал в коленях и не хотел по совету охотников ставить её в угол. Они же подкладывали мне самые вкусные куски мяса, бросали в чашку сухари, обни-

мали и радовались. Когда мы начали выходить на охоту, я вспомнил о дробовике, но Акимыч махнул рукой и сказал:

— Пусть валяется под нарами. Эх, радость ты наша, глаза твои родниковые, хоть у тебя в руках и винтовка, но ты береги себя. Стреляй точно, не убегай от зверя. Теперича ты наш на веки вечные. Сегодня пойдём в Правую Синанчу, изюбришек погоняем.

Так мы познакомились с Акимычем, так стали друзьями.

Винтовка всю войну кормила нашу семью, даже друзей и соседей. Жили и выжили. Я выжил, а не будь той винтовки — задавил бы меня медведь.

МОКРЫЕ СНЕГИ

С тех пор прошло двадцать лет. Но я всё вижу ключ Ноли, крутобокие сопки, на которых стеной стояли кедр, ели, пихты, гушара чернолесья с непролазным подлеском. И будто я иду по тайге под снегом и дождём. Усталый, продираюсь через чащу к избушке. Она стояла под сопкой, у родничка. Это было зимовьё охотников и шишкарей. Той избушки, наверное, уже нет, сгнила. Она ещё в ту пору стояла с прогнутой крышей. И мне всегда казалось, что зимовьё, словно живое, смотрело на мир мутными стёклами, усталое и безразличное. Будто хотело сказать: «Эх, люди, люди! Мельтешите, бродите по тайге, мёрзнете. А зачем? Мне вот, старой, на всё наплевать. Живу дремотно и спокойно. Грею вас...»

Вокруг избушки всегда были разбросаны решёта, в которых просеивали орехи. Кучи шелухи от шишек. Поленья. Брёвна. Потёртые рукавицы. Перья от рябчиков. Облезлые шкуры добытых изюбрей, косуль.

Я чувствовал во всём этом какую-то обжитость, уют. И ещё больше любил старую избушку. Не умерла, не брошена. Я много ночей провёл под её крышей. Много дум передумал.

Война закончилась. Шёл 1947 год. Трудный и голодный год. Поэтому думать мне пока об учёбе, о смене профессии было рано. Надо было бродить по тайге, добывать мясо для семьи. Апрель шёл к концу. Пора было выходить домой, но меня словно злой рок преследовал. Одно невезенье за другим. Выследил кабана. Он стоял за кустом багульника. Слушал тишину. Я не стал ждать, когда он выйдет из-за куста, выстрелил через куст. Надеялся, что пуля пройдёт куст. Но она дала рикошет. Зверь сорвался и пошёл махать с одной сопки на другую. Преследовать его было бесполезно. Ночевал на берегу ключа. Было холодно и сыро. Но нодья спасала. Утром набрёл на след изюбра. Следил не спеша. Догнал. Он стоял

под елью, повернув голову в мою сторону. Повалил снежок. Он и вовсе приглушил мои шаги. Я выстрелил. Ранил зверя. Но он убежал от меня за сопку. Догнал свой трофей. Но мне достались клочья шерсти и кости — волки съели.

Пять дней прошло впустую. Оголодал. Ослаб. Поэтому и спешил к избушке, чтобы передохнуть. Дорогой добыл трёх рябчиков. Ими и перекушу.

Шёл. Снег начал валить ещё гуще, потом полил дождь. От ветра гудела, трещала и стонала тайга. До зимовья не дотянул. Ночь застала. Ночевал под выворотнем, в затишье, а утром снова пошёл к желанному зимовью. Ещё сбил двух рябчиков.

И вот с зимовья дохнуло дымком. Я прибавил шаг. Заспешил к людям. Хоть поделюсь с ними неудачами, на душе станет легче. Ржаво скрипнула дверь. На меня пахнуло теплом и обжитостью. Но людей в избушке не было. Ушли. Куда и почему они ушли в такую непогодь? Ведь отсюда до любого жилья тридцать вёрст с гаком. На нарах валялось сено. Я по вмятинам в сене насчитал три лёжки. На окнах лежали засмоленные рукавицы. Печка была тёплой. Там шаяли три полена.

— Ну и ну! — покачал я головой. — Тоже мне таёжники! Замёрзнут, дураки!

В избушке было темно. Я шагнул к окну, под ногами загремел котелок. Я нагнулся и поднял его. Сразу узнал, кто его хозяин. Им мог быть только Шмага. Несобранный и смешливый мальчишка. Котелок его всегда был немыт. Помят. Значит, здесь шишковали Гошка, Васька и Шмага. Я познакомился с мальчишками три года назад. Познакомился и сдружился при трагических обстоятельствах.

* * *

Мы с дедом Петрованом белковали по речке Бурмбаве. Там стояло и наше зимовьё, которое мы срубили ещё летом. Был урожайный год на шишку, — значит, и белке быть. И она пришла. Наши выстрелы ухали до вечера, а потом мы сходились в зимовьё. Здесь до полуночи заряжали патроны, свеживали тушки, сбивали со шкурок мездру. В день добывали по десять и двадцать белок. Тайга не обижала трофеями.

Когда забуянил январский мороз, белка в такие дни пасётся час-два, Петрован не вернулся с охоты. Я его ждал долго. С вечера начал стрелять. Может быть, заблудился?

Палил в небо всю ночь, примерно через каждые полчаса. Но Петрован не возвращался.

Утром я побрёл по его следам. До полудня распутывал следы. Они привели к берлогу. По следам, как по книге, я прочитал всё: Петрован нашёл берлогу, которая была вырыта под елью. Осмотрел её. Потоптался. Повернул к зимовью, чтобы вместе со мной

добыть зверя. Но не успел он сделать и пяти шагов, медведь выскочил из берлоги и прыгнул охотнику на спину. Завязалась борьба. Петрован ножом ранил медведя. Но, видно, не смертельно. Зверь отнёс убитого охотника от места схватки на двести шагов и завалил валежником и камнями. Но Петрован был ещё жив. Он пытался выбраться из завала. Это я понял по тому, что руки его торчали над завалом, будто молили небо помочь ему. Медведь ушёл. К своей добыче он больше не подходил.

Я побежал в посёлок. Тридцать пять вёрст отмахал за полдня. В поссовете рассказал о гибели охотника. Председатель спокойно выслушал мой рассказ, вяло проговорил:

— Ну и что? Сейчас гибнут тысячи. Знать, ещё один погиб. Есть у него родня?

— Нет. Старуха умерла два года назад. Два сына на фронте. Больше никого нет.

— Вот тебе двести рублей, вырой могилу и похорони старика там, где он погиб. Некому его вывезти из тайги и не на чем.

— Но ведь он всю жизнь добывал пушного зверя. У него есть орден. Он герой.

— Сейчас все герои. И какая разница, где быть похороненным? Осталась бы память в душе, люди бы не забыли. Иди. Не мешкай.

Я переночевал дома и снова ушёл в тайгу. Костром оттаял землю, вырыл могилу. Три дня рыл. Всё время боялся, что придёт медведь и задавит меня. Обошлось. Утром ушёл хоронить деда Петрована. Убрал завал. Позади услышал чьи-то шаги. Обернулся. Схватил ружьё, но тут же поставил его к пню. Ко мне шли мальчишки. Три чижики, как я их называл тут же. В ватниках, в ичихах, озябшие, они собирали на снегу кедровые шишки. Увидели меня, подошли. Назвались. Без слов начали помогать мне хоронить старика. Похоронили. После всего я им сказал:

— Далеко от зимовья не отходите, здесь бродит шатун. Это он убил деда Петрована. Уходите отсюда. Я пойду добуду мяса.

К вечеру я вернулся с добытой косулей. Их на марях водилось великое множество. Когда я приволок косулю и сказал ребятам, чтобы они её свеживали, Васька удивился:

— А зачем мы её будем обдирать? Косуля ваша.

— Как моя? — не понял я Ваську.

— Вы её добыли, вам её и есть.

— Во чудило! Свежайте, и варить будем хлебково. Наша косуля, для всех.

— А ты не жадный, — буркнул Васька и начал снимать шкуру с задней ноги косули.

Потом мы, сытые, лежали на нарах. Я им рассказывал про гибель Петрована, про себя. Они тоже поведали мне о себе.

Гошка был за главного в этой ватаге. Жил он с матерью, с сестрёнкой Ленкой — голые коленки. Голодно жили.

— Вот и выкручиваемся как можем. Но орешки — дело прибыльное. Десять рублей стакан. А сколько ты зарабатываешь на белке?

— По тридцать рублей день обходится.

— Будешь с нами шишковать? Три стакана — и весь твой день. За четыре дня мы даже на снегу наберём двести стаканов. Вот и считай. Кончай, берём тебя в свою компашку. Будешь главным.

Васька среди этих мальчишек был богачом. Его отец работал путевым обходчиком, мать — продавцом в магазине.

— Сорвали они мне учёбу, — стонал Васька. — Погнали в тайгу. Отец говорит, что с четырьмя классами пристроит путевым обходчиком. Наука несложная. А я учиться хочу.

— Взяли мы его с собой. Его мамаша, когда-нибудь нам подбросит лишнюю булку, — усмехнулся Гошка. — Так бы не взяли. Сам он жаднюга, весь в отца!..

Шмага тоже жил с матерью. Брат у него на войне. Сестрёнка работала в леспромхозе пильщицей. Мать — уборщицей на вокзале. Но они зарабатывали в месяц столько, сколько Шмага за два дня.

Я остался шишковать. Хотя жаль было бросать охоту.

— Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше, — уговаривал меня Гошка.

Я для них был выгодным человеком. Ружьё, могу мяса добыть. А потом со мной не так опасно бродить по тайге.

Мы выносили намолоченные орехи домой на своих горбах. На санках по тропе не проедешь. Увозили их в города, продавали на шумных базарах.

* * *

Не зря прилипла к Никите Бережному кличка Шмага. Он был врождённый артист. Находчивый, смешливый, вдруг перевоплощался в забитого судьбой мальчишку, начинал гнусавить:

— Люди добрые, подайте, Христа ради, бедной сиротинке! С голоду умираю. Три дни не было во рту маковой росинки. Не пимши, не емши. Подайте, Христа ради!

В его шапку сыпались медяки, рублики и даже десятки. Жалкий вид Шмаги растоплял сердца. И тут же... Шмага начинал продавать орехи. Они у него шли нарасхват. Едва успевал черпать из мешка стаканами. Нас стороной обходили, будто наши орехи хуже. То они прожарены не так, то много пустых. Жарили в одной печи, собирали под теми же кедрами.

— Орешки калёные, из Питера привезённые! Налетай — подешевело. Расхватывали — не берут! Эй,

дед сто лет, подходи, мои орешки в самый раз на ваши зубки, мягонькие, можно не щелкамши глотать. Мои орешки шелкать, что белый хлеб жевать, — звенел его голос над запаренным от мороза базаром.

У Шмаги большой карман, который мы пришили на фуфайку. Он совал туда деньги. Но мы видели, что Шмага нет-нет да и сжульничает. То наберёт неполный стакан, то сдачу сдаст меньше. Рядом крик:

— Мальчик, мальчик, ты мне пятёрку недодал!

— Да провалиться мне на месте, вот те крест, — широко крестился Шмага. — Да я, я честный купец, обманывать не буду. Люди добрые, скажите ей, что я честный! Пошарьте по своим карманам. Ага, вона торчит ваша пятёрка. Ай-ай-ай, опозорили меня!

— Стыдно, дамочка, стыдно, они для нас стараются, а вы за пятёрку шум подняли. Проходите!

— Не мешкайте!

— Ишь, мальцов трогать! Не позволим! — кричали вразнобой покупатели.

То, что Шмага хотел обжулить покупательницу, точно. Но как успел он ей засунуть ту пятёрку в карман, не успевали заметить. Шмага говорил:

— Ловкость рук и никакого мошенства.

Шмага выходил чистеньким из воды, около него собиралась очередь. Орехи шли нарасхват.

Был Шмага карманным вором. На базаре он залез в карман Гошке. Тот поймал его за ручонку. Шмага начал вырываться. Но Гошка спокойно сказал: «Не брыкайся! Не то бить буду!» — «А разве ты не будешь бить?» — спросил Шмага. «Не буду. Ты ведь из нашего посёлка. Пошли, поедим. Потолкуем». Они ели хлеб в уголке базара. Гошка говорил: «Завтра я уйду в тайгу с Васькой. Мы там собираем орехи. Неделя — вот тебе две тысячи рублёв. Из карманов столько не наберёшь». — «А если я не пойду, если мне здесь весело?» — «Бить буду. Вот поем и всю харю расквашу! Мне мама рассказывала про твоего отца. Даже просила тебя словить. Словил. Великий был человек твой отец. А кто ты? Он Советскую власть защищал, а ты? Ты вор. Он погиб в тюрьме, донесли на него сволочи. Он погиб как герой, а ты погибнешь, как вшивота воровская. Всё. Пошли. Завтра в тайгу...»

И Шмага пошёл в тайгу. Поверил мудрому Гошке. Потом полюбились ему ночи у костров, толкотня на базарах, езда зайцами на поездах. Конечно, Шмага шишкарь был аховый. Если Гошка и Васька набирали мешок шишек, то Шмага полмешка. Но на базарах Шмага успевал продать свою ношу и ноши друзей. Там он был незаменим...

Продав орехи, мы шли на полянку, высыпали деньги в кучу и подсчитывали барыш. Потом всё делили поровну. У Шмаги, как всегда, было рублей на сто больше, чем у нас. Гошка ворчал:

— Зачем обманываешь?

— И ничуть! Наши орехи дороже стоят! Много дороже. Я лишь своё беру. Ведь вся эта орава — барыги и спекулянты. Рабочий не станет тратить деньги на орехи, баловством заниматься.

— Ладно, прощаем, но чтобы больше такого не было, — бросал Гошка.

Но Шмага, приняв прощение, через неделю делал то же. Бывало, Гошка вздохнёт и скажет:

— Эх, Шмага, тебе бы в артисты податься. Ты ведь и правда без вины виноватый. Сыграл бы киношного Шмагу, и не хуже.

— В артисты, — вдруг сникал Шмага. — Хватит и того, что я комик в жизни. Хватит, Гошка, не нуди душу. В артисты, а может быть, я хочу быть шофёром? А? Всю землю на машине объехать! Не буду артистом. Всё это невсамделишное. Я хочу всамделишного.

И всё же Шмаге пришлось быть артистом. Поехали мы на Север. Строилась Ургальская железная дорога. Решили туда завезти табак. В цене он там был. Здесь купить по десять рублей стакан, а там продать по тридцать. Подговорили шофёра, который спрятал нас за мешками с мукой. Провёз через заградительный пост. Приехали мы в Тырму утром. Приехали и испугались — там были военные и заключённые. Уголовники, дезертиры и разная шушера. Но те и другие отнеслись к нам хорошо. Ведь многие из заключённых были на воле.

Табак мы вмиг распродали. Набили полные карманы деньгами и готовы были удирать. А тут на наши головы свалился милиционер.

— Тэ-эк, — протянул он. — Как вы сюда попали? Беспризорные? А ну пошли со мной, разберёмся, чьи и откуда.

— Дяденька, — взмолился Шмага, — не беспризорные мы, а бродячие артисты. Не трогай нас, дяденька.

— Артисты! Ха-ха-ха! Пошли, артисты, за мной!

Нас окружили заключённые. Зашумели:

— Ну чего пристал к мальчишкам. Сказали вам, что они артисты, верить надо!

— Не трогать! Пусть покажут сценки, песни споют!

— Прочь!

Милиционер подался назад. Нас взяли в плотное кольцо. И Шмага запел. Он часто пел у костров, в зимовье. Но так, как запел тогда, — у нас мороз прошёл по спинам. Как он пел! А пел он сурковскую: «Бьётся в дымной печурке огонь». Так может петь, наверное, только тот человек, который знает, что его эта песня спасёт. Была ранняя весна. На заборах и ветвях лиственниц лежал густой иней. Помню, что было солнечно, лёгкие облачка плыли по небу. Часовые на вышках. И эти, «вольные». Невдалеке остановилась колонна заключённых. Они шли на работу. Но остановились, чтобы послушать песню. Конвоиры

на них не кричали. Все слушали. В глазах тоска и одиночество. Замерли люди, будто боялись спугнуть песню. Шмага пел. Пел сочным, чистым голосом. А когда он спел песню, стало слышно, как осыпался с веток иней. Потом в этой тишине взвился крик:

— Заткните им глотки! — Но крик тут же оборвался, крикуну заткнули рот.

Потом мы запели: «Вставай, страна огромная». Пели дружно, ёмко. Особенно нажимали на слова: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна...» И чёрт подери, эту песню подхватили все: заключённые, военные, даже тот милиционер пел. Это был мощный хор, хор под чистым небом. Иней посыпался с деревьев и заборов, качнулись облака. Оборотался тысячный рёв мощного хора. Шмага запел симоновскую: «Ты меня ждёшь». Я видел, как эти заматеревшие люди, может быть и убийцы, вытирали слёзы. От этого рты у многих перекосились, дышали все часто. Шмага медленно двинулся на толпу с песней. Мы пошли за ним следом. Толпа раздалась, мы прошли по людскому коридору и вышли на дорогу. Всё. Бежать надо. Но мы не побежали, хотя нам вслед раздались бурные аплодисменты, крики, злое улюлюканье.

Отошли далеко, и тут Шмага заплакал, всхлипывая, говорил:

— Я тоже мог быть среди них. Мог. Спасибо, Гошка!

— Ладно, оставь свои телячьи слёзы. Пошли машину проголосуем.

— Мне их жалко.

— Зря не посадят. Не плачь!

Шофёр остановил машину, закричал:

— Эй, бродяжки, садитесь! С ветерком прокачу! За песни прокачу! Ну, живо!

Вечером приехали на материк. Материком у нас называют железную дорогу. А глубинка — это вроде другая земля.

* * *

На другую зиму умерла Гошкина мама. Мы вернулись из тайги, сразу попали на похороны. Пузатая лошадёнка тянула сани в гору. На саних стоял гроб с телом Гошкиной мамы, Лукерьи Дробиной. За саними шли пяток старушек и мы. Позади нас ковылял на деревянной ноге лекарь дед Максим и, сильно раздувая щёки, дул в баритон. Милиционер Клочин что есть силы бил по большому барабану, гремел тарелками. Вот и весь оркестр.

Клочин и дядя Максим в революцию служили в муззведе. Они будто бы помогали даже в бою. Идёт бой, а наши музыканты шпарят марш. Бодрят бойцов, пугают беляков. «Потому, мол, мы и побеждали, что музыка была рядом. Без музыки много не навоюешь», — хвастал, бывало, дед Максим.

Похороны в нашем посёлке были делом частым, но с трубой и барабаном — впервые. От завывания единственного баритона было как-то грустно и печально. Клочин уговаривал деда Максима не валять дурака.

— Баритон и барабан... Рази это оркестр?

— Для Лукерьи я на одном баритоне сыграю за весь оркестр. Так сыграю, что люди слезой изойдут. Да и ты на своём грохоте постарайся.

По рассказам деда Максима, Лукерья была санитаркой в их полку. И того же Клочина вынесла однажды с поля боя, когда беляки прорвались к оркестру и половину музыкантов вырубili.

— Понял, Клочин? Ты через Лукерью, нашу Лушеньку, живёшь лишних двадцать три года.

И они старались.

Гошка ещё не мог осознать, что нет его мамы, что он остался один со своей сопливой Ленкой. Сидел на саних и обнимал Ленку. Не плакал. Может быть, мы, дети, взращённые войной, плакать разучились. Шмага, тому простительно, артист — душа ранимая.

После похорон собрались помянуть усопшую Лукерью. Помянули. Старушки ушли. Дело своё сделали. Клочин сел на табуретку и сказал:

— Собирайтесь в детдом. Завтра в район вас свезу, и поехали.

— В детдом они не поедут, — заявил я. — Мы их не оставим.

— Ты откель такой приткий нашёлся? Ты кто им — отец, мать?

— Человек! В детдом не поедут. Ленка будет жить у нас, мы — промышлять тайгой.

— А как потянет воровать? Кто будет в ответе?

— Воровать мы не будем, — резко и твёрдо говорил я. — Мы не из таковских.

— Ленка будет жить у меня, — сказал дед Максим. — В детдом они не поедут.

— Вы что, сговорились? — загремел Клочин. — Не позволю! Пропадут! — привычно тронул кобуру, которая всегда была пустой. Наган с собой не носил. Его не боялись, и он никого не боялся. Его любили наши люди. Клочин за первый проступок никогда не заводил дело. Но если человек не унимался, будь то самое мелкое преступление, отправлял в тюрьму: «Посиди на казённых харчишках, охолонь, может, поймёшь мою душевность. Поехали. Был упреждён — хватит», — говорил Клочин и увозил человека.

— Дураки, вас будет учить, одевать. Ленку скоро надо отдавать в школу.

— Ладно, отдадим и в школу.

— Одним жить на белом свете, — тянул Клочин.

— Ты чего это заладил: «одни», «одни»... А мы рази ж им никто?

— Считаю меня, Гошка, твоим братом, согласен? — сказал Шмага.

— Согласен. Папа должен вернуться с фронта. Не одни мы, дядя Серёга.

— Ну ин ладно, ладно, говорю, так и быть, — обрадовался Клочин. — Значит, не одни. Я думал, одни. Хорошо, хорошо, говорю. Но цыц! Жить честно, ровно, без драк и воровства.

— Я присмотрю.

— Знамо, присмотришь, однополчане, я тоже не без глаз. Но ты смотри, Максим, замечу, ежели будешь хлеб с пекарни таскать этим соплякам, заарестую! Не посмотрю, что хром и фронтовик! Тюряга, сразу — тюряга! — сердито встопорщил усы Клочин. Он их для вида топорщил, чтобы его чуть боялись. Не посадит он деда Максима. Бывало, подопьют — и оба плачут, убитых вспоминают, целуются.

— Не шуми, Пролыч, не шуми. Так я тебе и покажусь с теми булками. Дурака нашёл! Пронесу ту булку под твоим носом, и не заметишь. Ить не заметишь? А?

— Ты жулик старый, на припёке будешь выезжать. Лишку водички подливать в тесто... В Гражданскую халтурил, всё брал вторые партии баритона, здесь то же будешь делать.

— Молчи, ты немного на своём барабане надорвался. Тоже на припёке ехал.

— Ладно, я тебя и их упредил! Поехал! — Клочин лихо подмигнул нам, вывалился за дверь.

— Всё, ушёл, халтурщик! — заворчал дед Максим. — Значит так, вы снова в тайгу. Ленку я заберу к себе. Носы не вешать. Я тоже пошёл, а вы тут ночуйте, чтобы им не было скучно. Баста! Всё!

* * *

Я увёл мальчишек в Ноли. Там шишек было много. Но не всегда мы ночевали в зимовье. Чаше там, где была шишка. Разводили огромный костёр, который горел весь день, земля прогревалась, вечером убирали пожог, угли, наверх бросали лапник, накрывались палаткой и спали в лютые морозы, как на печи. Заходили за тридцать и сорок вёрст. Собирали шишки на снегу, лазили на деревья, рискуя сорваться и сломать шею. Для того чтобы набрать двести стаканов орехов, надо было собрать три мешка шишек, обмолотить их, просеять, провеять на ветру...

Однажды к нам забрёл охотник. Назвался Филиппом. Старик. Присел к костру. Мы пили чай. Пригласили его. Он достал кусок вяленого мяса, поделился с нами. Поели. Филипп начал:

— Для ча война? Не для ча. Что она сделала с вами? Не знаете. Она вас убила!

— Чего это убила? Живы мы.

— Вы-то живы, а душа уже убита. Украли у тебя душу-те! Хап — и нетути. Мечту украли. А когда будет новая — воды много утечёт. Ой, много! Но война — дело нужное, пользительное.

— Ты, деда, нам такое не говори, — возмутился Гошка. — Как может быть война пользительной? Сколько людей погибло! Сколько здесь умерло!

— Пользительное дело-те — война. Ага. Была империалистическая, сам там варился, революцию свершили.

— А при чём эта?

— При том, что и эта война родит революцию. Встряхнёт вас, вы почнёте думать, что и как. Мы ить хотели кого-то криком запугать, шапками закидать — не вышло. Другорядь будете осторожнее. Вас шибанула одним концом, из детей исделала стариков. На пяток лет назад откинула. Сдюжите. Потом злее будете. Социализма — дело хорошее, но к той социализме надыть хорошую голову иметь...

— Знаете, деда Филипп, мы донесём Клочину, — взвизгнул тонким голоском Гошка.

— Пролычу-то? Говорите. Я ему то же говорил...

— Ты, дед, ты... — поднялся я.

— Дурачок! Год-два, и я сам скапустюсь,

— Ты из кулаков, да? — пытал я.

— Да, из кулаков. Жил богато. Шибко жил. В нэпу вознёсся — дальше некуда. Потом нас стебанули, всё полетело кувыркком. Сдал я своё добро в колхоз, а сам по миру пошёл. Живу и не тужу. Только поспешили вы ту нэпу расстегать, могли на нас, дураках, такую Расею отгрохать, лучше некуда. Германия и Америка были ба далеко позади.

— Ты, дед Филипп, враг народа, — встал рядом со мной Шмага.

— Может, и враг. Я ить себе дажить враг.

— Мы тебя должны арестовать, — поднял я свою бердану.

— Не про ча. От меня вреда мало. Может, вредность есть, так от неё Расее беды немного.

— И арестуем.

— Не суетитесь, я пришёл и ушёл, а вы думайте.

Дед Филипп тяжело поднялся и пошёл от нашего костра. А мы думали. А когда придумать ничего не могли, ругали деда Филиппа, войну и фашистов.

* * *

Всё это вспомнилось, я забеспокоился. Надо догонять друзей и спасать. Я был страшно усталым, больным, но знал, что они не дойдут до дому. Зачем я оставил их? Не надо было уходить из ватаги. Ушёл я потому, что мы почти умирали с голоду. Ушёл, чтобы спасти семью. Орехи давали деньги, но они уже не кормили. На те деньги ничего нельзя было купить. Магазины пусты, базары безлюдны.

Я понимал, что у мальчишек что-то случилось. Так бы они не рискнули выходить в непогоду, слякоть.

Вспомнились слова Шмаги: «Человек не тот, кто называет себя человеком, а тот, кто подаёт тебе руку.

Филипп — добренький старик, мясо на всех разделил, но он недобрый, злой человек. Добренький по-казывает свою доброту, а добрый — дарит».

Однажды мы забрели в поисках шишек на речку Дитур. Там жил охотник Дорин. Мы зашли в его дом, попросились на ночлег. Пустил. Начал елейным голосом жалеть нас:

— Носит вас в такую даль. Карает Бог нас за грехи тяжкие. Карает. Наказует грешников. Отреклись от него. Ну да ладно, спите.

В доме пахло варёной изюбриной, печёным хлебом. Мы хотели есть. Жадно тянули в себя хлебный дух. Но нас не накормили. Не спалось. Утром мы ушли в тайгу. Встали на привал. Шмага достал из своей котомки две булки хлеба, сказал:

— Наказал Бог грешника. Добренький человек не должен нас осудить. Давайте наедемся досыта.

Но тот добренький нашёл нас. Бросился искать в котомках, грозил перестрелять всех. И, наверное, перестрелял бы, если бы у меня не было в руках берданы, которую я держал наизготовке.

...Я торопил огонь, прикидывал: далеко ли ушли друзья? Нагружены они тяжело — это видно по следам на тропе. Надо скорее варить рябчиков, поесть и догонять. Погибнут! Мясо не доварилось. Ем полусырое, рву зубами, глотаю. Главное, набить желудок, дать ему работу. Я боялся за ребят. Но сам забыл, что и мне придётся идти через эту сумятицу. Могу тоже замёрзнуть. Правда, в такую погоду легко добыть зверя. Не лежит он, бродит. Ну и ладно. О зверях будем думать потом, надо спасать-выручать друзей.

Поел. Фуфайка не успела просохнуть. Ладно. Бросил за плечи пустую котомку, ружьё и пошёл. В лицо бил мокрый снег, ветер. Остановился. Уныло посмотрел на зимовьё, там тепло, там сухо. Заныли застуженные ноги, зябко стало телу. Избушка манила назад кудреватым дымом из трубы, подмигивала заплаканными окнами. Я показал избушке кулак и бодро пошагал по тропе.

Следы шишкарей припорошило. Вижу, что вначале они шли след в след, ровно, потом начали петлять, каждый выбирал на тропе место посуше. Спешу во всю силу. Не смогут они пройти через вздыбленную тайгу. Не смогут! На плечах тяжёлые ноши, каждая по два пуда. И, наверное, голодны. Ветер рвал и тряс мокрые сучья.

Вспомнилось, как однажды мы ехали зайцами в тамбуре товарного вагона. Сбоку бил мокрый снег. Поезд мчался как ошалелый, минуя одну станцию за другой. Мы промокли, начали замерзать. Совсем заоченели. Я затеял борьбу, потом мы тузили друг друга, чуть отошли. Прибыл поезд в Биру. Здесь нас сняли милиционеры. Завели в участок. Начались допросы: кто такие, почему ездим на товарных поездах?

— Потому что для нас не хватило местов в мягком вагоне, — выпалил Шмага. — Как ни просили кассиршу — не продала. Поехали в плацкарте. Холодно, но ездить можно.

— Ты кто такой? Ишь, весельчак. В кутузку спроважу, — зашумел милиционер.

— Можно и в кутузку. Это уже будет вагон международного класса. Не бывал я там, а хотелось бы.

— Головатый, шенок. Не из воров ли?

— Честный трудяга.

— Отпустите нас, — попросил Гошка. — Мы ездили продавать орехи. Не воры мы.

— Так и быть, отпущу. Но вы только обогрейтесь. Посажу на другой товарняк...

Как же Гошка пошёл на такое? Ведь он умнейший парень! Великий человек! Тайгарь. У него нашёлся отец. Скоро придет домой. А он погибнет перед самым приездом отца. А потом Ленка. Она так любит Гошку, что обсказать трудно. Придёт он из тайги, она к нему. Целует, обнимает, помогает раздеться. И шепечет, и щебечет.

Я через снега и тайгу вижу Гошку. Он идёт впереди, упрямо набычив голову. Идёт навстречу снегу и ветру. У Гошки суровая складка на лбу. Такие складки нам наложила война. У него в глазах тревога. Тревога, что не смогут выйти, тревога, как там Ленка. Хотя она живёт у деда Максима, учится хорошо и, конечно, ждёт Гошку.

Тревожится и Шмага, хотя он свою тревогу скрывает легко. Ведь Шмага — артист. Но в то же время он кормилец семьи. Ему надо во что бы то ни стало дойти до дому. Другое дело Васька. Он ненавидит отца. Ненавидит эти хождения по тайге. Ходит с нами по принуждению. Но и он хочет жить.

Ваську мы щадили, всегда щадили. Мы жалели его больше, чем себя. Мы знали, на что идём и зачем идём. Васька же не знал и не понимал, для чего он ходит в тайгу, зачем ему деньги. Гнал жлобина отец — шёл. Костыль можно забить и с четырьмя классами. Васька давно озлобился. Он мечтал быть лётчиком, но отец давно выбрал ему специальность. Мы пока ещё не знали, кем будем. Жизнь покажет, поставит на тропу...

Догнать, надо скорее догнать. Больше всего я боялся за Шмагу. Он сдаст первым. Раньше, в своих походах, мы ставили Шмагу в середину, чтобы не отставал, тянулся бы между нами. На тропах он был невыносим, часто хныкал, просил, чтобы присели передохнуть. Губы у него отвисали, как у старой лошади. Глаза тупели. Как он там сейчас?

Мы орали на Шмагу, что, мол, он рохла, что он слабак. Шмага нам отвечал:

«Всё так. Не люблю я быть быком в ярме. Лучше ехать на санях. Устал я, ребята. Устал ходить. Ну сколько можно? Вот хочу расслабить тело и лежать, лежать, лежать. Три года ходим. Ужас, как это надоело».

Прав Шмага. Всё надоело, тело просит отдыха. Ломота в костях. Болят плечи — их натёрли лямки. Болит спина от переноски тяжестей. Отдохнуть бы. Мы того заслужили. Без груза по полста вёрст в день проходили, а с грузом — по тридцать. Ишаки, и те, наверное, столько не смогли бы пройти, а мы проходили. Продавали орехи и снова брели по тропам.

Ветер набирал силу. Мокрый снег повалил гуще. Тайга гудела и стонала. Я спугнул рябчиков. Двух добыл. Мальчишек подкормлю. И ещё надеялся, что они услышат мои выстрелы, подождут. Но в таком гуле тайги, стоне ветра выстрелы тут же замерли. Я шёл уже два часа. Следы стали свежее. Вот Васькин след, у него стоптаны ичиги, на подошве заплата. Он трижды падал. Около него топтался Гошка. У Гошки японские ботинки с шипами. Шмага прошёл мимо них в своих кирзовых сапогах. Значит, дела у ребят плохи, если кто-то прошёл мимо друга. Напрасная тревога. Васька, наверное, поскользнулся, снова пошли дальше. Иду четвёртый час. У меня часы, моя гордость. Это японская штамповка. Идут они скверно, но всё же идут.

Снова прочитал короткую повесть на снегу. Лежал Васька. Над ним стоял Гошка. Подрались. Нашёл бусинки крови. Значит, Васька сдал первым. Не хочет идти. Но через сотню шагов увидел лёжку Шмаги. Его тоже поднимал Гошка. Васька прошёл мимо. Но почему они не разводят костёр? Только он может их спасти. Нет, вот они разводили костёр, но у них отсырели спички. Чёрт! Остудели, наверное, от холода и голода. Пропадут!

Дальше шествие замыкал Гошка. Он шёл с палкой. Может быть, опирался на неё, а может быть, гнал ребят. Но куда гнать? Ведь они прошли всего половину тропы. Не дойдут, хоть колоти их палкой. Хотя бы бросили свои котомки и шли бы налегке.

На лужайке мальчишки подрались. Гошка убежал от Шмаги и Васьки. Они напали на вожака и хотели побить. Здесь они бросили свои ноши и шли порожняком. Молодцы! Может быть, дотянут? А если я их догоню, то разведём костёр — и всё обойдётся. У меня спички в железной банке, не отсыреют.

Мне жарко. Я почти бегу. Жарко от бега, жарко от страха за судьбы ребят, друзей. Они погибают, и нечего успокаивать себя. Догнать и спасти! Ноги скользили по тропе, разъезжались. Я тоже начал падать. Снег сменился крупой. Она больно била в лицо, слепила глаза. Подул холодный ветер. Фуфайка и штаны начали обмерзать. Стало страшно за себя. Перед глазами всё плыло. Остановился. Струсил. Спасовал. Сил больше нет. Развёл костерок. Начал греться. Потянуло в сон. Но я сбросил с себя дрему, быстро распотрошил рябчика, сдёрнув с него шкуру с перьями, начал жарить на костре. Не столько изжарил, сколько сжёг мясо, но всё же перекусил. Силы чуть прибавилось.

Посинели руки. Замёрз. Костёр не может согреть. Но теперь я могу бежать. Есть силёнка. Однако не сразу побежал. Трусил уходить от огня. Трусил. Ведь я был насквозь мокрый. У костра одежда оттаяла, от неё валил пар. Эх, обсушиться бы! Уснуть бы! И тут случилось со мной такое, что я сразу сбросил с себя сон, трусливость. Перед глазами вдруг встала мама, она будто спросила: «Ты испугался, сынок? Жить хочешь? А разве твои друзья не хотят? Или ты забыл слова деду: сам умирай, но друга не оставляй в беде. Если забыл, то вспомни! Погибнут они, кем же станешь ты? Убийцей, вот кем станешь ты! Я отрекись от тебя, я прокляну тебя! Тебя проклянет и весь наш род. Трус! Знать, мало тебя учил добру дед, твой друг Арсё? Мало. Теперь меня послушай. Умри, но ребят спаси! Не спасёшь — жить тебе в вечной маете душевной, в вечном изгнании родительском. Догоняй!»

Не знаю, то ли я заснул на секунду, и это приснилось мне во сне, то ли мать приходила ко мне. Мать — суровая, но добрая женщина. Прошёл страх перед морозом, смертью, тайгой. Я побежал дальше.

Тропа обогнула сопку, свернула в ключик. И тут, в десяти шагах от себя, я увидел три облепленные снегом фигурки. Это были они, мои мальчишки. Они лежали на снегу калачиками. Но тут я увидел и другое: над Гошкой возвышался бурый медведь! Он жадно обнюхивал его, тронул когтистой лапой, перевернул на спину, тихо рыкнул.

Сонливую усталость как рукой сняло. Я прижался к дереву, прицелился в голову зверю и плавно спустил курок. Грохнул выстрел, зверь рухнул носом в снег. Готов! Я побежал к Гошке. На медведя не обращаю внимания. Трясу что есть силы Гошку, пытаюсь поставить на ноги, но он не просыпается. Безвольно болтается из стороны в сторону. Я сунул руку под фуфайку, там было ещё тепло, там билось сердце.

Рядом, задрав корни в небо, лежал кедровый выворотень. На корнях смольё. Достал топор, натесал смолин, добыл огонь. Огонь! Вот он запылал, охватил смоляные корни, стало тепло, стало не так страшно. Только огонь может их спасти. Огонь! Я приволок к огню Гошку. Положил его так, чтобы тепло падало на лицо, руки. Затем Шмагу, последним Ваську. Все они были живы, но спали. Спали предсмертным сном. Я мигом срубил пихту, насёк сучьев и подложил лапник под бока мальчишек. Они чуть распрямились от тепла. Шмага улыбнулся во сне. Я начал будить Гошку. Тряс его за плечо, называл по имени, но всё тщетно. Вспомнилось, как милиционер на вокзале приводил в чувство пьяного пассажира: он сильно тёр ему уши. Тру и я Гошке уши. Гошка замычал, завозился, начал отбиваться от меня ногами и руками. Ожил. Порядок.

— Уйди, гад! Убью! Скотина, драться!

Я его ударил два раза по щекам.

Гошка сел, выхватил нож из ножен, но тут увидел меня, костёр, почувствовал тепло, обмяк.

— Ты, Андрей? Ты с неба свалился?

— Нет, вас, дураков, догонял. Грей руки, грейся.

— Спать хочу.

— Потом будем спать, сейчас грейся!

Гошка послушно протянул руки к костру, но тут же отёрнул и завыл от невыносимой боли. Руки начали отходить и заныли.

Я начал будить Шмагу. С ним я сделал проще: вначале потёр его руки снегом, потом начал их греть. Шмага вначале сам протянул руки к теплу, но вскоре попытался их убрать. И вдруг он застонал, открыл глаза, затем с большим усилием поднялся и заплакал:

— Ой, мамочка! Ой, как больно! Гад, что ты сделал с руками?

Ладно, думаю, реви, надо Ваську поднимать. Гошка скоро совсем пришёл в себя и помогал мне приводить в чувство Ваську. Мы его трясали, били по щекам, тёрли уши, грели руки, наконец он открыл глаза. Долго и ошалело смотрел на костёр, меня, тайгу, тихо спросил:

— Пришёл? Я знал, что следом идёшь. Я тебя во сне видел.

Я сходил к зверю, содрал кожу с задней ноги, отрубил мякоть, разрезал её на куски и каждому приказал заваривать в своих котелках хлебково.

— Ты без котелка, Шмага? В моём заваривай. Вместе поедим, — сказал я.

— Ты по котелку узнал, что мы там были?

— По многому узнал, сердце подсказало, что вы сдуру пошли в такую непогоду.

— Потому и пошли, что у нас какой-то гад украл всё, даже соль. Остались голодными, — по-стариковски закончил Гошка.

— Поедим и будем сооружать навес. Спать будем здесь.

— Ты когда успел завалить медведя? — спросил Шмага.

— Тогда, когда он Гошку поворачивал на спину, чтобы потом зарыть его снегом, листвою и колодником завалить. Вот и шоркнул я его в башку. Сразу скапустился.

Жарко горел выворотень. Варилось мясо, мы обсыхали, мы приходили в себя. Потом долго ели медвежатину, улыбались друг другу, радовались, что снова все вместе.

Вспоминая сейчас всё это, мне думается, почему после всего никто из нас серьёзно не заболел? Обсушились, отдохнули и снова были готовы двигаться дальше. Но мы не пошли. Мы стали строить шалашик, готовить дрова на ночь. Зачем же бросать столько мяса, орехи. Отдохнём, переспим — и всё само собой решится.

Работали дружно, споро. Через два часа был готов шалаш, дрова на ночь. Теперь мы могли забраться под крышу от снега и ветра, хорошо отдохнуть. На вешалах сушились фуфайки, портянки, штаны, а мы под навесом шутили, смеялись, снова спорили. Шмага был в своей роли.

— Лечу я прямёхонько в небо.

— А может, душа? — поправляет Васька. Он любит точность.

— Пусть душа. В рай лыжи наострил. У ворот стоит дед Петро. Я говорю ему: «Отрок Никита прилетел в рай, не грешил ещё, не пивал водки, принимай мученика».

«То, что ты не грешил, мне ведомо, а вот водки не пивал — это зря. Штука, надо сказать, весьма полезительная от простуды. Вот не пей я её, треклятую, давно бы окостыжился. А такхватишь для сугрева — и стоишь себе на вратах: праведников — в рай, грешников — в ад. Ишь какая погодка-то. Так-то. Вчерась мы гульнули изрядно. Все ещё дрыхнут. Раненько ты прилетел. Ангелы и архангелы после на опохмелку пойдут. И судить тебя некому. А я без гумаги тебя не пропущу. У нас тоже есть свой закон и порядок. Потому катись отселева, пока проспят наши...»

— Хватит, Шмага, ты с Богом не очень шутокуй. Тятя говорит, что всё идёт от Бога.

— Жлоб твой тятя. Сына на смерть посылает, а ты идёшь. Ну мы ладно, а ты? — зашумел Гошка. — Утром будем думать, как быть дальше, как жить.

— Ладно, думай. Открываю я глаза и вместо деда Петра вижу Андрюшку. Вот обрадовался.

— Не о том, Шмага, говоришь. Надо думать о том, как нам жить дальше. Я вот не верю, что можно будет есть хлеб досыта. Не верю, и всё тут. А если так будет, то я зараз съем три булки. Потом у меня будет сын, и если он не поверит, что я много лет был голодным, что хлеб был слаще мёду, то выпорю варнака, и всё тут, — перебил Шмагу Гошка.

— Зачем пороть-то, ты просто возьми его в тайгу на пару недель, хлеба в обрез, — и поживи с ним, помокни вот под этими дождями и снегами, всё поймёт, — тихо сказал я.

— От порки люди не умнеют. От порки они глупеют.

— Это верно, ходим мы с вами в обнимку со смертью, и мало кого такое тревожит, потому смерть — дело обычное, привыкли к ней люди, — уже другим голосом сказал Шмага. — Да, ко всему человек привыкает, даже будто бы к петле: пять минут побрыкается и привыкнет. Страшно, но факт...

Какие это были мудрые мальчишки-старички! Только что умирали на снегу, теперь острят, шумят. Будто ничего не случилось, будто в десяти шагах не лежал медведь...

К вечеру перестал валить снег, стих ветер. Мы освежали медведя, прибрали мясо. Наелись допьяна и легли спать. Спали и жались друг к другу. Костёр горел жарко и ровно, ведь для костра мы готовили ясень, берёзу, ильм... Ночь выдалась тихой и морозной. Таким же было утро.

Гошка, едва открыл глаза, грустно сказал:

— А сегодня Первое мая!

— Неужели сегодня?

— Сегодня. Помню, мы с папой ходили на демонстрацию, он мне купил целый килограмм конфет, пряников.

— А ну заткнись! — взревел Шмага. — Нашёл время о чём говорить. Замолчи!

— Ну, чего ты, Шмага, разошёлся? — положил я руку на его вздрагивающее плечо.

— Мне никто ничего не покупал, — тихо уронил Шмага и заплакал.

— Ну, не куксись, дурачок. Купят, сам купишь.

— А мне неинтересно, чтобы я сам покупал. Я хочу, чтобы мне кто-то купил.

— Не плачь, Шмага, мне мой жлоб-отец тоже ничего ещё не покупал.

— Нашли о чём говорить, — зашипел Гошка. — Я вам всё куплю. Разве от друга принять подарок не захотите?

— Я больше в тайгу не пойду, — сказал Васька. — Хватит. Принесу эту ношу, брошу отцу и скажу: «Хватит!»

Туманное солнце выползло из-за сопки. Мы нагрузились орехами, мясом и пошли домой. Пришли. Дома я спросил маму:

— Ты приходила ко мне? Ну, в тайгу?

Мать пристально посмотрела мне в глаза.

— Ты же приходила, ругала, что струсил. Разве ты забыла?

— Ничего я не забыла. Я знаю одно, что ты никогда, никогда не струсил. Дед и Арсё тебе дали хорошую закалку, верную показали тропу. Так иди же по ней, не петляй, как заяц. Пойду баню протоплю. Зови ребятишек-то. Вместе и попаритесь. Застудились до самого нутра.

Застудились, то верно. Ничего, согреемся...

РЕДКОЕ СЧАСТЬЕ

За стенами обветшавшего зимовья снежная буря. Словно вулкан, курится Ким-гора, тайга у её подножия гудит и стонет. От сильных порывов ветра стучит незакреплённое стекло в подслеповатом окне. Мигает неяркий огонёк плошки. Огромные тени охотников, загнанных в зимовьё непогодой, мечутся по тёмным стенам. Железная печурка яростно гудит,

выбрасывая снопы искр из докрасна раскалённой трубы.

Как водится в таких случаях, начинаются охотничьи байки, трёп. Правда, наших уссурийских охотников удивить трудно. Даже выслушав самый невероятный случай, к примеру, когда охотник прокатился на тигре, все отвечают одним словом: ба-ва-а-ет!..

Каких только рассказов я не наслушался в ту ночь! И смешных и грустных. Но понравился мне и в душу запал один, Андреев. Вот из тёмного угла звучит его мягкий, чуть простуженный голос. Я представляю себе большие озёрной синевы глаза, тёплые и доверчивые. Его сильную фигуру таёжника...

— Всё это так, охота каждому такое диво припасает, что до конца жизни не забудешь. Будь то первый медведь, первый тигр или первый корень женьшеня.

Андрей на минуту умолк. Слышно, как под окном скрипит и бьёт ветвями старая липа, гудит от ветра кедр, трещат поленья в печи.

— У каждого из нас было что-нибудь незабываемое. — Горячая печурка дохнула искрами и дымом. Андрей прокашлялся и продолжал: — Парнишкой пошёл я однажды искать женьшень. К тому времени у меня был уже первый медведь и первый кабан. А вот корня в глаза не видел.

Было нас трое. За главного дед Евсей. Таёжного склада человек. Молчалив, зряшно словами не сорил, но если скажет что, то оно всегда к месту, и подумать есть над чем. Вторым был Сенька, паренёк чуть постарше меня, и я.

Искали мы корень, вставали чуть свет, бродили днями по тайге, а между делом забавлялись чем могли. Вот раз Семён и говорит нам:

— Давайте искать женьшень так, как искали в древности. Уговор такой: кто найдёт первым корень, а корень должен быть крупным, о пяти листах, тот в этот день считается паном. Он до восхода солнца, до первого утреннего луча, освобождается от всякой работы. Его дело — курить трубку, спать на папоротнике да в небо поглядывать. И еду сварят, и одежду постирают за него другие.

Дед Евсей усмехнулся в бороду, прищурил выцветшие глаза и дал своё согласие:

— Спытаем, во что это обойдётся.

Клюнул на Сенькиного живца и я, хоть чувствовал, что мои способности тут в расчёт не берут. Спросил:

— А если я найду корень?

Сенька с притворным удивлением вскинул на меня глаза, улыбнулся, похлопал по плечу:

— Бывает, в тайге всё бывает. Но сумеешь ли ты отличить женьшень от травы? А? То-то.

Я вспыхнул, но сдержался. Не верили они в меня... Наутро условились о сигналах: три удара по де-

реву — иди ко мне, два — идём тем же путём, один — ответь, где ты? Частые удары по дереву — бросай всё и беги к товарищу. Тайга — она шуток не любит.

Научили они меня и магическому слову — «пан-цуй». Оно означает что-то вроде счастья, радости. При виде корня его надо кричать как можно громче. По поверью, если своим криком не напугаешь женьшень, он мигом превратится в простую траву или ещё хуже — уйдёт в другой район.

Осталось дело за небольшим — корень найти. Кому повезёт? Разошлись. Вышел я на свой участок, глянул: там ягода краснеет, и там под зелёным листом что-то мелькнуло. И сзади вроде бы пропустил малиновый огонёк. Бегаю от одного куста к другому, едва сдерживаюсь, чтобы не крикнуть... Но... крикни я зря это магическое слово, то Сенька, по обычаю корнёвщиков, имел право дать мне по пяткам двадцать палок. Палки были бы или нет, но посмеяться мой товарищ не упустил бы случая. До обеда так набегался, что ног под собой не чувал...

Дед постучал по дереву, созвал нас к ключику. Обед. Я предложил поесть всухомятку. Слишком велико было моё желание найти корень. Но дед откасался.

— Нельзя так, Андрей. Сегодня поели кое-как, завтра тоже, а силы где брать? По сопкам ходить — не на печи лежать. Наше от нас не уйдёт.

Неспешно приготовили обед, так же не спеша поели, напились чаю, отдохнули. А уж потом, собрав котомки, пошли в сопку.

Растянулись снова цепью. Теперь я шёл крайним слева, Евсей в середине, а Сенька почти у вершины сопки. Идём, ищем. Вскоре мне преградили путь густые заросли. Лещину перевили лианы лимонника, дубки смешались с берёзками. Я хотел их обойти. Но так далеко они растянулись, что решил идти напролом. Несколько раз упал, запутавшись в лианах, порвал штанину о чёртово дерево. Взмок. Под конец стал прорубаться ножом, так густо переплелись здесь листы и травы. И вдруг вышел на полянку. Залитая солнцем, травная, она улыбалась мне каждой травинкой, каждым листиком. Я так устал, что сразу сел. Стайка солнечных зайчиков опустилась на меня. Хотелось лежать, ни о чём не думать, смотреть в высокое осеннее небо, слушать таёжную тишину. И лежал бы, отдыхал бы, да где-то впереди, приглядываясь к каждому кустику, шли товарищи...

Поднял голову и вздрогнул. Передо мной стояла незнакомая травка. Тонкий стебель её покачивался от лёгкого ветерка. Посредине был венчик из пятипалых листьев, а на самой вершинке кровависто сияли ягоды, словно гребень петуха. Он!

— Волшебная трава, чудо-корень, корень-жизни, — шептал я.

Осмотрелся вокруг и ещё увидел с десятков таких же травинок. А сам думаю: «Кричать надо. Не то превратятся в простую траву. Кричать...» А голосу нет, да и не хочется. Пусть превращаются во что хотят. Я их увидел и вот люблюсь их невиданной красотой. И нет во мне охотничьей восторженности. Лишь тихая радость охватила меня. Думаю, вот бы встать и уйти. Пусть живут. Только треснула где-то ветка, и вспомнил я о Сеньке и деде.

Забыв весь ритуал переключки, я выскочил на середину поляны и заорал:

— Корень нашёл! Сюда! Сюда!

А сам от одного женьшеня к другому хожу, люблюсь. Вскоре послышался треск кустарника, и замелькали меж лещинника знакомые фигуры. Подошли. Но, боже мой, как они подошли. Ни улыбки, ни радости. Не лица, а камни. Только и сказал Евсей:

— Ничё. Хороши корешки должны быть. Копать можно.

А я ждал похвалы, восхищения, ведь это были мои первые корни. Понимаете, первые! Но всё было до обидного просто. Я, грешным делом, подумал, что, мол, они завидуют моему счастью. Не мог понять, то ли они рады, то ли огорчены. Ну, хоть бы глазом меня приласкали. Заговорили бы, как обычно случается, так нет!

Лишь позже я узнал, что корнёвщики живут по пословице: нашёл — молчи, потерял — молчи. Не радуйся и не огорчайся. Не любит этого женьшень.

— Десять корней выкопаем, а остальные пусть растут, — после осмотра заявил Евсей.

Сенька запротестовал:

— Зачем же мелочь оставлять? Выкопаем, на базаре продадим. Всё привесок к нашему заработку.

Евсей метнул взгляд из-под насупленных бровей и с расстановкой спросил:

— А душу-то, душу-то тоже вместе с корнем продашь? Аль при себе оставишь? Продай нето и её. Всё довесок к твоему дурному языку.

Сенька осёкся. Помрачнел. А я подумал: «Так тебе и надо, задавака. Ишь, нос задрал!»

Копать корни мне не доверили. Своим неумением я мог испортить их. Поэтому паном стал я раньше, чем хотел. Но за работой корнёвщиков следил внимательно. Учился. Видел, как Евсей отрыл головку корня, проследил, куда ушло основное тело, подрыл под корень траншейку, затем, легко встряхивая землю руками, осыпал мелкие камешки. Тонкой костяной палочкой, осторожно, словно хирург, начал выбирать он из густого переплетения разных трав корешки женьшеня. Ни одного лишнего движения, ни одной промашки. Обдерёшь кожицу на корне, может загнить и потерять цену.

Первым выкопал корень Сенька. И, не отламывая стебля, подал мне в руки. Корень был страш-

ненький, разлапистый и ничем не походил на того «человечка», которого я рисовал в своём воображении. Увидев на моем лице разочарование, Сенька улыбнулся и сказал:

— Это некрасивый корень, крабом его называют. Но весит он граммов сто и лекарственных качеств в нём столько, сколько во всех остальных. Мы его сдавать не будем, сами настоим и выпьем. А схожих с человеком корней встречается очень мало.

Я подержал в руке плотное, тяжёленькое тельце корня и положил его на чистую холстинку.

Выкопал свой корень и Евсей. Тихонько охнул, я резко повернулся. В далеко отставленной руке старика золотился корень, он смотрел на него не отрываясь. Глянул на меня и тихо сказал:

— В рубашке ты, видно, родился, Андрейка. Этому корню цены нет. В старину считалось, если кто найдет такой корень, тот самым счастливым человеком будет. Хорошего и верного друга даст ему судьба. Счастье! Пятьдесят лет я хожу за ним, а вот встретить не довелось. И жизнь уже на закат пошла...

Мы склонились над корнем. Большие узловатые руки Евсея чуть вздрагивали, когда он протянул его мне:

— Держи, не потеряй.

В руках моих был редкий корень. Ровное тело, на котором не было ни лишнего отростка, ни волосинки. Две точёные ножки. Одна рука вытянута вперёд, словно для призыва, вторая откинута назад, будто танцевать собиралась эта таёжная красавица. Словно из мира позабытых сказок взглянула она на меня.

— Жизнь штука сложная, Андрей. Если бы можно вот так выкопать счастье, я бы все сопки ископал, — с грустинкой сказал Евсей. — А то ведь... Желаю тебе счастья. Ищи своё.

Я сел в стороне и залюбовался корнем. «Найдёшь — будешь счастлив». Что искать? Усмехнулся я своим мыслям и тихо проговорил:

— Девушка, рождённая сказкой, здравствуй!

— Ну вот, Андрюха-муха, и стал ты паном, — окликнул меня Семён. — Я тебе говорил, что в тайге чудес больше, чем где-либо. Нашёл десять корней, один из них корень-счастье. Только ты этому не верь. Будь таёжником, а не рохлей. Продашь с выгодой — вот и счастье...

— Нишкни! — оборвал его Евсей. — Красиво говоришь, а думаешь плохо. Счастье искать никому не заказано. «Рожденную сказкой» положи в рюкзак, Андрей. Не давай в руки этому болтуну. От зависти он такое мелет.

Я содрал с кедра кусок коры, сделал конверт, обложил его мхом, укутал мхом и корень, обвязал бечёвкой и положил его в свой рюкзак.

Дед с Сенькой рассадили молодь, посеяли семена, и мы спешно пошли на табор. Я не чувствовал усталости. Нёс в своём рюкзаке счастливый корень...

Ещё на тропе нас застал мелкий дождь. Надвигались сумерки. А когда мы пришли к своему шалашу, загремела настоящая гроза. Скалу, что повисла над нашей стоянкой, начали сечь змеистые молнии, грохотал оглушительно гром.

Не обращая внимания на дождь, «рабы» готовили дрова на ночь. Я сунулся было им помочь, но меня остановил Евсей:

— Не суетись, Андрей. Наша затея, нам её и расхлёбывать. Ложись и отдыхай.

— Я бы давно спал сном праведника, случись со мной такое. Не мучился бы совестью, — ввернул Сенька.

Я лёг на подстилку из папоротника и тут же, счастливый, уснул. Когда проснулся, меня уже ждал ужин... С восходом солнца Евсей сказал: «Подурили, и будя. Несподручно панство в тайге». Мы с готовностью согласились, попили чаю и разошлись...

Андрей глубоко вздохнул и умолк. В зимовье стояла глубокая тишина. Охотники молчали, занятые своими думами. Лишь не утихала буря, не смолкал её суровый напев.

Прошло несколько минут, и кто-то спросил:

— Нашёл ты счастье, Андрей?

На спросившего зашикали, будто он сказал что-то непристойное, и он смутился. Андрей же поднял голову, послушал бурю и уронил:

— Ишь, как ярится, завтра хорошая будет охота...

ЖИЛА САМОРОДНАЯ

Из-за реки доносился рокот трактора, приглушённо гудели машины, увозили из-под комбайна обмолоченный хлеб. В деревне тихо и безлюдно. Лишь на завалинке покосившегося дома сидел дед Исай. Он, приложив руку к уху, слушал, что делается за рекой. Мы с дедом Исаем старые друзья, поэтому я смело подошёл к нему и сел рядом. Дед, кивнув головой, сказал:

— Гудит. Хлеб нонче ладный. А ты откель сюда забрёл? Давненько мы с тобой не виделись. Где пропал? Ча делал?

— Из командировки бреду. Геологом заделался. Решил вот вас навестить.

— Еологом, значит? Это дело нужное для нашего положения. Прознать нутро земли — дано не каждому. Для этого особый нюх надоть иметь. У тебя как с нюхом-то? Чуешь ли ты дых земли? Нет? Ну, тогда какой же ты еолог? Вот дед Андрос был еолог.. А ты всё такой же, с чудинкой, значитца. Раньше ты, ежели памятишка моя не одырявилась, был в одном деле протак протакком. Ни на один во-

прос мой не отвечал. Може, счас ответишь? А? Что есть жизнь?

— Я такой же вопрос задавал деду Евсею, он мне ответил, что жизнь есть то, что мы живём, что вокруг нас хорошие люди и, вообще, жить надо, чтобы себя вокруг себя добро. Я согласен с дедом Евсеем.

— Дед Евсей — голова! Он знает всё о жисти.

— А вы-то как её понимаете?

— Я-то? Дед, наверно, и про жилу самородную помянул?

— Ага. О жизни дед Евсей говорил ладно, но, как её правильно прожить, он всё же не сказал.

— Понятственно. Так вот слухай, еолог, как надо правильно понимать жисть. Жисть — это геометрия прямых линий. Непонятно? Да? Жисть — жила самородная. Ето слово спёр у меня дед Евсей. Ага. То же не всё понятно? Ну тогда дам свои епотезы. А то наш разговор не дойдёт до благополучного момента, не доберёмся мы до жилы самородной, не познаем геометрию жисти. Я ту геометрию не токмо в руках держал, сам по ней прошагал ровнёхонько.

— Но в геометрии есть и кривые линии...

— Пустое мелешь. В геометрии есть, а вот в жисти их не должно быть. Человеку с первого крика, окромя всех таинств, в довесок даётся судьба. Она даёт ход жиле самородной. Чтобы ты не лез в пустую породу, чтобы ты слушал дых земли. Дых земли — это наиглавнейшее дело. Но и другое дело тожить наиважнейшее — это не пушать в душу кривинку. Раз скривил, второй раз потянет то же исделать. И геометрия человеку на то и дадена, чтобы он шёл всю жисть ровно, прямых линий держался. Теперь тебе понятно? Хорошо. Так, значитца, ты есть еолог?

— Геолог.

— Еолог, так учи старого. Еолог тот, кто может слушать дых земли, а ты сам сказал, что не слышишь. А вот дед Андрос слышал. Он — еолог! А ты просто еолог. И не перечь. Поначалу выслухай всё, а уж потом сам скажешь, что и как. Ага? Почему Сенька стал генералом? Не знаешь, потому как он не умел слышать дых земли. А я вот был завсегда еологом. Дед Андрос тому научил. Вот так-то. Золотарь я в прошлом. Заглавное мое имя было «Жила Самородная». Понял теперича?

— Пока нет.

— Эх, какой народ пошёл непонятственный, всё им разжуй и в рот положи! — рассердился дед Исай. Отвернулся и долго молчал. Молчал и я. А что мне оставалось делать? «Дых» земли не могу слушать, плохо знаю геометрию жизни, не знал, что дед в прошлом звался таким сочным именем...

— Ага, — сказал дед. — У вас ноне разная техника, химия и расхимия. Еропланы летают и землю проглядывают, пешки никто не хочет ходить. Маши-

ну подай. Енералы! А енеральства-то у вас ни на грош. Вот Сенька — настоящий енерал! А вы енералы. Во! А мы? Мы, брат, всю землю ногами промерили. Ухом и нюхом слухали, что скажет земля. Жили мы, значитца, на Севере. Под боком Зея-река. Наша деревушка была спрятана в тайге. Летом бабы молоко холодили под мохом, потому как там лёд всё летечко держался. Места — дикие, самые золотошные. А золото, хошь знать, только таких мест и держится. Ему не нужна благодать и разная разность. Дорогое завсегда в тёмных местах себя прячет. Будь оно на виду, то всё бы враз выколупали. Дикость и северок золоту-то подай. Так-то. Моя геометрия жизни пошла с золота. Сенькина — с партизанщины. Мы оба чутка погоняли беляков. А в мир-то вместях и пошли золото искать. С золота наш узелок жисти и размотался. Родились мы с Сенькой в один день и под Марсом-звездой. Но дороги у нас вышли разные. И никто о том не жалкует. Всяк свою жилу самородную нашёл, не испортил геометрию. — Дед Исай помолчал: — Отгремело, отбулгачило смутное времечко, и пошли мы искать золото. На то гумага сверху пришла, чтобы мы начали искать золото. Очень шибко искать. Батя и дед Андрос, наши заглавные еологи, начали было землю пахать, но пришлось бросить. Не пахари они, а вечные золотошники. Всю жисть искали золото, а так в богачи и не вышли. А уж кто с первого шага заразился этой болезнью, то всю жисть будет ею нудиться...

А за гумагой и начальство пожаловало. Так, мол, и так, стране надобно золото. Андрос было хотел покуражиться, но его одёрнул отец: «Чего ты, старик, аль ты не был нашим командиром? Пошли, надо — так и быть — головы положим, но найдём то золотишко. Може, не так уж много, но должны найти». — «А может, есть у вас места приметные, чтобы там рудник заложить?» — остороженько начал спрашивать начальник. «Может, и есть, но всё надо проверить, прослухать, как и чем дышит земля. А потом уж скажем».

На том и разошлись. Стали собирать бригаду. Нас с Сенькой взяли и ещё гугнявого деда Ипата прихватили. Он не сразу пошёл, всё бухтел: «Золото — картёжная игра. А как будут платить? А будут ли?» — «Будут, — сказал дед Андрос. — Да у меня и нюх есть, что должны найти много золота. Кучу». Пошёл дед за нами. Он золотошник был славный. Мы с Сенькой тожить не лыком шиты. Знали, где сухостой выдался — моёт быть золото, там, где много муравьиных куч, тожить надуть ковырнуть землю. Присмет знали много. Но и фарт — дело нужное. Я же в золотошном деле оказался самым фартовым. Отсюда и определилась моя линия жисти. Не было бы фарта, тожить, может, был бы енералом. Ить при желании енералом можно сделаться запросто. Была бы голова на пле-

чах, а вот быть золотошником — не каждому дано. Тут, окромя головы, надобно многое.

Собрались и пошли мы в тайгу. А в тайге весна, слякотно и студёно. Кто бывал в зейской тайге, тот знает её мари, перелески, болота и озёра. Повёл нас дед Андрос на то место, где будто бы он примечал золотишко. То место много лет хранил в тайне. Для ча, так и не сказал. Тяжело идём. То снеги, то дожди нас накроют. Идём. На горбах несём продукту и разный струмент. Хотели взять коня, но раздумали. Сгинет напрасно аль медведи сожрут. А там, где Андрос приметил золотишко, жили староверы. Эти люди завсегда уходили подальше от мирского люда. Среди них были знакомые деду Андросу.

— Да, труднёхонько золотишко-то добывать. Но чё же в жизни даётся легко? А? Дайся легко золото в руки людям, то бабы кусками золота капусту бы гатили вместо камней. А то ведь крупинками его собираем. Сам подумай, для ча в мужицком хозяйстве золото? Ножа не скуёшь, посуда чижолая. Прямо вот и не для ча. А коль редко оно, то и цена ему наибольшая. Но есть у меня мыслишка, что там, в самом нутре земли, того золота горы, лопатой можно грести.

Идём, значитца. Тайга в зелень пошла: лиственница иголки пустила, а скоро и черёмуха дала цвет. Потеплело. А мы всё идём. На третью неделю дед Андрос начал крутить носом. Нюхать и слухать. В одном из ключиков мы остановились. Взяли пробу, в лотке две золотинки нашли. Поднялись выше, ещё пробу — больше попалось. А когда на одной косе намыли полграмма золота, дед и сказал: «Тут и будем отабориваться. Тут и лежит наша жила самородная. Подсекать её будем». — «Разведка боем», — проворчал мой отец. «Только так», — согласился Андрос.

И почали. Всё, как полагается, хоша и не надо, поди, бывшим партизанам за старьё цепляться, однако традициев не порушили. Богу помолились; кто даже грешен, тут же покался. Ну и главное — это надо было шапку бросить, чтобы она показала, где то золотишко спрятано. Да так должна та шапка упасть, чтобы землю не накрыла, а донышком легла. Ляжет донышком, тут и копай, золото должно быть. Бросил шапку дед Андрос. Упал его треух с первого раза с веселинкой. Но, на мой погляд, махонькую кривиночку имел. Нарушила та шапка геометрию ровности. Узрел, но смолчал. Сам себе рассудил, что нет таких людей, кто живёт без кривинок, хоша махонькую да каждый имеет. Словом, кривинка такая, что в счёт брать не надобно. А зря, коль одна новина пустил малую, пропустишь и большую, а вся жисть пойдёт на заворот кишок.

Наготовили дров, положили пожег, ждём, когда огонь земную кожу согреет, талость даст. Ну и меж-

ду делом слушаем поучительные беседы деда Андросса, за кострищем следим. Наш дед Андрос мало того что был преогромный политик, так ещё и знатоком по звёздам был отменным. В Писании сказано, что звёзды Бог сотворил, а дед же говорил, что родило их наше Солнце и отправило те звёзды в небо греть другие земли. И тут уж не перечь, дед Андрос крутого нрава был старик, враз по сопатке схватишь. Сказал он, что Луна из чиста сребра, так и быть. Тут он, конечно, могёт и без драки всё доказать. Да и самим видно, что Луна серебряным рублём в небе висит, червонь на неё нанесена. Головаст старик — беда. А звезду Марс, мол, Солнце родило из чиста злата. Вам, може, смешно такое слушать, а мы людей старых уважали, верили им. Счас время тако пришло, старым одно осталось — почёт, веры им вроде и нетути.

«Скоро, — говорил Андрос, — люди соорудят ероплан, он слетает на Луну, возьмёт её, как баржу, на буксир и сюда приволокёт. Причалит, где сподручнее, и почнём мы из Луны лить ложки, чашки. Всё это задарма пойдёт. Только вот меня ча мучает, ежлив энто сделают вперёд буржуи, то ить нам-то завидно будет. Совсем они разбогатеют и нам продыху не дадут. А вот Марс, тот чутка позже сюда приволокут, потому как туда надобен посильнее ероплан, а как приволокут, то, считай, нашему старательскому делу — конец. Наставлю я себе полон рот золотых зубов и буду ходить форсить, а то ить давно стал беззуб. Золото мою, а на зубы не сгоношу».

Нам, ясное дело, такие сказы антиресны, мы в спрос: а что, мол, с остальными-то звёздами исделают?

«Остальные, — чесался подолгу дед Андрос, — остальные оставят для украшения неба и мечтательства. Без звёзд людям жить нельзя. Скушновато будет. Рази можно нашу Зорьку порушить? Нет, я говорю. Вышел до ветру, и уже знаешь, ежлив Зорька висит на востоке, знать, пора баб поднимать и делом заниматься. Особливо она нужна зимой. Часов-то где набрать столько? Зорькой и будем обходиться».

После таких поучительных бесед не спалось. Дед сказывал про еропланы, самокаты, про песни, кои можно услышать с другого конца света, про то, что люди в нутро земли будут смотреть не чутьём, а разными машинами. Беда. Всё вышло почти по деду, по его сказам. Не у каждого такая голова была. Взять Ипата, тот только и мог матюжничать и ворчать: «И какой дурак начал первым искать это золото? Да... Жизнь старательская не мёд, но мы втянулись. Моя вон, поди, спит на перине, а я как король хрунцуский маюсь на нарах. Сменяться бы с тем корольишкой местами? Вот было бы смеху-то». — «Дурак, — отвечивал ему дед Андрос, — короля того давненько хрунцуские рабочие в рай отправили». — «Да

ну?» — «Вот те и ну. Хошь, меняйся». — «Свят, свят, сохрани и огради от смертных напасти», — начинал молиться Ипат. Смех и грех.

Утром убрали пожар. Начали долбать землю. Сняли талость и снова начали греть. За два дня добрались до рыжих глин, потом пошли синие, с прозеленью и наконец дошли до песков. Тут у каждого в душе трепетанье, крутим ворот, ажно руки горят. Бадья взад-вперёд снуёт.

У каждого одна думка: добыть золота и сразу посылать Андроса к староверам, чтобы прокорм себе купить. У староверов всего было вдосталь. Даже спиртешко водился. Откель и как они его заносили, нам было неведомо. Под залог ничего не дают. Оно и понятно — люди таёжные, ежели каждому давать под так, под честное слово, то быстро в разор пустят. А ить у них всё с горба нажито — понимать надыть. Каждому бродяге верить — скоро без портков останешься. К тому же многие их уже проучили.

Ну ин ладно. Берём одну за другой пробу — пусто. Пробиваем штольнешки и влево, и вправо, но всё то же. Андрос и Ипат челноками бегают от шурфа до ключа. Моют в лотках пески. Спустился в шурф Андрос, поковырялся, посопел, вылез и сказал:

- Глухарь! Ножа те в горло, глухарь!
- Глухарь! — прогундосил Ипат.
- Надо думать, так, — согласились мы.

Отец мой сощурил глаза и грит: «Потому и глухарь, что твоя шапка, Андрос Сидорович, стало быть, снова ворованная». Водился такой грешок за дедом Андросом. Бывало, он раньше прихватывал чужое, до революции значитца. Потому зря уродовались. Побурел дед Андрос, зашипел, отвечает: «Не забижай зряшно человека. До революции я был в бессознательности, а счас я дошёл до душевной чистоты. В магазине куплена». Сильнее запыхтел, вижу — ищет лазейку, на кого бы нашу поруху свалить. И дёрнул меня чёрт за язык, я и ляпни: «Потому вышла такая невезуха, что шапка-то махонькую кривинку имела. Может, она сбила нас с панталыку?» — «Какая ещё там кривинка? А?» — этак вкрадчиво спросил дед. «Ухо-то на северяк смотрело, оно чутка и похило шапку. Знать, там надо было искать золото, в северянке». — «А ты хорошо энтю приметил?» — «Куда лучше». — «Так отчего же ты, гроб твоей собаке, смолчал, не пошумел?» — гусём зашипел дед, прыснул на меня котом, поймал за патлы и давай тузить и приговаривать: «Видел изьян? Ага? Не сказал, смолчал. Душой покривил. Стервец! Вот тебе за это! Вот! Учись за общество душой болеть. Увидел неувязку — кричи! Кричи, пока всех с копылков не собьёшь, пока не оглохнут!»

Размерно, с передыхом давал мне дед Андрос первый урок горняцкого дела. Оно конечно, при хорошем питании мог дать бы и больше, но с муч-

ной болтушки много не намашешься, да и та подошла к концу. Науку я принял без всяких там сопротивлений. Потому как знал нашу политическую линию: найти золото и им бить по рожам проклятому капиталу. На том бы и надо кончить поучение моё. Но куда там, каждому захотелось отвести душу. Ипат от всего сердца залепил мне такую затрещину, что я кубарем улетел в кусты. За ним и батя пошёл, выволок меня из кустов и тожить пару оплеух для понимания нашей научности влил. А какая там, к чертям собачьим, научность, ежлив у каждого лапша по пуду, потому тонкостей в этом я уже не видел. Дед Андрос бил жалеючи, а энти со всей силы. Ну, думаю, коль ещё Сенька начнёт меня учить, то я ему дам сдачи. Очень даже мог запросто дать. Кому пондравится такая костоломщина. Но он не тронул, подошёл ко мне и с жалостями разными говорит: «Потерпи, Исай, мужики нашли в тебе продущину, вот и надышались, теперича помолчат. Звестное дело — темнота. Не верю я, чтобы шапка здесь политическую линию играла. Для отвода глаз тебя тузану».

Дурень. Будь он на моём месте, я бы показал ему для отвода глаз, не посмотрел бы, что была у него думка стать енералом. Стерпел всё, хотя в душе кипело, — кажись, будь у меня шомполка, я бы ахнул по супостатам и ещё бы чутка повёл дулом. Всех бы вдрызг расхристал. Ить не скажи я, что шапка была с кривинкой, так бы обошлось, поматюгались бы и на том разошлись.

У балагана развели костёр, шумят, меня клянут. Ну и пусть. Я осмотрел местность, прикинул, куда шапка ухом казала, отсчитал полста шагов и задумал склонить мужиков, чтобы здесь шурфишко заложить. Утром напился чаю, Андрос и говорит: «Ты, Исай, зло на нас не таи. Урок даден тебе для твоего же благополучия и для научности. За битого — двух небитых дают. Сделаю я из тебя большого золотаря. Приметливый ты. Смекалистый. Всё равно тебя, когда-нибудь, распочинать надо было. Свои люди били, когда бы чужие — это плохо. Я давно заметил, что твоя жилочка имеет расположения к молчанию. Никакую нельзя кривинку пропускать. Сенька — это не золотарь. Это так, его я бы и не тронул. Быть ему енералом, может, получится чо. А ты золотарь — коренник». Значитца, поначалу по мордасам, а потом ласково по головке погладил.

«Сенька — тыфу! Не лежит у него душа к золоту. Не болит она за него. Знай и другое, что молчун порой и нужен, но, коль доходит до дела, надыть быть крикуном. К таким людям завсегда народ лепится. Пошли яму закладывать. Твой черёд шапку кидать. Так мы порешили».

Я прямо и пошёл на то место, где с вечера думку имел шурф заложить. Пришёл. Бросил шапку, и она

так легла ровно, что Ипат чуть ли не нюхал её, дажить сказал: «Будь ба уровень, то не преминул ба проверить, ровно ли она лежит?» — «Копать будем тут, — сказал я. — Здесь золото лежит кучей». Дед Андрос понюхал землю, приложил ухо к ней и сказал: «Должно. Слышу дых земли. Будем копать. Почали». — «Но, Исаюшка, — сощурил глаза мой батя, — коли пусто, то я первым почну тебя ещё разок учить. Кому много дано, с того много и спросится. Понимаешь?» — «Понимаю. Но от ча вы задумку такую поимели, что мне много дано?» — «А по то, что ты отмеченный Богом. В рубашке рождён, а такое не каждому дано». Вздобрился я. Знать, били не зря. Сердцем чую, что найдём здесь золото. «Человека я из тебя исделаю, — продолжил дед. — На весь мир прославлю. Все ключики и тайны земные тебе передам. Сам же скоро буду давить на печи тараканов».

Животы наши подвело. Дед Андрос пошёл к староверам канючить едому. Не выбить нам на воде ещё шурф. А что там Ипатовы рябчики, которых он силками давил, так — пустое дело. Жавнул раз-два, и нету. Ружья не брали. Это Андросова дурь, что будто они спокон веков без оружия золото искали, потому и находили. Андрос вернулся к вечеру. Пару булок хлеба принёс. Начал издалека, с подходом: «Такое дело-то, дали мне знакомцы тридцатку взаймы. Ежлив купить мучное, то оно здесь стоит втридорога, а ежлив мясного, то мы смогём три таких шурфа выбить. Ить никто пока не знает, глухарь тут аль нет. Тогда нам отсельева и не выбратся. А это уже нарушение политической линии. Возьмём мясного, то и линию свою соблюдём. Мясное, коль хочется знать, силу бо́льшую имеет, чем мучное...» Долго долдонил о том и о сём, пока не сказал прямо, что, мол, посмотрел совсем молодую кобылицу, хромая она, но жирна и свежа, глянешь — и слюнки текут. «Ты ча на смех нас берёшь, аль мы нехристи какие, чтобы кобылу есть?» — закричал Ипат. «Верно, люди мы хрещёные, не дано нам кобылу есть», — подал голос и отец. «А ещё партизан, а ещё советский человек. Да для дела, да для Расеи я готов лопать собаку, только было бы от этого помощь нашему люду», — взорвался Андрос. «Но ежли молодайка, то, должно быть, мясо мяконькое», — согласился отец. «Верно, через кобылу и порадеем для нашей власти. Ить мы люди не буржуйских кровей. Может, вначале и помутит чутка, а потом всё пойдёт как по маслу. И при современном политическом моменте не может быть и речи — хрещён ты или нет. Ить не за-ради себя маету и этот грех на душу берём, а для народа. Все знали, что не к тёше на блины идём. Ждут нас с разведки, чтобы здесь прииск заложить. Найдём золото, тогда и будем куражиться и есть как следует, разные всячины», — закончил свою речь Андрос и пошёл в балаган спать. «Верно — говорит отец, — нам с тобой,

Ипат, надо бы чутка в политике поднатореть, ишь как шпарит, будто по-писаному. Потому помолчим. Поедим и конятинку».

Утром мы с Андросом пошли в деревню за кобылицей. Пришли. Андрос завернул в крайний дом. Вышел старик. «За конём?» — спросил он. «Знамо». — «Забирайте». Глянул я на кобылицу, которую Андрос называл молодайкой, и назад попятился. «За тридцатку отдашь, как вчера договорились?» — «Передумал, — отвечал старик, — отдам за так. Всё одно её надыть на конскую кладбищу вести, так хочь вы сведёте, а может, и поедите ча». А ча уж там есть. Рёбра торчали, как частокол, мослаки во все стороны. Не кобылица, а дохлятина. Ноги еле переставляет, хвост и грива замочалены. Никакой аппетитности.

«Ну ча устави́л зенки? Повели, — сказал мне Андрос. — На тридцатку, може, мучицы продашь?» — спросил он старовера. «Могу». Купили мы муки и повели одрицу на табор. Дед Андрос ещё сказал, что, мол, на этом коняге можно вёрст сто без роздыху проскакать. Но скакать не пришлось. Вывели кобылицу из деревни, а дальше хочь плачь! Не идёт, и точка. Через колодины сами ей ноги переставляли. А волочить коня вёрст десять. Протащили восемь вёрст, и легла наша «молодайка».

Дед Андрос начал меня жалостливо просить, чтобы я зарезал кобылицу. Но я упёрся и тоже не сдаюсь. Режь, мол, Исаюшка. Начал обзывать буржуем и лиходеем и разными срамными словечками. Но я не сдался. Режь, мол, сам. Кобылица тем моментом околела. Кровей две капли вышло. Усохли у неё уже кровя-то. Освеживали. Дед Андрос поднёс мне под нос кулак и сказал: «Ну, Исай, ежлив ты проболтнёшь, что кобылица исдохла, что стара была до невозможности, то знай, измочалою вдрызг. Ради Расеи тебе в три ряда нос расквашу».

Понесли мясо на табор. Варили до самого заката солнца, я пять раз воду сменил, а мясо всё как дерево. Пришли наши артельщики. «Ну, слюной вы там не изошли, пока дождались вечера? Вон, ведро мяса. Ешьте. Лучше гусятины. Ну, начали. Покажи им, Исай, что ты наш, что ты больше всех болеешь за пролетарскую революцию, хоть ты пока и не партийный, но уже большевик». А меня при одном виде мяса тошнит. Перед глазами стоит издыхающая кобылица. Не спешу есть, над ухом снова прошипел дед Андрос: «Ешь, сволота, али я тебе нож под дых пушу! Ешь, да посильнее». Схватил я преогромный кусок и давай есть. Чавкая, рву мясо зубами и промеж всего говорю: «И верно, молода была, ажно лоснилась, да не смогла до табора дочапать, нога разболелась, дорезали у ключа, мясо в мхи спрятали. Ешьте, великательное мясо, гусятинка». Начали все есть. Мы с Андросом за двоих молотим. Опорожнили ведро. Ипат прогугнявил: «И верно, вкусна. И верно, гуся-

тинка». Потом чаем баловались со смородиновым листом. Лепёшки ели.

В полночь разбудил меня Андрос, зашептал, вари, мол, шибче вари, чтобы не пронесло людей-то. Пошёл я варить. Вариво моё бурлит, и не заметил, как и уснул. Проснулся, уже птички в кустах загомонили, костёр затух. Скорёхонько долил воды и снова раздул костёр. Варю. Едва вскипело, а тут дед зашумел: «Подавай гусятинки, Исай, сегодня пойдём до песков и начнём выгребать золото». Ещё и заругался, что, мол, я долго вожусь, мясо молоденькое, должно быстро увариваться. Ну, раз молоденькое, то я и подал, как есть. Все жрут, ажно хробысток на зубах стоит. А я уже не могу, раз показал себя, что я за пролетарскую революцию, и будя. Дед зашумел, что, мол, не ешь. Я в ответ, а то, что, пока варил, два кусменя мяса съел, ажно живот гудит. «При таком питании мы и десяток глухарей выбьем», — гундосил Ипат. Но дед дал ему тырчка, и тот замолк. Нельзя под руку такие несусветные слова говорить.

Почти сразу же и вышли мы на пески. Снова шустро заходила бадня, в азарт все вошли. Ипат начал промывать пески. Мы с Андросом на вороте, а отец и Сенька в шурфе. Вдруг чую, что мне стало тяжело крутить ворот. Глянул на Андроса, а у того рот набок повело, согнулся. Ну, думаю: отходил своё дед. Помирает. Не могу вывернуть бадью, а в ней три пуда. Отпусти её, она упадет на головы отца и Сеньки, заорал: «Ну чего рот раззявил, крути!» Дед понял мой крик и начал через силу помогать. Едва выволокли. Он тут же сиганул в кусты. Откель и прыть взялась. На ходу опояску сорвал, штаны и упал за кочкой. Слышу из шурфишка тожить кричат, чтобы подал лестницу. Выскочили и тоже за дедом. Я на всякий случай начал отходить на запасные позиции. Обчество — обчеством, а свои бока — бока свои. Жаль, коль снова начнут мять.

Вышел Андрос, и на меня: «Недоварил мясо, проспал! Пролетарият под монастырь подвёл! Убью!» За ним и батяня пошёл. Я в отступ. Не дошли они до меня шагов десять, поглядели друг на друга и снова в кусты сиганули. Дед было вырвался вперёд, но запнулся за кочку и упал, не достиг финиша, благим матом заорал: «Господи, прости мои согрешения! Во веки веков не буду есть конину!» А потом такую матюжину загнул про Бога и Богородицу, помянул весь род Божий, встал и пошёл в ключик.

А что мне делать? Бежать? Так кругом тайга. И не можно от своих бежать. Спустился в шурф и начал ковырять стенки. Кайло дзенькает по камням, лопата ширкает. Роблю. И вот прямо из стенки шурфа на меня блеснуло что-то жёлтенькое. Вырвал. А это самородок фунта на полтора. Ахнул — и наверх. А тут уже меня ждут. Я мышонком пронырнул под их распотыренными руками и отбежал в сторону. Говорю:

«Нашёл самородное золото. Бить будете, выброшу в болото».

Показал кусок. Андрос ко мне. Схватил золото, начал осматривать, чуть ли не языком лизал. «Точно, золото, не кварц». Ко мне, обнял, целует, снова на счёт пролетарията говорит, ласкает. Бросились мы на табор. Здесь дед поддел ведро с заготовленной на варку кониной, закричал: «Пропади ты пропадом!» Побежал в село. Допрежь то золото на куски разрубили. Мы начали снова робить. И пошло: как лоток, так тридцать—сорок граммчиков. Пока Андрос ходил, а потом закупал едому, мы намыли почти фунт. Едому он привёз на коне. Тут всё было, даже спирт, даже мёд. Ешь и пей — не хочу. На радостях поддали мы хорошего парку. Сенька так надзюкался, что залез в озеро — а оно холоднучее — и шлёпает по воде руками, кричит: «Исай, плыви за мной, переплывём окиян и в Америку угодим». — «Так это же не окиян», — отвечаю я. «Окиян». Еле отходили дурня, а счас генерал. Вот так у нас деется.

Пошло у нас с того самородка. Только успевали ссыпать золото в кожаные мешочки. Но скоро закрыли шурф, завалили снова. Открыли второй, третий, — и всё бросал я шапку. Подсекли жилку самородную. «Исаевой» жилой потом звали то место. Начались разные мечтательства. Сенька было хотел раздумать учиться на генерала, но Андрос так на него цыкнул, что он тут же смолк: «Будешь учиться. Нам нужны всякие генералы, всякие анженера. Учись. Исайка будет еологом». Мы все думали, что нас не обойдут, к наградам и премиям представят. В Москву мечтали попасть. Андрос упёрся на то, что будет проситься за границу побывать. Хотел провести поучительные беседы с разными королями и королишками. Доказать им, что не дело иметь одному столько, а другому ничё. «Как большевик буду говорить. Докажу. Не могёт такого быть, чтобы разумный человек не понял мою правоту. Посоветую бросить всё, отдать народу и самому начать робить. Интересно видеть, что твои руки исделали...» — «Не послушают тебя», — тянул Ипат. «Не послушают, тогда я их мировой революцией припугну. Должны послушать. Позову сюда к нам золотишко искать. Энто ить такой азартишко». — «Не пойдут, работа чижолая», — стоял на своей непролетарской точке Ипат. А мой отец ещё и насмехался: «Ты, Андрос, расскажи, как ты после Исайкиной конины зайцем по кустам сигал. Очень даже будет интересно послушать королю». После таких насмешек Андрос терял власть над собой, прыгал на меня с кулаками, на отца, грозился нам отомстить. Но отец снова за своё: «А как ты будешь говорить с аглицкой королевой аль королём. Ить по-ихнему ни шиша не петришь?» — «Кубыть за дорогу научусь. А нет, так Исайку прихвачу с собой, он головастый, быстро почнёт говорить по-

ихнему. Пойдёшь со мной, Исайка?» — «Пойду, ежлив для дела». — «Гнилая у тебя программиска, Андрос Филимонович. Не нашенская. С буржуями и королями надо говорить по-партизански. Бить их надо, а не разводить турысы на колёсах».

Но всё это ладно, наши ссоры — делу не помеха. Помехой стал Ипат. Посумнел он, посуровел. И снова заговорил: «Надыть нам, братцы, подумать и о себе. Для государства порадели, порадеем и для себя. Часть золота надыть оставить про чёрный день. Мало ли что». После таких слов мы ажно подались назад, а дед Андрос чаем поперхнулся, едва не захлебнулся. Одыбался — и на Ипата: «Ты что, сдурел? У тебя что, вместо головы — тыква? Да тебя за одни только думки и слова надыть распять на кресте. Тупая твоя башка! Замолчь!» Вспылил и Ипат за то, что его тупой башкой называли. Ну и, конечно, что думку тут же отмели, схватил кайло — и на Андроса. Но дед дажить и не дрогнул, спокойно сказал: «Меть в сердце, сразу убивай. Ты спас меня одна от японцев, ты моёшь и убить».

Выпало кайло из рук Ипата. Он помнит, как Андроса отбил у японцев, которые хотели того сжечь живём. Его отряд с ходу налетел и разбил вражин. Сел на кочку и запричитал: «Провались всё пропадом! Нашли — и не назови своим. Как энто понимать? Наша земля, наши речки, наши горы и небо, а не моё. Обчее. И зачем энто мне?»

Долго поясняли Ипату, что наше есть наше, но всё это обчее, народное. Ежлив всё заново вертать, так, выходит, надо и буржуев садить в дело. Нашли — наше. Мой и сбывай сам золото. Не дело, ясно, не дело. Ипат сдался. Пристыдили его партизанской совестью, пролетарским происхождением.

Начали свертать свою разведку. Все шурфы завалили, набросали наверх мхов и хворосту, чтобы не нашли какие варнаки и не попользовались ради себя. Утаили и пошли на выход. Анархистам-староверам, они ить сроду не хотели признавать какую-то власть, сказали, что, мол, не нашли настоящего золота. Те и рады. Нет золота, знать, они так, в тиши, и будут жить. А будь оно, то и люд бы сюда повалил, колготно и суетно.

Пришли в Амурский обком и всё, как следоват, доложили. Золото на стол. Ахнули все. В Москву нас. Там Калинин нам по орденку Трудового Красного Знамени. На курорты. Андрос было запросился за границу со своей гнилой программкой, но ему Михаил Иванович пояснил, что и как, и дед сдался.

Наша разведка была ладной. Счас там уже отработали золото, считай, но поперва добывали его пудами. Такой прииск отгрохали — залюбуешься.

— А потом вы ещё искали золото? — спросил я.

— Много искали и много находили. Нюх свой передал мне Андрос. Ага, передал, Царство ему Не-

бесное. Так-то. Значит, еолог? Вот и подумай, что есть жизнь.

Дед легко поднялся, усмехнулся, бросил:

— Гудёт. Гудёт земля. Хорошо!

ОТВЕРГНУТЫЙ

Охота не удалась. Я стрелял в кабана, ранил, но, видимо, легко, он завёл нас в верховья Сандагоу и ушёл. Опустилась на сопки ночь. Мне многие таёжные броды известны, памятни сотни мест, я бросил след и повёл своего напарника прямой дорогой на знакомую пасеку.

Усталость валила с ног. Обмёрзли брюки, застыли ичиги. Ноги не гнулись. Добудь мы кабана, такой усталости не было бы. Чаше всего она приходит вместе с разочарованием. Но мы брели, брели без дум, месили глубокий снег — лишь бы не дать сердитому морозу сковать нашу потную одежду. Справа и слева усталые горбы сопки. Распадок заметно расширился.

— Иван, а мы не заблудились? — уже в который раз спрашивал меня Вадим.

— Идём правильно. Скоро будет пасека. Лет пять назад я здесь проходил, не должен забыть.

— А может быть, костёр разведём? Сил нет.

Я промолчал. Тут и сопки враз отошли в стороны, раздвинулись. На нас пахнуло дымком. За березовой рощей залаяла собака. Послышался глухой голос:

— Найда, не дури! Свои идут. Ишь как устали, едва ногами двигают. Эй, люди, ворота к теплу! Кто будете? — спросил он нас.

— Охотники.

— Слышь, Найда, охотники. Понимать надо, нашей крови люди. Подходите, Найда своих не трогает!

Мы с трудом поднялись на низкое крыльцо. Гремя мёрзлой одеждой, вошли в домик. Запах воска, мёда, свежих стружек и тепла слегка закружил головы. Сели на лавки, устало опустив руки.

— Раздевайтесь. Добыли что?

— Раненого кабана упустили.

— С такими ружьями не мудрено упустить. А зверь здесь есть.

— Да, устали мы чертовски, а ружья у нас ничего, напрасно вы...

— Степан Дорофеевич, — подсказал пасечник.

— Напрасно вы, Степан Дорофеевич, так. Сам я виноват. Надо было ближе подползать, я поспешил.

— Может, и зверь поспешил. Шальной он стал, осторожный. Вовремя вы подошли. Ужин поспел.

Пасечнику было не больше пятидесяти лет. Низкорослый, плотный, он тугим мячиком катался по избе, сносил свой немудрящий ужин: сковороду с

шипящим мясом, судя по запаху — изюбриным, чашку с сотовым мёдом, эмалированные кружки, туес медовухи.

Я осмотрелся. В домике уютно и чисто. На стенах висели рога косуль, изюбров, а на самом видном месте красовались тёмные, чуть изогнутые рожки горала. Это редкий трофей. Я подошёл к ним и прочёл внизу: «Отвергнутый ищет смерти». Усмехнулся, подумал, что пасечник, видно, поэт. Здесь же висела репродукция картины Васнецова «Алёнушка» и в углу, над этажеркой — портрет Льва Толстого, под портретом — винтовка. «Непротивление злу» и оружие. Словом, не типичный пасечник Степан Дорофеевич.

— Стол накрыт. Прошу, «господа» охотнички! — улыбнулся хозяин. — Люблю гостей. В одиночку и медовуха горька. Ваше здоровье! Завтра мы догоним вашего подранка. Найда поможет. Грешно бросать погибающего.

Ужин вернул нам силы.

— Сказывайте, чьи, откуда? Кавалеровцы, газетчики? Хорошо. А я, брат, давно собираюсь написать на своего разлетаю, директора пчелосовхоза, разделить его за браконьерство, да страшусь. Не назвали бы наушником, стукачом.

— А может, и сами этим занимаетесь? — кивнул я на рожки горала.

Степан Дорофеевич перехватил мой кивок, улыбнулся и ответил:

— Браконьерством не занимаюсь. А горал — это дело другое... Прочли, что под рожками написано? «Отвергнутый ищет смерти». Всё как у людей.

— Ну это вы зря, — усмехнулись мы.

Степан подошёл к стене, любовно потрогал рога, повёл тонкими пальцами по ребристой поверхности:

— Глубокий был старик. Вот рога и дали трещины...

Присел на краешек стула. В тесной избушке повисло молчание. За стенами потрескивала морозом ночь, зябко дрожали звёзды, качался серпик месяца.

— Хотите, расскажу вам об Отвергнутом?

Мы согласно кивнули головами, хотя спать хотелось безмерно.

— Так слушайте. Охотились мы у берега моря. Как и подобает, нам, охотникам-промысловикам, выдали карабины, боеприпасы. Ружья хорошие, нечего обижаться. Не в пример вашим дробовикам, от которых только урон тайге. Ранил, не догнал, а в тайге лекарей нет. Зверь напрасно погибнет...

Нас было трое: Ипат Дронин, Вакула и я. В тайге случился глубокий снег, а на побережье стояло бесснежье. Урожай желудей в том году был богатый. От этого наша мясозаготовка шла успешно. Что ни день, то один-два кабана наши...

Ближе узнать человека, раскрыть его душу легче всего на охоте. Взять Вакулу. Здоровущий мужик, хмурый, замкнутый, редко слово скажет. Так он, чем больше мы добывали кабанов, тем сильнее хмурился. Глубокие складки залегли на лбу и однажды сорвался на крик: «Что делаем? Провались всё пропадом, брошу и уйду домой!»

И больше ни слова. И опять молчит, пыхтит. Не понять. Я тогда грешным делом подумал: «Чего блажит человек? Деньги сами в карман сыплются. И делаем мы нужное дело. Страну мясом таёжным снабжаем. Вроде лишний гвоздик в её дом вбиваем».

Ипат хорошо знал Вакулу, поэтому на слова его внимания не обращал, а стрелял самых крупных секачей, чтобы вес в них больше был. Спешил и я, пока кабаны не отошли подальше. Потом ищи их! Вместо десяти по плану мы настукали уже сорок. Вакула, похоже, тоже не отставал от нас, не давал промаху. Но вот однажды вечером присел он на дубовый сутунок, привалился парной спиной к палатке, пытливо посмотрел мне в глаза и проговорил:

— Степан, ты мужик головастый, стихи читаешь, разные сказочки говоришь, а понимаешь ли ты, чем мы заняты?

— Знамо, — ответил я. — Всё по закону.

— Подумай, по закону ли? Это же не охота, а разор тайге. Сезон только начался, а мы уже дали четыре плана. Тебя совесть не гложет?

— Какая может быть совесть? — удивился я. — Мы же в передовиках будем. Мясо добываем.

— Дурак! Я-то думал, ты головастый, а ты дурак. Нам дали план отстрелять десять кабанов. А мы сорок порешили. Соревнуемся, кто больше тайге урон нанесёт? Нас за перевыполнение плана похвалят такие же дураки, как и мы. Вот и молотим сдуру. А ведь сколько бригад по тайге! Страшно делается, как подумаешь. А ведь на этих кабанах ещё и тигры живут...

«А ведь он прав, — подумал я, и меня жаром охватило, будто горячую воду на голову вылили. — Прав! Ведь если сто таких бригад убьёт по сорок кабанов, то... Подумать страшно»...

Пришёл Ипат. Скаля крупные зубы, похвастал:

— Сидите, ломаете головы, как и на чём земля держится, а я вот трёх секачей подвалил.

— Над этим и ломаем, — повернулся к Ипату Вакула, — есть думка, что земля держится на дураках. На чурках безмозглых! — рявкнул он. — Всё, баста! Если кто из вас ещё завалит кабана, вот этими руками посворачиваю шеи, как курят! — И показал свои лапищи.

— Поди ты подальше! — взвился Ипат. — Учитель нашёлся! Сам директор вчера нас хвалил, что мы идём впереди всех. Надоед ты мне со своим уставом. Можешь уходить домой и не путаться под ногами!

— Домой я не уйду. У меня ещё пять лицензий на косуль. Но и урвать тебе с тайги больше не дам. Всё! — бросил Вакула.

Замолчал Ипат, понял, что с Вакулой спорить бесполезно. Тот своего добьётся.

К счастью, и кабаны отошли в другой район. За пять дней едва одного встретишь. Но и того мы не трогали. Перешли на косуль. В день по косуле.

Ипат помрачнел. Вакула был рад, а я оказался в нейтральных. Мне и так хорошо, и эдак. Таёжную живность жалко, но и лишняя копейка в кармане не помеха. Скоро косуль поубавилось, и пришлось нам переносить свой табор на двадцать километров южнее. Расположились у скал. И утром, как только первый лучик солнца скользнул по серым камням, мы увидели на скале горала. Он одиноко стоял, облитый солнцем. Будто со скалой и небом сросся.

Ипат нырнул в палатку, схватил винтовку, выскочил и взял на мушку горала. Вакула спокойно опустил свою лапу на ружьё и тихо проговорил:

— Не бери греха на душу, хоть ты и друг, а коль тронешь зверя, враз донесу, куда следует. Это мой старый знакомый. Жив ещё, старина, — заулыбался Вакула. — Я думал, его уже нет.

Ипат выругался, вскинул винтовку и грохнул по скале. Пуля высекала каменную крошку у копыт горала, но он даже не шелохнулся, не дрогнул, а всё так же неотрывно смотрел на восходящее солнце, на море.

— Ишь ты, какой гордый! — улыбнулся Вакула. — Не дури, Ипат! Пугнул, и будя. Отлавливали мы здесь для зоопарка горалов, — без всякого перехода начал Вакула. — Сети на тропах расставили. Пошли в загон. Горалы на ночь спускались пастись к подножию гор, там и водопой был. Утром мы их пугнули. Стадо метнулось в горы, к ловушкам. Впереди шёл этот. Мы бросились за стадом. Я хорошо видел, как горал подвёл стадо к сетям, осторожно обнюхал их, враз повернулся и направил стадо прямо на нас. Между пальцев, надо сказать, проскользнул. Увёл табун, — короткими фразами, будто рубил дрова, рассказывал об этом вожак Вакула. — На второй день мы перекрыли все входы и выходы в долине. Снова пугнули табун. Но, как и в первый раз, вожак в сети не пошёл. Обнюхал их — и к обрыву. Первым прыгнул со скал и снова увёл горалов. Неделю мучились мы и поймали всего одного горалёнка. Потому моего противоборца не трожьте! Боюсь, беда с ним, горе, — многозначительно закончил Вакула. Вздохнул и вошёл в палатку.

Горал от нас не ушёл. Как изваяние стыл он на острой скале. Обдували его холодные ветры, секли снега. Три дня пламенел он в восходящих лучах солнца, три дня обливали его закаты. И только на четвёртый день, выйдя из палатки, мы услы-

шали, как Вакула тихо ахнул: «Ушёл!.. Ну, прощай, нето...»

Солнце клонилось к закату. Я спешил перевалить хребет, чтобы засветло добежать до палатки, дров наготовить. Вышел на становичок. Позолоченная гладь моря хлынула в глаза. Солнце подрумянило волны, они, переливаясь, шли и шли к берегу. На горизонте маячил пароходик. Я присел передохнуть. Сбоку треснула веточка. Я резко повернулся, нацелив карабин, да так и застыл. В двадцати шагах от меня стоял горал. Я его сразу узнал по длинной тёмно-рыжей шерсти, по седине, которая покрывала его спину, выбелила голову. Он тяжело дышал. Взычился, упёрся короткими ногами в землю, насупленно посмотрел на меня, сердито чмокая губами.

— Иди, иди своей дорогой! — крикнул я, поднялся и заскользил под уклон. Оглянулся — горал шёл следом. И даже догонял меня. Поверьте, я струсил. Хоть и не верю в чертей и Бога, но бегу. Следом трусит горал. Точь-в-точь рассерженный домашний козёл.

Вакула уже был на таборе. Увидел он эту картину, нахмурился, бросил:

— Отвергнутый он, смерти ищет.

Я, словно загнанный конь, упал на ворох дубовой листвы. Вакула взял в руки винтовку. Горал, будто понял, что пришли его последние минуты, остановился. Гордо вскинул голову с острыми рожками и застыл. Только тихо-тихо свистнул в сторону насупленных скал. Послал свой прощальный привет.

— Не могу. — Вакула опустил ружьё. — Жалко старика, но он от нас не отстанет. Бей ты, Степан! — говорит.

Но и я не мог. Дрожала в руках винтовка, перехватило дыхание.

Смотрим, подходит Ипат. Понял охотник, что к чему. Сдёрнул с плеча карабин, грохнул выстрел.

Горал сунулся мордашкой в снег. Вот и всё... Нашёл свою пулю. А то выгнало его стадо. Стар стал...

За окном залаяла Найда.

— Бурый шатун бродит. На омшаник нацеливается. Давайте стелиться и спать. Найда не подпустит...

ЗИМНИЙ ВАЛЬС

Снег... Снег... Поёт и шепчется, плетёт причудливые узоры в воздухе, плавно, словно в вальсе, кружит среди гор.

Снег... Снег... Снег... Вот уже который день идёт он, засыпая дороги, тропы, шурфы, канавы, и, кажется, завалит весь мир, а с ним и зимовьё геологов.

Надолго повисла над тайгой глухая заснеженная тишина. Не пытайся кричать и звать на помощь. Твой крик тут же утонет в сугробах, запутается в мягких снежинках, замрёт в сверкающей хвое. В глубокий сон погрузилась тайга. Всё живое спряталось в своих убежищах. Но всё ли?

...Отряд геологоразведчиков работал под хребтом Сихотэ-Алиня. Галина Ивановна, молодой коллектор-геолог, исполняющая обязанности начальника отряда, которую все величали просто Галиной, в обычное время вышла в эфир. Она передала, что декабрьский план выполнили на сто пятьдесят процентов. До Нового года смогут дать ещё пятьдесят. И тут же попросила не высылать вертолёт. Ребята хотят вылететь не по графику — 25 декабря, — а в самый канун Нового года. Продуктов ещё много.

— Лады, — дал своё согласие начальник партии Игорь Семёнович Мельников, но тут же добавил: — Прогноз плохой, не пришлось бы встречать Новый год в тайге.

— Обойдётся, Игорь Семёнович. Синоптики говорят — только слушай...

— Твой Славка, вот он, рядом, гудит в ухо, чтобы высылал транспорт...

— Привет ему от меня. Скоро встретимся, пусть не грустит.

Утром канавщики вышли на работу. Снег для них не в новинку. Дадут двести — деньги и почёт. Тут ещё и другое: разведчики начали входить в азарт. Рябов, кажется, подсёк оловянную жилу. Теперь канавы заложили через двадцать метров поперёк её предполагаемого простираия. Галина Ивановна брала одну пробу за другой. Ждала: вот-вот пойдёт рудное тело... В крае заговорят о новом месторождении. Кто знает, не быть ли здесь городу...

Игнат Рябов — вечный скиталец тайги, завзятый охотник и лучший канавщик. Утром предупредил ребят, что, мол, пойдёте на работу, дверь привалите бревном. Видел следы росوماхи.

— Зверь этот, ежели хотите знать, самый что ни на есть пакостный. Заберётся в зимовьё — беда, — предупредил он всех.

Последним, как всегда, ушёл недавно устроившийся в отряд молодой рабочий Сёмин. Но то ли забыл о предупреждении Рябова, то ли сделал назло — с ним такое случалось, — бревно осталось в сугробе. И зверь пришёл. Росумаха перетаскала всё, что можно было съесть и чего нельзя было есть, и припрятала где-то в тайге. Позарилась даже на чёрный ящик радиотелефона, сдёрнула на пол. Но тут, видимо, трубка загремела, зверь испугался и выскочил на улицу. Геологи вернулись к вечеру, довольные собой. Жила подсечена.

Галина Ивановна вбежала в зимовьё первой. Она торопилась на связь и даже не заметила, что дверь —

настежь. Подбежала к окну, где стоял радиотелефон, и ахнула: ящик валялся на полу, в домике кавардак. Вошли канавщики. Рябов устало упал на скамью, закрыл глаза и тихо сказал:

— Дожили, мужики: ни хлеба, ни табаку. Доигрались. Росумаха была в гостях. Дело знакомое.

Гурьбой бросились к мешку с продуктами, к ящикам, но везде было пусто. Недосчитались рукавиц, рубашек, портянок и разной мелочи, вплоть до мыльниц. Галина Ивановна подняла радиотелефон, поставила на окно. Щёлкнула тумблером, подула в трубку, послала сообщение в эфир: «“Земля”! “Земля”! Я — “Гранит”! Я — “Гранит”! Приём! Приём!»

В трубке щёлкнуло, послышался голос начальника партии: «Галина Ивановна, вас плохо слышно. Что случилось?»

Начальник отряда начала поспешно докладывать обстановку: «У нас побывала росумаха, все продукты уничтожила. Обречены на голод. Подсекли жилу».

Вдруг в трубке раздался треск, шипение — и связь оборвалась. Галина Ивановна дула в трубку, трясла её, но трубка молчала.

Тщетно канавщики пытались найти следы разбойницы: снег успел их завалить, даже вмятин почти не осталось. К тому же на тайгу упали сумерки.

— Как жить будем? — побледневшими губами спросила Галина Ивановна.

— Так и будем, ждть у моря погоды. Завтра, если синоптики не набрехали, может, вертолёт прилетит, — в сомнении проговорил Рябов.

Но погода не менялась ни в эти сутки, ни в следующие. Четвёртый день валил снег...

Галина Ивановна в положенные часы включала передатчик, звала «Землю». Трубка упорно молчала.

Снег... Снег... Снег... Суматошный, неутихающий. В белой сумятице бредут двое. Бредут в слабой надежде дойти до перевала и там встретить какую-нибудь проезжую машину или людей. И казалось, что не идут эти двое, а плывут по надземной реке, широко загребая руками, а следом тянется широкая борозда. Стылая...

Первым шёл Рябов. Он высоко выбрасывал длинные, как у сохатого, ноги и благодаря двухметровому росту чуть выше пояса торчал над снегом. Следом пыхтел Холмов. Человек с мягкой фамилией, низкорослый, широкий в кости, с мягкими, как у женщины, чертами лица, но с далеко не кротким характером. У Холмова лишь голова торчала над сугробами.

Геологи удивлялись: как могут они дружить, такие разные, ну прямая противоположность один другому. Холмов мог, к примеру, на чём свет стоит

ругать Игната за малейший промах, а то и просто от скуки. Рябов либо молчал, либо нехотя отбивался:

— Ну с кем не бывает... Смолкни.

Спрашивали Рябова, как терпит такое. Рябов, усмехаясь, отвечал:

— С ним не скучно. Поворчит, полагается, всё на душе легче. Люблю я его, придурка. Да и без меня он бы давно сдох. С ростом метр пятьдесят в тайге далеко не укачешь. Судьба...

Но сегодня Рябов не хотел отмалчиваться: уж очень огорчило — по такому снегу до перевала за светом не дойти. Надо возвращаться.

— Ну что примолк, матюжник? Рот снегом забил? Всё равно надо было ползти на перевал. Даже в темноте. Авось кого и встретили бы. А теперь как людям на глаза казаться?

— Жди, встретили бы! — огрызнулся Холмов. — Какой дурак под Новый год пойдёт сюда? Да и Галина сказала начальнику, что у нас продуктов дополна... Ты бы бросил тёплую фатеру?

— Я бросил бы. Если встречу ту зверину — в лоскуты изорву. Когда же конец снегу будет? Бога мать, спит он там, что ли? Прорвало небо, и некому дыру заткнуть... Надо было сразу выходить, как случилось.

— Дура! Двести с лишком вёрст с одной булкой хлеба?

Между заснеженными деревьями показался барак. Запахло кедровым дымом, смолистым и радостным. Но сейчас... Через тонкие стены зимовья они слышали простуженный голос начальницы: «Земля!» «Земля!» — Я «Гранит!» Я «Гранит!» Приём! Приём!

«Земля» не отзывалась.

— Славка, ну ответь «Граниту», мне ответь... — глотая слёзы, просила Галина. После того как она покопалась в ящике, стал слышен писк, но и только.

Рябов потоптался у порога и спросил Холмова:

— Как порог переступим? Стыдобушка! Ить они последние граммульки хлеба нам отдали, на нас надеялись.

— Не испечём же мы хлеб из снега. Если бы манна вместо него сыпалась, я бы завтра в баптисты записался, а так, гроба мать...

Белыми медведями ввалились в зимовьё. Внесли мороз и сырость. В лица им дохнуло теплом и потом; десять пар глаз, притушив голодный блеск, заулыбались, не скрывая молчаливой надежды.

— Ну что устали зенки! — взорвался Холмов. — Понимаете, пусто! Пусто! Отвернитесь, смотреть противно!

— Не побились мы, Галина Ивановна, к перевалу. Снегу по пояс, а Холмову по грудь. Не хватило сил. Боюсь, что и тем, кто идёт к нам, плохо придётся, — виновато проговорил Рябов, на полусогнутых

добираясь до скамьи у печки. Упал, откинулся спиной к стене.

Галина Ивановна вскинула на Рябова большие глаза, опушённые мохнатыми, как этот снег, ресницами, нехотя засунула трубку в ящик и щёлкнула застёжками. Поёживаясь, словно от мороза, прошла к столу, присела на стул. Порвалась последняя ниточка, которой надеялись через этих двух работяг связаться с миром. Повисло тягучее молчание. Трещали поленья, сердито гудела железная труба над печуркой.

— Хорошо, хоть вернулись. Оголодали небось?..

— А что? Могли погибнуть! — вскинулся Холмов. — Запросто могли. Да мы...

— Не тараторь! — хмуро бросил Рябов. — Замыкал.

Удивлённые глаза уставились на Рябова: впервые за три года он грубо оборвал Холмова. Значит, дело и верно табак, раз сам Рябов повысил голос.

Василий Суматохин поднялся с раскладушки, бодро прошёл к печи, хотя все догадывались, чего стоила ему эта бодрость. Считай, четыре дня, кроме чая, заваренного лимонником, ничего во рту не держали. Налил кипятку в кружку, достал бритвенный прибор и весело скомандовал:

— Рябов, хватит нудиться, раздевайся! Брить буду. Ишь, зарос, как медведь. Постесняйся нашей дамы. Новый год на носу, — шесть часов до него осталось. Встречать его надо чистенькими. И ты, Холмик, готовься.

Мыля обветренное лицо Рябова, Василий не умолкал:

— Йогвы, те, между прочим, умышленно морят себя голодом. Так сказать, делают разгрузочную диету. По последним данным медицины, голод — это панацея от всех болезней. Любую может сожрать голод. Все микробы от него гибнут. Поэтому будем считать данную ситуацию излечением: гоним из себя бактерию алкоголизма.

Полузакрыв глаза, Рябов нежилась под прикосновениями коротких пальцев Суматохина. Тот вставал на цыпочки, мячиком прыгал вокруг такого медведя.

— Йогвы...

— Поди ты к чёрту со своими йогвами, — взорвался Сёмин. Он и в доброе-то время с ним не ладил, а в эти дни брюзжал больше всех и всем дерзил. Из-под выпуклых надбровных дуг угрюмо смотрел на людей серыми недобрыми глазами. — Надоел!

— Йогвы, — переждав, когда замолчит Сёмин, не унимался Суматохин, — могут остановить сердце, дыхание...

— Да замолчи ты! — взревел Сёмин, достал с полки валенок и начал ковырять толстую подошву.

Лёнька Крайнов улыбнулся пухлыми губами, потянулся на раскладушке, от чего под свитером забегали бугры мышц.

— Потеха, — прогудел он. Взял со стола журнал и начал его листать. — Сёмин, давай кроссворд разгадывать. Приток Волги, а по вертикали — обсуждение одной темы.

— Дискуссия, — подскочил Суматохин.

— Додискуссировались! — Сёмин хватил валенком об пол. — «Поработаем ещё недельку... Не надо вертолёт...» Теперь дохни с голоду! В престольный праздничек хлеба куска не съешь, не говоря уже о чарке. Кретины! На кой чёрт я с вами связался. Жил бы старыми деньгами.

— А сколько бы ты за те деньги снова потянул? Пятёрку? Между прочим, за рецидив сейчас круто взялись, строгий режим, а повторно, могут и хлопнуть. А? — заговорил Крайнов. — Жалеешь, что ссучился? Не жале! Трап поднят. Здесь за нами никто ружья не носит. Хорошо. Свобода. А вкус жизни я понял, когда женился. Хорошая девчонка попалась. Сейчас бы к ней под бочок... Дело! И тебя женю, вешалок много. Окручу. Поймёшь, что не зря живёшь.

— Поди ты, воспитатель!..

Галина Ивановна включила транзистор. Из него полился чистый голос певицы:

...Снег, снежок, белая метелица,

Говорит, что любит, только мне не верится...

— Да выключите вы его! — взревел Сёмин и в сердцах швырнул валенок в угол. Лишний раз напоминая о еде, загремели кастрюли, которые кто-то из ребят нашёл под снегом.

— Слабо стало, зло на обувке срываешь?! Рохля! Трусина! — выкрикнул Суматохин.

— Это ты мне говоришь? А, пилявка?

— Вам, сэр! Вам!

— Да я сейчас из тебя фарш сделаю. — Сёмин вскочил, схватил полено и двинулся на Суматохина.

Поднялся Крайнов, спокойно подошёл к Сёмину, взял из его рук полено и швырнул в печь. Сёмин не сопротивлялся. Лишь зло скрипнул зубами.

— Прекратите, парни, без того тошно.

— Тошно? — хотел сорвать на Галине Ивановне своё поражение Сёмин. — А ты, голуба, два пальчика в рот... — Не договорил, осёкся.

Ему сегодня жестоко не везло. Сник под взглядом рыжих глаз. Увидел знакомые огоньки. Нет, он не забыл их, он их всю жизнь помнить будет.

...Сёмин прилетел в отряд на вертолёте. Неделю назад вышел из ворот лагеря. Дал слово Крайнову завязать. Сёмина поставили на канаву. Работа не мёд. За день намотался — рук поднять не мог. Канаву пришла принимать Галина Ивановна — старший коллектор. От её опытного взгляда не ускользнуло: канаву заужена.

— Придётся переделывать, — мягко сказала она.

Сёмин смачно выматерился:

— Зачем, голуба, ерунду говоришь, ты бы лучше спустилась ко мне, и мы бы поигрались. Вечерок-то хорош, самое время начинать. А? Шлюхи на меня падки.

Галина прыгнула в канаву, схватила со дна кайло, занесла его над головой и молча пошла на Сёмина. И Жора, Евгений Павлович Сёмин, попятился, попятился, пока не упёрся спиной в грунт.

Она тихо сказала: «Ну, блатяга, прощайся со своей никчёмной жизнью!» И Сёмин понял, уловил шестым чувством, что сейчас опустится на его голову кайло. А в руках ничего нет, чтобы защититься. И упал на колени, зайцем заверещал, стал молить Галину Ивановну пощадить его.

Галина Ивановна выскочила на бровку канавы и долго сидела там, плача, по-детски растирая по щекам слёзы. Жора стоял в канаве, не смея подойти и успокоить. И вот сейчас снова глаза Галины Ивановны стали похожи на рысьи, с теми же зелёными огоньками в зрачках. Сёмин сник, упал на кровать и глухо застонал:

— Эх, никто, ничего не знает. Ведь у меня сегодня день рождения. Двадцать пять стукнуло.

Все опешили. Рябов, смывая остатки мыла, протянул: «М-дааа...»

Суматохин, сощурив глаза, долго смотрел на Сёмина. Потом достал свой рюкзак, порылся в нём и вытащил оттуда стограммовый сухарь. Перекинул с ладони на ладонь, протянул Сёмину.

— Дарю. Сегодня твой праздник. Берёг на крайний случай. Считаю, он подошёл.

Сёмин сглотнул слюну, схватил сухарь, затем обвёл всех взглядом. Глаза его потеплели.

— Подарок, достойный короля. А ты, Евгений Павлович, говорил, что все люди враги, — улыбнулся Крайнов.

Сёмина чуть лихорадило. Такого он не ожидал от Василия: считал, что тот дальше лекций о морали и долге не пойдёт. Евгений заметался по избе, воровато бросая взгляды на парней, на Галину Ивановну, зашептал:

— Васька, ты прости. Такого я не забуду. Это же здорово, ребята! — И вдруг, обмякнув, сказал: — Нет, это не крайний случай, — продолжал он сквозь тугой ком, подступивший к горлу. — Разрешите, я сберегу хлеб — на самый крайний. А? Ей-богу, сберегу. Люди, поверьте!

— Твой подарок, ты им и распоряжайся. Но я считаю, что день рождения и есть тот самый случай, — ответил за всех Рябов и сел к столу. — Садись, ребята. Женя будет резать праздничный пирог. Чай на стол! — деловито распоряжался он.

Геологоразведчики с шумом заняли места за столом. В глазах — радостный блеск. Сёмин тщательно

разделил сухарь и с шутивым поклоном начал обнести гостей.

— Не побрезгуйте пирогом, дорогие гости. Пекли с Васей, старались. Какой уж вышел.

— С днём ангела тебя, Женя, расти большой и умный, — поднял кружку с чаем Рябов.

Чай пили долго, откусывая крошечные кусочки хлеба, словно сахар вприкуску. Ещё сильнее раздражили желудки.

— Эх-ма! Жистя! Наш-то, Мельник, поди, милуется со своей бабой. Пропустил, видно, рюмашку коньячку с лимончиком и ждёт, когда наступит Новый год, а тут — хоть сдохни!..

— Ты, Холмик, не тронь начальника. Не такой он, — буркнул Горюнов, продолжая ковыряться в басах зашарпанного баяна. — Хотел сыграть для тебя, Женя, да вот заело. Погоди, сыграю. Понял, Холмов? Мельников, он — человек, а ты, мусор, на свой аршин людей меряешь. Он музыку любит. Понял, му-зы-ку, — по слогам произнёс баянист. — Ну, Женя, для тебя. Слушай и постарайся полюбить музыку.

Горюнов растянул баян, и ударились в стены напевные звуки полонеза Огинского. Все притихли, словно слушали себя, а не баян. Почему полонез Огинского особенно ложится на душу в минуты, когда людям тяжело?

...Снег... Снег... Белый, беспокойный, а за этим снегом шёл на выручку оказавшимся в снежной ловушке маленький отряд Мельникова. Они спешили. В памяти Игоря Семёновича то и дело всплывал отрывочный разговор с Галиной Ивановной: ...«росомаха»... «продукты»... «голод»... «жила»... По этим обрывкам легко установили, что случилось в лагере зимовщиков. На вертолёт никакой надежды. Собрали совещание.

— Я думаю, надо везти продукты выючно, — сразу начал Мельников. — Кто со мной? Дело доброй воли: Новый год.

Мельников повернулся к главному геологу.

— Нет, — отрицательно замотал тот головой. — С меня хватит. Остаться без праздника? Да и не люди там — бичи, канавщики. Пьяницы.

— Ну что ж, товарищ Зубов, у вас была последняя возможность завоевать авторитет у рабочих. Постарайтесь к моему возвращению подыскать себе работу. Оформлю «по собственному желанию». Ещё кто?

Славка вскинул руку.

— Я! — звонко выкрикнул он.

Мельников не зря пригласил к себе в кабинет старого кладовщика Петрована Сотникова. Ему под шестьдесят. Он легко может отказаться, сославшись на годы. Но Петрован — охотник, без него, пожалуй, не найти зимовщиков; не раз ходил к разведчикам.

— Ну и я, — тяжело поднялся Петрован. — Мне праздник провести в тайге — одна радость. А старуха не обидится. Да и ребята там хорошие. Зря вы на них так, Любомир Сергеевич. Бичи! А эти бичи до двухсот процентов дают, нам с вами славу добывают. Эх, вы!.. Повкалывали бы с ними вместе — такое не сказали! Все люди — человеки. Иду я, Игорь Семёныч...

Сотников вёл караван. На каждого караванщика — конь с выюком. Шли по льду Арму. Речка курилась полыньями, заваленная снегом до берегов. Пробивая тропу, люди часто менялись местами. Двести вёрст. Мало хоженных, не мереных. На четвёртый день свернули в протоку Арму — до лагеря осталось полдня ходу. Но вот снег...

Впереди шёл Мельников. Его конь Кролик отказался идти первым. Пришлось Игорю Семёновичу самому пробивать тропу. Вдруг лёд осел, Кролик шарахнулся назад, а Игорь Семёнович ухнул в ледяную воду. Вынырнул, схватился руками за острую кромку льда. Течением его снова едва не сбило, но подскокил Петрован, подал руку и выдернул Мельникова на снег. С одежды хлынули потоки воды.

— Костёр! Скорее! Славка, руби сушину! — закричал Петрован.

Но Славка и сам спешил вытащить из выюка топор, утопая по пояс в снегу, побежал к сухостойной кедрине. Операция «Росомаха» продолжалась.

— Слепошарый, не смотришь под ноги. Всё думки, — ругался Петрован, спешно снимая с выюка спальный мешок. — Раздевайся, лезь в мешок! Сейчас огня дадим. Теперь до ночи провозимся.

Жарко запыхал костёр. Повалил пар от мокрой одежды.

— Выпей для сугреву сто граммов. Лекарство проверенное, кровя быстрее забегают. Не простудишься.

После длительной стоянки отряд тронулся в путь.

— Далеко ли ещё? — спросил Славка.

— Этак вёрст десять. Главное — перевал осилить.

Речушка раздвоилась, затем разбилась на несколько рукавов, по одному из них пошли к перевалу. В ущелье снег был ещё глубже. Каждый метр приходилось брать с боем, кони вязли в снегу, зависали на валежинах, бились в чашах. А когда солнце пошло к закату, пройденной оказалась только половина перевала. Остальная часть его терялась за хлопьями снега. Начал поддувать шальной ветерок.

— Не выбраться, — засомневался Мельников.

— Выйдем. Давай пустим вперёд Гордую.

Кобылица Гордая, всхрапывая, пошла вперёд, распахивая сильной грудью снег. Она словно знала, что люди идут на последнем взводе, что скоро силы оставят их. Она знала и другое: до лагеря недалеко. Часто останавливалась, поворачивала голову назад и ржала, словно звала за собой людей и лошадей.

Ветер начал крепчать и через несколько минут ухнул и обрушился на тайгу, взвихрил снег, стало темно от белой мглы. Но они шли, почти ползли на крутой подъём. Кони скользили, срывались, брали крутизну и потом подолгу лежали в снегу. И вот под скалой Кролик упал, и поднять его не было никаких сил.

— Сымайте выюк, — сквозь ветер прокричал Петрован. — Продукты спрячем под камнями. В ящиках никто не возьмёт. Иначе погибнет лошадь.

С перевала слышался волчий вой.

— Пустое, повоюют и уйдут, — махнул рукой Сотников на тревожный знак Мельникова. — Людей они боятся.

Здесь, под скалой, за ветром отдохнули. Пустили освобождённого от поклажи Кролика замыкающим.

Последние метры были самыми трудными. Ветер почти валил людей с ног. Кони храпели, скатывались вниз, но снова продолжали рваться вперёд. Наконец перевал взят. Они почти у неба. Среди туч и ветра.

Вой волков раздался совсем близко. Кролик с храпом проскочил мимо людей и пристроился в хвост лошадям. Стая смелела.

— Не бойтесь. Не тронут. В случае чего — встретим. Достань, Игорь Семёныч, карабин. Может пригодиться.

Начали спуск. Он был не легче подъёма. Дрожали от усталости ноги. Кони сползали на крупах, ранили себя об острые камни, падали, с трудом поднимались и, скатываясь, снова ползли.

Стало темно. Волки, разделившись на две стаи, с воем трусили с боков каравана. Кони храпели от страха. Спуск кончился. Вышли на полузанесённую тропу, которую проложили Рябов с Холмовым. Здесь лошади вышли из повиновения и, собрав остатки сил, рванули рысью.

— Стреляйте! Обойдут нас, порежут коней! — закричал Петрован, срывая с плеч дробовик.

Зачастил карабин, ухнуло ружьё, хлопнула Славкина ракетница, и вихрь огня, разрезая снег, осветил всё вокруг. Но звери не отставали. Они, пурхаясь в снегу, спешили обойти людей, чтобы встать на тропу и догнать коней.

Выстрелы, свет ракет, вой ветра и волков заполнили ночь. Люди, кони, звери бежали наперегонки...

...Рябов вышел из зимовья. Он это делал через каждые десять минут. Выходил потому, что верил: придут за ними. Вдруг услышал за ветром и снегом частые выстрелы. Вбежал в зимовьё и закричал:

— Стреляют! Стреляют! Подымайтесь! Тревога!

Все бросились к фуфайкам, шапкам, кто-то не мог найти свою, надел чужую, а она едва держалась на голове. Сёмин не находил валенка, Галина Ивановна — варежек. Кто в чём выскочили на мороз и

ветер. Бегом, сколько хватало сил, устремились тропой. Вперёд вырвался Рябов, молотя снег большими ногами. Навстречу ему из тьмы выскочил Кролик, едва не подмял Рябова. Рябов упал, пропустил Кролика. Второй мчалась Гордая. Рябов повис на узде. Лошадь остановилась.

А впереди гремели выстрелы. Были видны мутные вспышки ракет.

Волки начали отставать. Рябов раз за разом стрелял из ружья. Его услышали и перестали палить.

Над тайгой ревел ветер, метался снег. До Нового года оставался один час. Первым к зимовью вышел Петрован. Он тяжело дышал, хватал ртом воздух. К нему потянулись, чтобы помочь, поддержать, но он отмахнулся и прохрипел:

— Там Игорь Семёныч, Славка. Помогите им!

— Славка! — истошно закричала Галина и бросилась по тропе. Падала, вставала, снова бежала, не переставая кричать. Её гнал страх за Славку, бредущего, как ей казалось, прямо на волков.

Славка сидел в снегу, безвольно опустив руки.

— Славка! Милый! — Галина упала на снег и начала трясти его за плечи.

— Я, я, Галя. Сейчас встану. Устал, спать хочу. — Он с трудом поднял ракетницу и выпустил последнюю ракету во взбаламученное метелью небо. Мертвенный свет посеребрил метущиеся снежинки, утонул в них...

...Из приёмника раздался бой часов Спасской башни: «С Новым годом, друзья!» — объявил диктор.

— С Новым годом! — сказал Мельников и поднял кружку со спиртом. Залпом выпил, пожевал кусок жареного мяса, попытался сказать ещё что-то, но лишь невнятно пробормотал, заваливаясь набок:

— Спать!.. С Новым годом!.. Спать, — и, уже во сне, улыбнулся.

— Спать, — еле ворочая языком от усталости и выпитого спирта, пробормотал Славка и побрёл к раскладушке.

Сёмин пригубил свою норму спирта, жадно проглотил кусок мяса, бутерброд, бросил в рот две ложки рыбных консервов и, уронив большую голову на руки, задумался...

Дед Петрован, похохатывая, рассказывал, как тонул Игорь Семёныч, как Славка полз на перевал, пугал волков из ракетницы, зовя на помощь Галину. Старый таёжник, не хмелея, тянул чарку за чаркой, раскраснелся и остро поглядывал вокруг:

— Дело привычное, всю жизнь в этих горах. От пустого нутра я слабею, а когда оно полное, то с чего слабеть-то?

— Миша, сыграй нам полонез! — попросил Крайнов.

— Нет, сегодня я вам сыграю зимний вальс. Для вас сочинил.

Михаил Горюнов чуть тронул мехи баяна. Послышались какие-то шорохи, стоны. Это шёл снег, плавный, тихий, как сама музыка. Но вот звуки растут, ширятся. Это уже тайга, с воем ветра, криками людей. Все притихли, слушая себя, стук своего сердца.

— Галина Ивановна, станцую, — пригласил Крайнов. — Хватит вам Славку облизывать, завидки берут.

На него зашикали, а Сёмин хмуро уронил:

— Учись любить музыку. Слушай, это она о нас стонет.

Михаил резко оборвал мелодию.

— Фу ты, ястри ты в нос, уважил. Ить, такой музыки в тайге вороха, только её надо услышать, — восхитился Петрован. — Уважил...

Над тайгой плыла снежная и ветреная ночь, через её перевалы широко шагал Новый год. А снег всё так же валил. Снег... Снег... Снег...

РОСЫ

Машина петляла по таёжной трассе. Шла через ночь, горы. Брела через речки. Выползала на перевалы — к звёздам.

В дороге всегда хорошо думается. Возвращается прошлое. Мечтается о будущем. Мне тогда вспомнился дед Исай. Давно я его не видел. Это добрый и мудрый старик. Вот приеду, обязательно забегу к нему. Сейчас я его вопросов не боюсь. А вот в молодости, бывало, завижу деда Исая — и шасть в сторону. Боялся я его вопросов, на которые редко отвечал правильно. А если не отвечал, то дед Исай бросал: «Ча ты понимать, шанок, катись отселева. Ни мудрости в тебе, ни ума. Поживёшь с моё, может быть, и станешь человеком. А счас — шанок, знамо дело — шанок». Уходил прочь. Хотя бы такой вопрос: «А что самое чистое на земле? А? Ответствуй!» Я задумался тогда, хотя и понятия не имел, что может быть самым чистым на земле. Любовь, дружба, небо, земля... Не знал я, что есть самое чистое на земле. «Не знаешь? Х-ха! Шанок! Так слухай, самое чистое на земле — это росы, росы, сынок! Их нам Бог ночами шлёт на землю, чтобы земля утром умылась. Через те росы и люди научились умываться по утрам, чтобы днём добро и мудрость людскую лучше видеть. Неумытые глаза худо видят. Внял? Шанок!»

Вопросы деда Исая были похожи на загадки.

«А что есть земля? Ха-ха-ха! Не знаешь, шанок? Да откель тебе знать, не дорос до энтото познания. Так внемли: земля — энто наш корабель, а мы её кормчие, как будем обруливать, так она и будет

бежать по небеси. Ха-ха! А кто самый добрый на земле?»

На этот вопрос я отвечал смело. «Человек — вот кто!»

«Знамо, человек. Но только какой? Ребёнок — самый добрый на земле человек. Глаза добрые, думы добрые, знать, и душа добрая. Во как! В нём лежит вся истина истин. Внял? Я всё приметил, всё познал. А что есть реки? Тоже не знаешь? Реки, сынок, — это кровя земные. Без них всему сущему на земле — погибель. Поелику мы будем их хранить, постольку и жить. Без кровей человек — не человек, без рек земля — не земля».

Дед Исай, довольный собой, похохатывая, шёл дальше, чтобы ещё кому-то задать «вопросик», как он говорил, или посидеть на берегу реки, подметить что-нибудь мудрое, нужное, чем жива земля.

Однажды он задал мне вопрос о волках, как, мол, ты понимаешь, злой ли это зверь?

«Конечно, злой. Он съел Красную Шапочку».

«Это кто же такая будет?» — притворился незнающим дед Исай.

Я рассказал деду Исая сказку о Красной Шапочке. Он, склонив голову, задумался. «Да-а-а-а! Вот ить как бывает, съел — и баста. Нет, сынок, то всё байки. Не верь. Дитя дажить самая злющая собака не трогает. Старый пёс щенка не укусит. Малых все звери любят. У меня на то есть историйка. Послухай. Дело-то было так, семи мне не стукнуло, забрёл я в тайгу и заблудился. Навстречу волчица, шасть ко мне! Я бежать. Он в два прыжка догнал меня и пымал за рубашонку. Я заревел, стал просить волка, чтобыть он меня отпустил. Ревел: «Не ешь меня! Не ешь!» — «Для ча я буду тебя есть-то? — заговорил он человеческим голосом. — Ты ить ребёнок. Детишек у нас в роду никто не едал». — «Но люди сказывают, что ты съел Красную Шапочку?» — «Врут люди. Не ел я Красную Шапочку. Не трогал я махонькую девочку. Она ведь была добренькой, к бабушке бежала. Больших людей мы порой съедаем, потому как они у нас, зверей, всё отбирают, голодом оставляют. Житья нету. Пошли к нам в логово, есть, поди, хочешь. Напьёшься волчьего молока, поешь мяса и станешь ещё добрей». — «Пошли», — смело согласился я. Пришли мы в логово волков. Обрадовались волчата, затеяли со мной игру в салки. Но волчица рыкнула на них и сказала:

«Поначалу надеть накормить, а уж потом играть. Пей из меня молоко!»

Я напился волчьего молока. Волк и скажи мне: «Оставайся у нас, человек, будь нам защитником. Оставайся, ваш мир стал злым и тесным. У нас всё чище. Живём по древним законам, и никто никого не обманывает. Люди убивают нас и хотят, чтобыть мы были к ним добры. Не трогали овец, коров. Мы

на зло отвечаем злом. Живи у нас, и ты поймёшь всю тайну жития. Нас и людей поймёшь. Остаёшься?»

«Но вы убиваете козочек, зайчишек. Разве это честно?»

«Очень честно. На то и волк живёт в лесу, чтобыть заяц не дремал. Вы тоже убиваете зверей, скот и мясо едите. Но мы вас не обвиняем. Зайцы растут для нас. Мы никогда не убиваем всех косуль. Ведь нам и завтра надо будет есть. Мы всё это берем в честном поединке. Здорового изюбра нам не догнать. Больной — помеха в тайге. Другие могут от него заболеть. Здоровый даст здоровое племя. Больной — хилое... Оставайся».

«Нет, волк, я человек, и буду жить среди людей. У вас своя стая, у людей своя».

«Будет так. Я провожу тебя к вашим людям. Но ты постарайся остаться на всю жизнь добрым ребёнком. Если не сможешь такое сделать, то приходи к нам, так и быть, мы тебя съедим. Зачем плохому человеку толкаться на земле».

«Но, Мудрый Волк, как я узнаю, плох я или хорош?»

«Ты прав, узнать себя, каков ты, трудно. Может быть, люди тебе подскажут. А злым сказкам не верь. Красную Шапочку мы не убивали».

«Прощай, маленький человек! Приходи к нам играть!» — кричали мне следом волчата.

— Вот и всё, — сказал дед, — теперича думай над энтим, а мне бежать надо. Недосуг. Прощевай нето...

Так и сочинил дед сказку о мудром волке, оставил меня одного на берегу думать над рассказанным.

— Ты, корреспондент, не спишь? — спросил меня шофёр Пронин.

— Нет, думаю. Помнишь сказку, как волк съел Красную Шапочку? Так не съел он её. Съели Красную Шапочку мы с тобой.

— Ладно сказано. Добро мы съели. Верно. Вы ездили в партию геологов, чтобы во всём разобраться и наказать виновного. Воскресить Красную Шапочку. Разобрались, что повариха кормила рабочих дохлятиной, хорошее же мясо с любовниками съедала. Что ей будет?

— Не знаю. Напишу фельетон, может быть, что и будет, накажут.

— Никто её не накажет. Её будут воспитывать, даже уговаривать, чтобы не бросала этой работы. Начальнику нашему припишут, что плохо поставлена воспитательная работа в геологической партии. На этом и сядем.

— Но я буду требовать, чтобы её наказали!

— Ха, требовать. Вам скажут: идите вместо этой поварихи в нашу партию. Вы ради этого неделю мотались по тайге, мёрзли? Всё напрасно.

— Я не пойму твой настрой, Вася.

— А чего тут понимать. Начальник — добряк, парторг ещё добрее. С этого и началось.

— Да, добрым надо быть, но нельзя быть добреньким! Убив зло, мы сеём добро!

— На словах так, а вот на деле — всё иначе. На нас тоже клеветают, что мы и пьяницы, и шаромыги. Не без того. Есть воры и подлецы среди нас. Но всех под одну гребёнку — извиняюсь. Ладно, поспите.

Замолчали. Свет фар метался на ухабах, скользил по тайге. Вот лучи фар вырвали огромный завал леса. Здесь проводили трассу геологи. Обычное дело. Все у нас так проводят таёжные трассы: по целику, не вырубая деревья.

— Хозяина нет этой земле. Тысячи кубов леса лежат на обочине, а наши геологи сидят без дров. На уровне райкома решался этот вопрос. Смехота! Двухтрёх пильщиков, пяток машин — и дровами можно завалить всё Кавалерово. Вот вам и Красная Шапочка. А мы заседаем, пишем протоколы.

— Почему нет? Ты хозяин.

— Я хозяин? Ха-ха! В душе-то я хозяин, а как дела коснётся, из этого хозяина весь дух выходит, как воздух из проколотой камеры. Я бы ту повариху...

— Что бы ты с ней сделал?

— Заголил бы юбочку и выпорол на людях. Другой бы раз подумала, что и как. Эх вы, корреспонденты. Мало вы пишете об этом.

— Пишем, даже очень много пишем. На эту писанину ушло бумаги в сто раз больше, чем в этих завалах леса. Но толку пока мало.

— А будет толк-то?

— Обязательно будет.

«Газик» сделал крутой поворот. И тут почти под колёса прыгнул с обрыва изюбр. Пронин резко затормозил и упёрся бампером в ноги зверю. Зверь, ослеплённый ярким светом, не шелохнулся. Пронин выключил свет, открыл дверцу кабины и закричал:

— А ну шуруй отсюда! Брысь с дороги, шалопай! Носит тебя!

Изюбр прыгнул под кручу, прогремел чащей и растаял в глухом распадке. Я молчал. Пронин завёл мотор. Газик побежал дальше. Тёплая ночь по-прежнему нежилась среди сопок.

— Ну что молчишь, корреспондент? Ругай или хвали. Ведь вы любите из мухи слона лепить. Напиши, как я самоотверженно остановил машину, чуть не сорвался в обрыв, но зверя не задавил. Пиши, пиши, какой я хороший, добрый, душевный...

— А зачем об этом писать? Так должен делать каждый. Просто и человечно.

— Хе, просто и человечно. Я имел право сбить зверя. Вершок в сторону — и мы кувыркались бы под обрыв. Всяк бы меня оправдал. Но дело не в этом. Не в этом дело, корреспондент. Я хочу быть человеком. Человеком без грязи и мрази. Сиди на твоём месте

мой начальник, он бы мне сотню матюжин загнул, и всё за то, что я упустил зверя. Я однажды на трассе объехал ослеплённую косулю, так мой начальничек неделю грыз меня. Выходит, дело не в образованности, а в душевности? Так?

— Ты хочешь мне преподать урок всеобщей любви, философию души пояснить? Без тебя это на сто рядов уже сделано.

— А вот и хочу. Хочу! Может, я в этих философиях ни черта не разбираюсь, но в душевности — да! В душевности, корреспондент! В ней наша сила. В ней наша Красная Шапочка!

— Не кричи, оглушишь. Говори, что у тебя там накопилось?

— Много, корреспондент. Очень много! Раньше, когда я гонял тяжеловесы, там всё было проще, а после аварии пересел на эту «дуньку», вожу начальство, много накипело. Отмыть бы чем-то, а вот чем — не знаю. Дошёл я своей бестолковой, что человек заглавен не в должности, а в душевности.

— Не знал ли ты деда Исай?

— Как не знал, даже очень знал. В чём есть сила человека? Это его вопрос. В душевности. Только в ней. В ту пору я его вопросы принимал как иронию, а сейчас принял как должное. Хороший был человек. Побольше бы таких на наш корабль.

— Ну, тогда выкладывай. Дед Исай наш учитель. Только почему он тебе не рассказал про Мудрого Волка?

— Не успел, наверное, а может, я ему не показался. Ты вот стал корреспондентом, а был, как я, шофёром. Нужны корреспонденты и шофёры, но нужны ли на этой земле сволочи?

— А ты вспомни деда Исай, что он говорил, что, мол, любой человек, даже творя зло, считает себя правым, подлец остаётся подлецом, дурак — дураком. Но до тех пор, пока душой не познает, что он не тот, за кого всё время себя выдавал. А если и познает душой, то в этом никому не признается. Останется самим собой. Ведь только в книгах подонок вдруг делается человеком. Перевоспитали. Буза всё это, Вася. Буза. Психологию подлеца тысячи воспитателей не выправят. Читал я твои статьи о защите зверей, слеза прошибает. Так и видится во всём дед Исай. Но что же дальше? Ведь всё остаётся, как было.

— Если после моей статьи хоть пять человек начнут думать, то знай, что я свой долг выполнил.

Пронин приумолк, задумался. Утробно урчал мотор «газика» на подъёмах, затем на спусках его рык переходил почти на шёпот, галька шуршала под колёсами.

— Люблю ездить ночью, — вздохнул Пронин. — Будто плывёшь среди звёзд, топчешь их колёсами, туманы будишь.

— Стихи пишешь, наверное?

— Нет, не пишу. Просто от красоты таёжной такие слова вырываются. Представь, что на нас сейчас косит свои глазищи тигр, изюбр стоит за кустом — и знают, что мимо них едут друзья. Это же здорово! Можем же мы быть им друзьями? А?

— Должны быть, но...

— Вот это-то «но» и мешает нам жить хорошо. Звери. Слово вроде резкое, злое. Но разве может быть косуля зверем? Что она нам сделала зверского? А? Ест траву, живёт в страхе. Волки — звери, но звери ли? Ведь их такими сделала природа. Они нужны на Земле, если их сделала природа. М-да...

Снова молчим, каждый занят своими мыслями.

— Ты помнишь заместителя начальника милиции Булгакова? — спросил меня Пронин.

— Как не помнить? Он ещё у меня права отбирал, потом отдал. Хороший человек. Выгнали зря.

— Сволочь он, а не человек. Хоть ты и корреспондент, хоть ты и нашей жилки парень, но не понял ты Булгакова. Подлюга он.

— Вот видишь, как выходит. Для меня он был человеком, ты его называешь сволочью. С чего бы это? Получается, что и нет на земле настоящих людей?

— Может быть, так и получается. Помнишь, в пятьдесят восьмом был в тайге настище?

Памятный был год. Циклон, обрушившись на тайгу, завалил её по уши снегом. Весной случился насть, который поверг всех в беспокойство. Были выставлены посты из милиции, егерей...

— Вызвал меня начальник и приказал в полночь ехать с Булгаковым. Наше дело шоферское: отъезд, подъезд, выезд. Поехали. Булгаков рядом со мной, сзади два охотника с собаками. На постах Булгаков давал наставления, и мы катили дальше. Свернули в Синанчу. Всё молча, тихо. Только собаки хакали и изредка рычали друг на друга. «Вороти влево, стой!» — приказал Булгаков. — Постоим, осмотримся и начнём». — «Не влипнуть ба», — трусил Никола Дубов. «С нами крестная сила», — нервно похохатывал Булгаков. Светало. Охотники начали прилаживать лыжи. А скоро пустили и собак. Те сразу рванули с места и ушли в сопку.

И вот раздался лай, звонкий, торжествующий. Закричала косуля. Следом вторая. И кричали они как люди, когда их кто-то душит. Смерть шальная, смерть негаданная. Звали на помощь, но кого? Нас, что ли? Крики оборвались визгом, и стало тихо. Мне стало страшно. Страшно оттого, что косули оказались в бессилии против зла. Ведь так бывает и с людьми. Так было со мной.

Пронин помолчал и добавил:

— Парнем я был. Избили меня трое дружков. Я в милицию, а мне в ответ: «Найди свидетелей, тогда мы бандюг припрём к стенке!» Метался я зверем от

своего бессилия. Потом начал ловить тех парней и избивать по одному. Избивал от души. Потом их поймали на одном деле. Нашлись свидетели. И суд. По два года оттяпали. Бессилие — дело страшное. Чуешь душой, что ты прав, а доказать не можешь. Помнишь вопрос деда Исая: «А что есть неправота? Это болезнь душевная, от которой волком быть хочется». Вот и тогда, что я мог сделать, кроме как выматериться. Но меня оборвал Булгаков: «Заткнись! Что, послесарить захотелось? Это я быстро сделаю!» Тут же приказал: «Дубов, и ты, Пронин, соберите собак — и в сопки. Две косули на четверых — пустяк. Марш!..» Давай, корреспондент, постоим у ключа, покурим. Нудится что-то душа.

Мы остановили машину на берегу бурливого Имана и присели. Я видел при вспышках папиросы смуглое лицо Пронина. Оно было злым и задумчивым.

— Вы, корреспонденты, вроде уборщиков, — рассудил Пронин, — грязь на земле выметаете. Это хорошо. Кому-то надо и в грязи копаться. М-да...

Через версту пустили мы собак. Уже совсем рассветло. Проснулись дятлы и пичуги, гомон в тайге. Весна для всех в радость. А вот копытным зверям — смерть. Собаки снова рванулись в сопки. Лай, визг, рёв и стон. Прямо на нас летел изюбр. Влетел в распадок и зарылся по шею в снег. Булгаков выстрелом в упор убил его. Жутко было смотреть на такое. Таким же манером спустили с сопки к нам собаки и изюбриху. Она почти добежала до нас, упала в ноги, заревела, будто просила защиты. Ноги, грудь её были залиты кровью. Собаки насели на изюбриху, рвут. Никола выстрелил, но промахнулся. А изюбриха ползла по снегу и тыкалась мордой в мои ноги. Тыкается и кричит. А у меня в руках только палка. Я закричал, начал молотить палкой собак. Никола зарорал на меня и вторым выстрелом оборвал муки зверя. Ещё и похвалился: «Ладно мы сегодня мяска навалили!» А какое там мясо. Худоба, а не мясо.

Потом взошло солнце, потом мы ехали домой, потом я был будто во хмелю, троились люди, двоилась дорога. С трудом развёз охотников и мясо, свой пай выбросил во дворе Булгакова. Он на это только усмехнулся и смолчал. Котомку с мясом занёс домой. Дома я рассказал всё жене, она обругала меня дураком, мол, все жрут, а чего же нам не поесть дармового мяса.

Мы посидели ещё несколько минут, послушали ровный гул тайги, рокот речки. Пронин поднялся и тихо сказал:

— Поехали.

Я задумался над рассказами Пронина. Сколько в нём доброты человеческой! А за эту доброту надо платить душевной болью. Ясно, что он пытается заглянуть в чьи-то души, но пока ещё не может осмыс-

лить, для чего. Для чего он всё это делает? Что ему, больше других надо? Или он хочет сделать переворот в душах людских?

— Знаешь, корреспондент, ведь я многое знаю о тебе, ты весь на виду. Человек ты нашенский, потому и рассказываю как своему, без утайки. Душу свою наизнанку выворачиваю. Плачусь, как бывшему шофёру. Рады за тебя наши ребята, надеются, при случае заступишься. Но если один, если без подпоры, то и ты только свою душу намнёшь, а толку не будет.

Машина поползла на подъём. Капот торчал перед глазами. Выползла и покатила вниз. Пронин долго молчал. Дымил папироской. Заговорил:

— Послали меня в прошлом году отвезти в воинскую часть комсомолят. Встреча там у них должна была быть с моряками. Повёз. Время наста. Это ещё до твоей статьи о настe. Машина ходко бежала по холоду. Трасса теперь в Ольгу хорошая. Гоню свою «дуньку» в сторону рассвета. Шибко гоню. Выехали мы к Серафимовским полям, дорога ровная, я и поджал под девяносто. Уже и солнце выползло из-за сопки. Глянул влево, а там косуля пурхалась на снегу. К ней на всём маху скакали два волка. Тормознул так, что «газик» мой чуть не развернуло назад. Хорошо, снегу было больше метра. Упёрся бампером в бровку. Косуля — к машине. Припала боком к тёплому радиатору и стоит. За сотню шагов от нас встали и волки. Смотрят на машину. Я сказал: «Пришла к нам за защитой. Давайте, ребята, отвезём косульку к морю, там наста нет». Мои ребята один за другим высочили из машины. К косуле. Она тычется мордашкой в их тёплые руки, фыркает, но не уходит. Понимает, что ей уходить не резон, волки сзади. Доверилась. Глаза у неё большущие, добрые. Я повернулся к волкам. Схватил монтировку, выбежал на бровку из снега и закричал на волков: гады, мол, уходите! Цыц! И разное. Оглянулся назад, потому что услышал тупой удар. Виталий бил косулю ключом гаечным по голове. Косуля закричала тонко и протяжно. Вырвалась — и в снег. Виталька вильнул бабьим задом — и за ней. Косуля влетела в снег. Виталька и Борька схватили её за задние ноги и сдёрнули на дорогу. Я спрыгнул вниз и разбросал ребят, как кутят. Но было уже поздно спасать зверька. Косуля начала оседать, ловить ртом воздух, забила и упала на бок. Волки постояли ещё минуту у леска и затрусили по насту в сопки.

Окружили меня парни и вот-вот дадут мялку. Орут, руками машут, но я спокойно им сказал: «Тронете, вас за косулей всех и отправлю!» Притихли. Стоим и молчим. Первым заговорил Борька-очкарик: «Хватит, ребята, из-за паршивой косули дружбу терять. Погорячились, и ладно. Кто не ошибается, кто не шалит». — «Верно, — согласился Николай. — Не убили бы мы, убили бы волки. Не забирать же её домой, одна морока. Мало того, так мы

ещё можем приписать тебе же браконьерство, что, мол, нарочно задавил. Нас трое, а ты один». — «Я первый об этом скажу, — зло просипел Виталька. — И даже за удар могу написать в милицию».

— Веришь, товарищ корреспондент, — вдруг перешёл на официальный тон Пронин, — задохнулся я от обиды, в глазах туман, в голове звон, готов бы всех их разорвать на части. Но у меня была уже за плечами наука: один в поле не воин. Всё припишут мне, и баста. Им вера. Бросили они убитую косулю в багажник, я сел за руль и погнал дальше. Но так гнал, что мои перевёртыши не раз делались белее снега. Дважды чуть не сбросил под обрыв. Потом немного отошёл и повёл машину тише. Вечером напился. Не поехал домой в ночь, хотя мне и приказывал Виталька. Косулю они с моряками съели. Приехали назад, все думали, что я пойду куда-то жаловаться, но я не пошёл. Хватит. Жизнь — это наука. Ославят, в душу наплюют. Затаился, как крот в норе. Заставил сердце замолчать. Сделал его слепым.

Пронин ещё ниже склонился к рулю, будто бодал большой головой кривую дорогу. На лучи фар выскочил заяц и запетлял, заметался, чтобы вырваться из полосы ослепительного света. Пронин на секунду выключил свет, косой прыгнул в сторону.

— Петляем по жизни, мечемся, чего-то боимся, а почему, а зачем? Нету деда Исаея. Он бы ответил, почему и зачем. Мудрый был старик. Может, ты ответишь, корреспондент? Почему люди делятся на волков и зайцев?

— Смотря как всё это понимать. По философии деда Исаея — волки мудрее людей, добрее людей.

— Будем понимать так, как пишут о волках. Заяц вот петлял по дороге, трусил прыгнуть в сторону, потому что там была тьма, её ведь он боялся. Незвестности боялся. Подвоха и подлости.

— Эх, Вася, в одном ты не прав, что хочешь в одиночку мир перевернуть. Заяц и человек. Есть среди нас зайцы, много их. Столько же и волков. И ты хочешь враз тех и других сделать иными? Не сделаешь. В таких делах одних эмоций мало. Нужны доказательства. Вот я верю тебе, что ту косулю убили ребята, а не ты. Вот по сегодняшней ночи верю. Ну и что? Что с того, что я верю. Другие: и зайцы, и волки, и люди — могут тебе не верить, что ты такой, а не иной. Ты не трус, но ты прёшь в своей доброте прямо, ломишься в закрытую дверь. Тебя избили, ты мстил в одиночку.

— В одиночку, говоришь? А разве ты не со мной?

— С тобой.

— Значит, нас двое. Но в сказанном ты прав. Вот так, в одиночку. Я в тот же год отхватил пятнадцать суток за мордобой. Могли бы дать больше, но бил за дело. Скостили.

— Это как же произошло?

— Очень даже просто. Не успел я от болезни отойти, как нарвался на новую. Душевности одного подлеца обучать вздумал. Помнишь Кудрявинцева, ну того, что был в плену, чуть не сгорел в топках Бухенвальда.

— Мой брат Федя там сгорел. Ну, продолжай.

— Так вот я его слушал в Доме культуры, и волосы у меня дыбом вставали. Бабы плакали. Ужас, что творилось в клубе.

— Слушал и я. Сильно рассказывал. До утра после его воспоминаний не мог уснуть.

— Так-то. Плакал и я. Но теперь скажи, откуда у такого человека жестокость? Вот он рассказывал, как рвали его собаки, как они загнали его на дерево. В пятый побег он, спасаясь от фашистов, забежал к немецкому крестьянину в сарай. Тот его пожалел, подсказал, как бежать дальше. Значит, у того немца была в сердце доброта. Не вытравили из него человечность. Даже кусок хлеба дал. Может, через тот кусок хлеба и сумел Кудрявинцев убежать?

— Не понимаю, о чём ты?

— Поймёшь. — Пронин снова закурил. — Хотел бы я знать, что сказал бы мой Сашка, узнай, что я такое подлое дело сотворил? Но Сашка у меня парень умный, те пятнадцать суток не только мне простил, а даже сказал, что, случись с ним такое, он бы убил Кудрявинцева, потому что не может добро жить рядом со злом.

— Может, — и даже запросто, Вася. Чаше люди творят зло, не ведая о том, что они творят.

— Пусть так. Но я доскажу. Комсомолятам я прощаю. Они по недомыслию убили косулю, а вот Кудрявинцеву — никогда. Тот прошёл всё: и фронт, и плен, и муки... Э, что говорить, запутался я, корреспондент...

— Не волнуйся. Расскажи, как дело было.

— Так и было. Оказался я в деревне. Ночевал у дружка. С вечера посидели и пораньше легли спать, чтобы мне поутру двинуть дальше. Чуть свет я вышел к машине, чтобы разогреть мотор. Услышал лай. А потом увидел, как загнанный козёл влетел во двор тому Кудрявинцеву, с ходу на поленницу дров — и отбивается копытами от нападающих псов. Не успел я сообразить, что к чему, из дома в подштанниках выскочил Кудрявинцев. Я ещё подумал: человек отгонит псов, закроет козла в сарай и спасёт. Иду не спеша ему на помощь. Но Кудрявинцев подскочил к козлу, сдёрнул его с поленницы и тут же всадил ему нож под рёбра. Дальше я мало что помню. В глазах потемнело, всё закружилось. Был я, видно, на душевном пределе. Железо и то устаёт. Подлетел я к Кудрявинцеву, выбил из рук нож, ударил по морде и пошёл волтузить, бил и лежащего и стоящего, пока меня не оттащили соседи. Сбежался народ. Пришёл врач. Кудрявинцева в медпункт, ме-

ня в милицию. Там я рассказал, как было. Всё записали. В камеру сунули. Думаю: «И мне пару лет корячиться». Но обошлось, просто приписали мне психический взрыв, дали пятнадцать суток. Чистил тротуары, и всё это на глазах сына Сашки, народа. Хотя все считали, что я прав, что мне, вместо пятнадцати суток, надо бы благодарность вынести. Но нет у нас такого закона, чтобы «волка» избивать, его надо воспитывать, уговаривать. Из подлеца делать человека. Нет, не верю я такому, чтобы сволочь стал человеком. Такое бывает только в книжках. Просто Кудрявинцев родился со сволочинкой. После него теперь я ни одному трепачу не верю.

— Сложный ты человек, Пронин. Нельзя же из одного случая делать вывод о человеке. И в то же время правильный. У меня тоже руки порой чешутся, чтобы набить морду подлецу, но я должен с ним говорить в минорных тонах, воспитывать. Противно. Сам видишь, сколько я бумаги извёл, чтобы внушить людям, что плохо мы ещё хозяйствуем в нашей тайге. И не я один писал. Сотни людей забили тревогу. Теперь вот и закон об охране природы принят... Однако больше тебе не советую избивать человека из-за одного козла.

— Ведь я Кудрявинцева бил не за козла, а за потерю душевности, за то, что он обокрал меня, обманул. Никто этого не хочет понять. А жаль. Все называют меня чудачком и даже дураком. А так ли это?

— Нет, конечно. Просто иные растеряли свою душевность на длинных дорогах жизни, а те, кто только вышел на эту дорогу, не успел её обрести. Ведь не каждый слушал сказки деда Исая, не каждый пытался ответить на его вопросы: «Что самое чистое на земле? А вот и не знаешь, вот и не знаешь. Росы, росы самое чистое на земле. А что есть истина?»

— Истина — это чтобы на всю жизнь оставить в себе душу ребенка, его доброту уберечь, — ответил Пронин.

Мы вышли из машины. Вокруг тишина, теплынь и рокот Имана. Впереди дыбился Сихотэ-Алинь. Неспешно брела ночь, крутились туманы. Где-то кричала ночная птица, кричала протяжно и тоскливо, будто о ком-то плакала. Звала искать утерянное и позабытое.

СТАРИК

Холодный порывистый ветер кружил в воздухе колючие снежинки, бросал их горстями в лицо идущего сквозь белую мглу подвыпившего человека. Снежинки больно били по лицу, запутывались в бороде, бровях и таяли, застывая мелкими сосульками. Наклонившись вперёд, покачиваясь и неуверенно сту-

пая, он медленно, но упорно приближался к убогой избушке пасечника, инстинктивно находя тропу, петляющую среди кустов орешника, мелкого дубняка и березняка. Сквозь завывание ветра в голых кронах и шум сухих листьев до слуха прохожего донеслось слабое поскуливание.

Человек остановился, для верности поднял ухо старой шапки-ушанки, прислушался, но, ничего больше не услышав, отнёс это к проказам ветра и затопал дальше, пряча нос в рукавицу. Пройдя с десяток шагов, он уже отчётливо услышал жалобные взвизгивания.

— Стоп, машина! Малый вперёд! Лево руля! Я слышу сигнал бедствия. Потерпи, браток, иду на выручку. Хм-м, кажется здесь.

Разрыв снег руками, он извлёк из-под него скулющего, мелко вздрагивающего щенка, которого, не разглядывая, сунул за пазуху и пошагал дальше наперекор ветру, снегу и ночи, бормоча себе под нос слова песни шотландских моряков «Налей полней бокалы, кто врёт, что мы, брат, пьяны? Мы веселы просто, ей-богу, и выпьем, ей-богу, ещё». От резкого толчка открылась маленькая дверь в маленькую прокопчённую дымом избушку, и человек втолкнул своё тело в заплатанном полушубке внутрь.

В лицо дохнуло тёплым запахом вошины и мёда, прелого картофеля, медовухи и дыма. Влетевший в избушку ветер оживил на столе грязные клочки бумаги, ворохнул на стене ветхую одежду, пугнул армию тараканов, которые, шурша по сухим брёвнам и мху, враз скрылись в щелях, и, закрытый дверью, утих.

— Итак, посмотрим, кого мне Бог послал.

Человек извлёк из-под тулупа тёплый, притихший комочек, бережно положил его на кровать и, чиркнув спичкой, зажёл на столе восковую свечу.

— Да-а. До чего же ты, браток, неуклюж да некасист. В кого ты уродился, такой толстенный да мордастый?

Щенок глупо взирал на своего спасителя жёлтыми глазами и сладко позёвывал.

— Отогрелся, бестия, и рад.

Ласка в голосе хозяина, видно, пришлась щенку по душе, и он, вильнув хвостом, радостно тявкнул.

— Всё едино — дитя. Ей-богу, дитя, да и только.

Раздевшись до верхней рубашки, перед щенком сидел угрюмый, пьяный старик с кустистыми лохматыми бровями, заросший до глаз седой бородой. Вспотевшие седые волосы слиплись в редкие вихорки, впалая грудь тяжело вздымалась, большие, со вздутыми венами руки устало легли на худые с острыми чашечками колени.

— Назову я тебя, дитя моё... Вот я и думаю: как я назову тебя. Хм-м, — хмыкнул он в усы. — Был у ме-

ня добрый друг на флоте в звании боцмана, так вот он погиб во время Гражданской войны и некому его вспомнить и пожалеть. Именем его называть неудобно, а вот по званию, пожалуй, можно. Коли тебя выбросили за борт, значит, ты никому не нужен, кроме меня. Я, брат, тоже вроде за бортом, хотя и не совсем, но около того.

Щенок устало дремал на коленях старика.

— Ишь ты! Уснул как малое дитя. Хорошие вы, когда малые. Малые детки — маленькие бедки. А вот выросли, никому не нужен стал старик. Сын безвольный, ходит под каблуком бабы, дочь совсем забвела. Вот и ты — вырастешь да гавкнешь на старика, коли чем не ужогу. Так-то, брат.

Глубоко задумался Сидор Петрович Горисвет, и не зря. Много горя и лишений перенёс он на своём веку. Перед его глазами проходили разнообразные картины, преподнесённые судьбой, которые сердце впитало, как губка воду. А к концу жизни вышло, что даже рассказы о прошлом стали никому не нужны и вспоминалось оно лишь как давно виденный сон. Скоро забывает человек плохое, дольше помнит хорошее; редко платит за доброе добром; коротко любит; долго ненавидит. Жизнь прошла слишком быстро в суете и заботе о хлебе насущном, в голоде и лишениях. А была ли она вообще, эта жизнь? Не сон ли снится? А что такое жизнь вообще? Уж не вечная ли борьба за кусок хлеба и лишний метр на одежду для себя и детей, да борьба за рубль, с которым приходит радость в дом, без которого омрачается лицо и туже затягивается опояска?

Щенок, проснувшись, тихо заскулил и, тыкаясь носом в шершавые ладони, стал искать съестное, тем самым оторвав от тягостных мыслей своего спасителя.

— Ну, что? Есть захотел? Не откажу гостю в пище. Ешь то, что есть, не гнушайся. Только вот говядинки нема, но ты уж не обессудь.

Щенок жадно набросился на пищу, захлёбываясь и фыркая. Чёрная шерсть обсохла и теперь воинственно дыбилась на загривке. Сидор Петрович нацедил сквозь сито добрую порцию медовухи, одним духом выпил и смачно крикнул, обтирая тыльной стороной подмоченные усы.

— Эх, Сидор, Сидор! Кем ты был и кем стал, — крутя под носом кулаком, журил он себя. — Моряк революционного флота, бригадир, лучший пасечник, после поездки к сыну превратился в горького пьяницу. Говори спасибо, что за прошлые заслуги тебя ещё не выкинули из колхоза да не отказали в пенсии. Гм... А что делать зимой? Пчёлы в омшанике, слава богу, живы и здоровы. Работы особой нет. Почему бы и не выпить? — начинает оправдывать он себя. — А детки твои, скажу я, Сидор Петрович, — того, совсем потеряли совесть и ум от жизни столич-

ной. Плохо ты их, видно, воспитал, плохо, коли по приходу гостей отсылают тебя с глаз вон. Видишь ли, и пахнет от тебя потом, и говоришь-то ты глупости. Уж коли начал хвалить дружную семью пчёл, их трудолюбие и чёткое распределение обязанностей, то тебе и удержу нет. А у сына твоего собирается интеллигентное общество. Им лишь бы хлестать стаканами шампанское, петь романсы да бренчать на пианино аль там как её — рояле. Пчёлы твои ни к чему, а мёд ложкой жрать — это им впору. Не важно, кто его и как добыл, важно, что он сладкий и что он есть. Ты не забыл, Сидор Петрович, как тебя невестка обобрала? Нет, ты этого не забудешь.

«Молчи, — говорит, отец. — Мы потанцуем».

Эх ты, шушера несчастная! Тебе бы не вредно послушать про нашу жизнь в старину. Ишь ты, она это всё в книжках читала! А я сам — есть книга, и ещё какая! Эта книга кровью писана на наших спинах.

А сынок-то, сынок твой, за которым ты горшки выносил, нос утирал, последний кусок хлеба отдавал ему в голодное время, и рта не раскрыл в твою защиту. Тьфу! Баба! Вишь ли, у него в гостях общество! Это общество без штанов бегало, когда ты им власть завоёвывал с винтовкой в руках, чтобы жили в чистоте и довольствии. Были бы уж гости, а то одна видимость. Хорошие инженеры да начальники никогда не позволят оскорбить самые лучшие чувства простого крестьянина али там рабочего. А эти что? Даже слушать тебя не захотели. Ну, куда там — губы крашенные, лисы на плечах, хорьки шубы да туфли как на спичках. А кто вам их добыл, этих лис да хорьков, не ты ли, Сидор Петрович? Не из твоих ли трудов да бессонных ночей они сшиты? Вы не поинтересовались, как холодно и трудно идти по следу лисы, как ставятся ловушки на хорька и как полна лишений и одиночества жизнь охотника. Куда уж вам интересоваться! Вы в шубах да тепле, катаетесь в метро да такси. Вы — бюрократы, которые забыли старика. Вы — вырождаки, иуды и дети сатаны. Старик для вас одна помеха, и рассказы его вам ни к чему.

Правильно сделал ты, Сидор Петрович, что, хлопнув дверью, уехал из этой клоаки и спёртого воздуха; от своей, но далёкой душе семьи, снова на чистый воздух Сихотэ-Алиня, где тебя любят и ценят. Жаль, что ты сам сдал духом и запил. Уж не оттого ли запил ты, морской волк, что по приходу гостей сын отправлял тебя в ванную комнату — подальше от гостей. Сиди, мол, и не показывайся, пока гости не уйдут. А ты не человек, что ли, Сидор Петрович? Хотя ты и стар, но помыкать собой не позволил. Напрасно ты потратил столько сил и здоровья на воспитание своего сына, на его учёбу. Всё пошло прахом. Напрасно ты не давал ему грязной работы, не заставлял трудиться на полях колхозных.

Надо было бы. А то так: «Вырастешь — тогда наработаешься».

Ну что ж, он вырос и показал тебе кукиш. Сидел на шее двадцать шесть лет, как трутень в улье, а оперился, и прощай, батька! Пригласил к себе в город, а представить гостям старика стыдно стало. А нет, чтобы сделать так: «Вот, мои дорогие гости, — это мой отец, мой воспитатель и кормилец. Моряк революционного флота. Пионер колхозного движения. Теперь я его буду кормить и поить. Пусть поживёт в старости спокойно, посмотрит нашу столицу, вспомнит своё революционное прошлое». Так нет. В один месяц извели старика и выпроводили с обещанием платить алименты. А они, может, тебе руки жгут — эти алименты, душу наизнанку выворачивают.

Эх, Оксана! Обманула ты меня. Сбежала вперёд в сырую землю и не увидела позора за своего сына.

Эх-хе, Горисвет! Какой ты, к чёрту, Горисвет! Ты уже давно Потухсвет, только ещё в душе героем себя чувствуешь, особенно, когда пьян.

Ат, чёртов кум! Так накачал своим зельем, что и кулак двоится. Ну, погоди! Доберусь до тебя, бестия, кость тебе в глотку.

Сидор Петрович всё чаще и чаще прикладывался к кружке с медовухой, слова его звучали всё глуше и бессвязней, голова клонилась ниже к груди. Наконец он умолк, только продолжал грозить пальцем кому-то в пустоту. Немного посидев, он неимоверным усилием стряхнул дремоту, встал, придерживаясь руками за спину, медленно дошёл до кровати и, не раздеваясь, упал на постель. Вскоре бессвязное бормотание сменилось залившимся храпом.

Буря продолжала неистовствовать. Она гнула в дугу столетние кедры, загоняла в глухие распадки пугливых косуль, заставляла уныло выть голодных волков, лаять трусливых деревенских дворняжек. Ветхая избушка от резкого напора ветра вздрагивала, плохо прибитая дранка на крыше сухо стучала. Тайга глухо шумела. Свеча, догорев, погасла. Монотонно цвиркал за печкой сверчок, рычал и повизгивал во сне под койкой щенок, храпел человек.

К утру ветер, утолив жажду разрушения, утих.

Первым проснулся щенок. Он, жалобно поскуливая, ходил по полу в поисках пищи. Обойдя все углы и не найдя ничего съестного, он хрипло залаял, припадая на передние лапы и глядя на кровать. Человек повернулся на другой бок, сладко пожевал во сне губами и снова захрапел. Щенок залаял громче, кончая лай подвыванием.

— Какой чёрт тут охальничает и спать не даёт? Брысь, нечисть окаянная!

Но щенок не унимался. Сидор Петрович принял наконец вертикальное положение и, свесив ноги с кровати, уставился мутными глазами на виновника

своего пробуждения. Щенок затих и с любопытством смотрел на хозяина.

— А, Боцман! Совсем забыл, браток, я о тебе по пьянке. Кушать захотел? Сейчас заварим мы с тобой кашу, аж небу будет жарко.

Сидор Петрович не спеша побрызгал себе в лицо водой, расчесал бороду и волосы, отряхнул приставшие соломинки, взял котелок и вышел на улицу. Щенок устремился за ним и, весело твякая, побежал следом.

Вскоре запахло варёным картофелем и жареным луком. Сидор Петрович принёс чашку мёда, отделив половину картофеля своему другу, он принялся за завтрак.

День выдался тёплый. Зимнее солнце не успевало нагреть остывшую за ночь землю, но всё же с его восходом становилось теплей. Сороки и сойки весело болтали, рассевшись на ближайших липах и дубах, — радовались солнечному теплу и тишине. Серые воробьи шумно чирикали, выискивая у дверей омшаника случайно обронённые зёрна и крошки да на оголённых ветром местах прошлогодние семена трав.

Сидор Петрович вышел на шаткое крыльцо, окинул взором хмурые скалы, на которых каким-то чудом росли кедры, ели и могучие дубы. Он их помнил наперечёт и после каждой бури проверял, все ли целы аль погибло какое из них, не устояв по старости на ветру.

— Все, — радостно выдохнул он. — Ну-ну, держитесь! Я тоже не сдамся! — задорно крикнул он им, и это многократно повторило: «сдамся, амся, амся...»

Сидор Петрович погрозил кулаком в сторону эхо и, подняв палку у дверей, пошёл в посёлок.

Он шёл в надежде на то, что сын или дочь поздравят его сегодня с днём рождения и пришлют немного денег. Вначале он шёл не спеша, но душа и сердце его торопили.

«Вспомнят, не вспомнят? — сверлили мозг вопросы. — Ведь я всегда помнил об их днях рождения и покупал подарки. Семьдесят лет стукнуло. Об этом-то они должны были бы помнить».

Ноги сами по себе зашагали быстрее. Он весь ушёл в себя и не замечал того, что спутник его давно отстал, не в силах поспеть за своим хозяином.

Вскоре перед взором Сидора Петровича открылась деревня. Та самая, в которой он родился, в которой выросли дети, где прошла жизнь. Сдерживая дыхание, он остановился. Древние почерневшие избы глубоко вросли в землю. Покрытые тёсом крыши местами прогнулись и обросли мхом. Ветер сдул с них остатки снега, и теперь они чернели на фоне рыжих сопков. Недавно срубленные избы выглядели среди них как разряженные именинники. Над крышей правления колхоза весело развевался выцвет-

ший флаг. На ферме мычали коровы, резвились молодые телята. Собаки, лениво развалившись на сене, грелись в скудных лучах солнца. Все эти картины давно примелькались Сидору Петровичу, но он всегда с любовью и грустью смотрел на них, находя какие-нибудь изменения. Так и сейчас: колхозные плотники уже заканчивали покрытие крыши серым ребристым шифером. А вон кум стогует сено в своём дворе. Появилась на ферме новая машина, у которой вместо кузова большая цистерна, выкрашенная в белый цвет, на боку которой большими буквами написано «Молоко». В жизни деревни всегда есть что-нибудь новое. Да и как не быть? Жизнь не стоит на месте, она упорно движется вперёд. Вон новый дом полевода. У него жена родила дочь. Дружная семья у бригадира Федота, он ждёт сына из армии — большого мастера по кузнечному делу. У Лукерьи дочь уехала в город и не пишет писем. Вишь ты, городская стала! Пальцы красит и волосы как у ягнёнка, губки что спелый помидор, а ума в голове не прибавилось. А у Поликарпа — сноха не желает жить со стариками. «Хочу, — говорит, — жить самостоятельно, без вас, ворчунов!»

«Ишь ты, самостоятельная какая! Взять бы дрын да и вышибить всю эту самостоятельность, авось прыть вышла бы.

Охо-хо! Нет мира и под этими крышами. Что надо людям? Чем они недовольны? Почему не живут в мире и согласии? Ну, да бог с ними. Хорошо хоть, что таких несчастливцев не большинство».

Подойдя к почте, Сидор Петрович, не спеша, обмёл с валенок снег, тщательно обтёр подошвы, высморкался, снял с усов сосульки и только тогда зашёл в помещение. Поздоровавшись, он подошёл к кассиру и вопросительно посмотрел на него.

«Есть что-нибудь?» — спрашивали его глаза.

Кассир, он же телеграфист, отрицательно покачал головой. Не говоря ни слова, старик вышел и вялой походкой направился в гости к куму, неся в сердце горечь и обиду.

В доме кума стояла абсолютная тишина.

«Уж не случилось ли какое несчастье?» — мелькнула мысль.

Открыв дверь, Сидор Петрович увидел всю семью кума Петра на ногах. Впереди стояли два белоголовых сына — Петя и Вася, за ними две дочери — Таня и Валя, а уж последними — кум Пётр Васильевич с кумой Ефросиньей. Это было неожиданно. Сидор Петрович смущённо остановился в дверях, не зная, что и делать.

— Ну, начинай, Васька, — подталкивали сзади младшего брата сестрёнки.

— Дорогой Сидор Петрович! Мы вас ждём давно. Мы видели, как вы прошли на почту, а телеграммы нет. Вот мы и построились, чтобы встретить вас.

— Говори дело, а то я начну, — прервал старший братишка.

— Мы все от души поздравляем вас за то, что вам уже семьдесят лет, и желаем вам здоровья и успехов в своей работе, и ещё я хочу, чтобы вы меньше расстраивались из-за своих вредных детей.

— Вася, ты лишку говоришь, — прервал отец слегка картавую скороговорку сына.

Но тот, нисколько не смущаясь, закончил:

— Просим вас к нашему семейному столу откусать пирог в честь твоих именин. Мы все тебя любим — нашего деда.

Тугой комок застрял в горле старика. Слёзы заволокли глаза туманом, но это вскоре прошло. Слезу ветер выдул.

— Спасибо, дорогие мои! Спасибо, хорошие мои! Вы только одни не забыли вашего деда, ну и дед вас не забудет.

По-русски троекратно перецеловал он детей, щечка им носы и щёки своей бородой. Вкусный рассыпчатый пирог дед разрезал на равные части и раздал своим любимцам. Кума подарила новую рубашку, кум — поношенную, но ещё крепкую шубу, крёстные дочери — вышитые платочки, а крёстные сыны — складной нож и книжку Арсеньева «В дебрях Уссурийского края». Внимание детей особенно глубоко растрогало старика.

Минуло две зимы. Вновь наступила весна. Она преобразила природу. Пористый снег быстро таял на солнцепёках, раскисал в долинах и распадках, образуя маленькие звонкие ручейки, из которых рождались шумные потоки, устремляющиеся по наледи. Скоро вырвется на свободу закованная льдом река и, обогретая солнцем, чистая и могучая, помчит свои воды к морю. Только вчера сопки были сплошь покрыты снегом, а уже сегодня на открытых местах появились рыжие плешины, покрытые белыми ветреницами. Вербы, распустив жёлтые серёжки, источали запах мёда, привлекая к себе первых пчёл-тружениц. Высоко в небе стройными треугольниками тянулись на север первые гуси. Пашни, огороды, изгороди курились лёгким маревом тепла. Солнце, устыдившись своей лени, обильно расточало горячие лучи, пробуждая от зимнего сна природу. Тёплый весенний ветерок весело гулял по вершинам сопки, тихо шумел в кронах кедров и не одетых ещё в весенний наряд лиственных деревьев. Он легко бежал по полям, залетал во дворы деревень, таинственно шептал на ухо девушкам о скором счастье любви и встрече с милым на берегу хрустальной реки под плакучими ивами. В деревне по вечерам баянисты-самоучки уже пробовали голоса своих баянов, созывая молодёжь к клубу на густо покрытую первой зеленью поляну.

Совсем белым как лунь стал Сидор Петрович. Он стоял на пригорке и грустно слушал шёпот ветра, лёгкий треск лопающихся почек, бормотание ручейков. На его лице были написаны боль и страдание. Он знал, что скоро покинет этот мир. Не боялся. Нет. Он жалел, что ещё мало хорошего сделал для людей, ничего не изобрёл в своей жизни. На миг вспыхивала в его глазах радость, глядя на победу весны над зимой, но тут же угасала. Ветер приносил на своих крыльях воспоминания из далёкой молодости, но не радовал он сердце старика.

— Семьдесят вторая, — шепчут губы. — О-хо-хо! Никак-то ты не наскучишь мне, милая вёснущка. Разбредила сердце старому, наваяла молодость. Ну да ничего. Пожил своё. Вдоволь потоптал эту грешную землю, теперь пора на покой — уступи дорогу молодым. Быстротекущая жизнь человеческая. Вроде и не жил, а уже стариком стал. Зависть берёт при мысли, что люди скоро пробьют дорогу на Луну и другие планеты, а мои косточки будут покоиться в сырой земле. Уж, видно, так природа с Богом порешили: нам бурные годы революции, а им дорогу в космос. Вишь, и слова-то какие мудрёные, каких раньше не упоминалось.

Ветер лижет снег, сгоняя талую воду в речку, играет в бороде Сидора Петровича, надувает сатиновую рубашку и бежит дальше, спеша поделиться грустными мыслями деда Сидора с другими стариками.

— Эх! С внучатами бы понянчиться да поиграть, ан нет!

Далеко они и не узнают доброго сердца старика. Тяжёлой походкой идёт в свою избушку Сидор Петрович. Большая чёрная собака прыгает около него, стараясь лизнуть в бороду. За два прожитых года Боцман вырос в крепкую и сильную собаку, которая смело шла на бой с волком, держала кабана и медведя, ставила на отстойник изюбра. Хоть слабы уж были ноги старика и плохо видели глаза, но с собакой он добыл много мяса и пушного зверя в свободные от работы на пасеке зимние дни.

— Ну что, весне радуешься? На охоту зовёшь? Нет, извини, мой друг, не схожу я уже больше на охоту. Весна меня и радует, и пугает. Умру я скоро, слышь, ты, бессловесная тварь. Умру, а с кем жить-то будешь? Уж больно ты горд да нелюдим. Себя да, видно, меня только и любишь. Вот и за пчёлами надо ухаживать, а сил-то нет. Всегда обходился без помощников, а сейчас замена нужна. Не управляюсь я один, а ты в этом деле не помощник.

Боцман, присмирив, кладёт большую голову на колени хозяина, слушает длинные рассуждения, вяло помахивая хвостом, улавливая в голосе ласку.

— Ну ладно, иди гуляй.

Собака не бросилась, как обычно, к двери при слове «гуляй», а, поджав хвост, отошла к двери и,

положив голову на лапы, стала наблюдать за хозяином.

Ночью Сидор Петрович охал, стонал, просил пить, но некому было помочь ему. Боцман виновато бегал вокруг кровати, скулил и тихо лаял. К утру старику полегчало. Он поднялся, затопил печь, сварил скромный завтрак, всё время искоса поглядывая на своего друга.

— Ты, что же, Боцман, не ушёл сегодня на охоту? Нарушаешь свой распорядок. Зайчишка сегодня был бы нам кстати. А?

Серые тучи быстро закрыли солнце, мрак окутал всё окружающее, и полил дождь.

К вечеру Сидор Петрович снова слёг в постель.

Старческие мутные глаза, не мигая, смотрят в тёмный потолок. Из них изредка выкатываются слёзы, не спеша, сбегая по сухой, в глубоких морщинах, коже и прячутся в седой всклокоченной бороде. Сердце слабо бьётся в натруженной годами груди. Одна рука лежит на впалом животе, другая плетью висит, опустившись с кровати.

Горячий шершавый язык Боцмана лижет эту, с закорюзлыми пальцами и вздутыми венами, руку, стараясь вернуть её к жизни, но она с каждой минутой холодеет и холодеет.

Ничего не ощущает тело старика, глаза не видят окружающее, а в остывающем мозгу всплывают картины уходящей жизни.

Вот он, чернявый, обожжённый солнцем парнишка, сверкая голыми пятками, в посконных штанах и такой же рубашке на голом теле несётся на берег реки после трудной, но интересной работы. Он уже самостоятельно добывает себе хлеб, жнёт и молотит. Серебряными брызгами рассыпается на солнце вода, её прохлада приятно освежает тело.

Раздирающий душу вой на минуту возвращает его из мира былой жизни.

— Боцман, Боцман, что с тобой? — пытаются шептать бледные губы, но они только шевелятся, не издавая звука.

А вой то нарастает, то утихает и начинается снова и снова. Дверь открыта настежь (пёс умел её открывать изнутри и снаружи).

«Что такое, что случилось?» — силится понять старик. И вдруг он начинает понимать. «Это он по мне. Меня оплакивает. Неужто я умираю? Нет, не может быть...» Он пытается подняться, но тело уже не подвластно ему. Глаза ищут поддержку, но её нет. Лишь чёрный силуэт собаки наклоняется над ним, лижет в лицо, тянет за лацкан пиджака, поддевает носом под спину, силясь поднять немощное тело на ноги, вернуть к жизни.

Старания тщетны. Спрыгнув с кровати, собака снова и снова бежит на улицу на дождь и холод и воет, призывая мир к милосердию и помощи.

Но мир не слышал, он спал крепким сном под шум первого дождя.

Всю ночь боролся Сидор Петрович со смертью. Дети, его дети, сын и дочь, в последний раз появились перед ним, и он, с обидой в сердце, тихо умер. Некому было закрыть мёртвому глаза, сложить руки на его груди. Лишь преданный пёс, облистав их, выбежал на дождь и выл, не переставая, всю ночь.

Серое утро медленно приближалось. Мрак отступал перед светом и жизнью, но густой туман ещё прятал оранжево-красную зарю и синие вершины Сихотэ-Алиня. Наохлившиеся продрогшие птицы молча сидели на голых ветках, лишь любящие сырость и дождь лягушки квакали во всё горло.

Рано утром сельчане слышали вой собаки на пасеке и забеспокоились. Кум, оседлав коня, помчался туда.

Старик, раскинув руки в стороны, уже остывший, лежал на койке, а из пасти собаки вырывался лишь хриплый лай.

Из двора во двор поплыла весть о смерти пасечника. Всё село пришло проститься с ним. Вырыли могилу Сидору Петровичу, сколотили гроб, и в светлый весенний день понесли его тело на кладбище.

Позади похоронной процессии одиноко брёл Боцман. Пёс шёл, искоса поглядывая на людей, и, если кто делал попытку отогнать его, страшно скалил зубы и грозно рычал.

Скромно справили поминки по одинокому горемыке. Недосуг. Всех гнала пахота и посевные работы на полях.

Вскоре после похорон над кладбищем повис захватывающий душу вой, нагоняя страх даже на неверующих. Попытались поймать и привязать пса, но он каждый раз убегал. Не выдержав, кум взял ружьё и пошёл на кладбище с твёрдым намерением убить собаку.

На могиле Сидора Петровича он увидел Боцмана, который, слышав шаги человека, насторожился.

— Боцман, Боцман, — ласково позвал его кум. — Подойди ко мне!

То ли в голосе человека было уж что-то приторно-ласковое, то ли нелюдимость пса взяла верх, но он не пошёл на зов, а, сделав огромный прыжок, скрылся в кустах.

СОДЕРЖАНИЕ

Сказ о Чёрном Дьяволе. *Повесть* 1

Рассказы и новеллы

Первая тропа	71
Винтовка	75
Мокрые снега	78
Редкое счастье	86
Жила самородная	88
Отвергнутый	94
Зимний вальс	96
Росы	102
Старик	107

